НИКОЛАЙ
АНОВ



ЮНОСТЬ МОЯ

КНИГА 1



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЖАЗУШЫ»
Алма-Ата — 1981

Р2
А69

Анов Николай.
А 69 Трилогия. Кн. I. Юность моя: Роман/Вступ. статья М. Каратаева.— Алма-Ата: Жазушы, 1981.— 280 с.

Это известная трилогия писателя, связавшего всю свою жизнь и творческую деятельность с Казахстаном.

Первая ее часть «Юность моя» дает интересные образы большевиков, борцов за народное счастье. На ее страницах мы встретимся с В. И. Лениным, замечательным революционером Бадаевым, пролетарским поэтом Д. Бедным и многими известными деятелями тех лет.

Р2

А $\frac{70302-52}{302(05)81}$ 146—81 4702010200

ДРУГ КАЗАХСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Николай Иванович Анов — большой русский писатель. Многие его книги издавались в Москве. Роман «Ак-Мечеть» выходил в Оренбурге. Там же долгие годы не сходила со сцены «Оренбургская старина» и некоторые другие его пьесы. Повести и рассказы Николая Ивановича печатались в «Сибирских огнях», в центральных журналах.

Все это так. Но лучшими своими произведениями он глубоко и кровно связан с Казахстаном, и мы, казахские писатели, считаем его своим другом, художником слова, много сделавшим для нашей родной культуры и искусства.

Анов заслуженно занимает одно из первых мест в русской литературе Советского Казахстана. Многие его книги, написанные в послевоенное время, посвящены нашей республике. Читатель обычно связывает имя писателя с его романом «Ак-Мечеть», изданным в пятидесятых годах, с романом «Крылья песни», посвященным рождению прогрессивного казахского театра, с пьесами и очерками о целине. Но далеко не всем известно, что произведения эти созданы уже немолодым человеком, прошедшим большую школу журналиста и писателя. И, пожалуй, не все знают, что Николай Иванович с молодых лет связал свою жизнь с Казахстаном. Питерский металлист, рабочий корреспондент ленинской «Правды», Анов в первые революционные годы работал в газетах Усть-Каменогорска и Семипалатинска, а затем Кзыл-Орды. Как газетчик и пробующий свои силы писатель, он глубоко вникал в жизнь казахской степи, знакомился с культурой народа, дружил с молодыми тогда писателями и артистами.

«В 1925 году,— вспоминал Николай Иванович,— я жил в Кзыл-Орде, куда только что переехало из Оренбурга правительство Казахской республики. Я работал в краевой газете «Советская степь», которую редактировал Н. В. Феоктистов. Та же типография, что печатала нашу газету, выпускала и казахскую «Енбекшы казах»...

Помню, в воскресный день мы гуляли с Николаем Васильевичем по тихой улице, спасаясь от горячего солнца в тени пирамидальных тополей. Навстречу шел, помахивая нарядной тросточкой, высокий красивый казах с пышными усами.

— Подождите,—остановился Феоктистов.— Никак Сакен Сейфуллин!

Только мы начали беседу, как еще незнакомый мне молодой казах почтительно поздоровался с Сейфуллиным.

— Наш молодой талантливый поэт Сабит!— отрекомендовал его Сейфуллин».

Полвека с лишним назад Анов познакомился с Сейфуллиным и Мукановым. И со многими другими, кто закладывал основы советской казахской литературы. Тогда, в двадцатых годах, он написал свою первую пьесу «Исцеление», сразу вошедшую в репертуар только что возникшего казахского профессионального театра. Главные роли в ней играли его основатели Калибек Куанышбаев и Серке Кожамкулов. Позволю себе догадку, что именно в то время в молодой столице молодой республики Анов и начал накапливать жизненный материал, составивший основу двух его романов, уже упомянутых мною. Именно тогда начал формироваться писатель-казахстанец.

В предвоенные годы он жил в Москве и Кашире. И снова вернулся в Казахстан уже после Великой Отечественной войны. Родился Николай Иванович в 1891 году в семье питерского рабочего-металлиста. Он пошел по стопам отца и сам в юности работал на заводе. Война 1914 года, призыв,— и он на Карпатах. В 1917 году возвращается в Петроград. Ему посчастливилось. Он попал в самую гущу событий. Слышал Ленина. Сотрудник еще довоенной «Правды», он принимал участие в выносе из опечатанной властями типографии газеты «Листок Правды», где разъяснялся смысл трагических июльских событий.

Читая воспоминания Н. И. Анова об Октябре, с особой остротой чувствуешь, что все это происходило в то время, когда Ленин писал первые декреты, а Джон Рид создавал свой блестящий репортаж «Десять дней, которые потрясли мир».

В романе Анова «Юность моя», увидевшем свет в Алма-Ате в 1964 году, есть примечательные автобиографические строки. «В заветной папке у меня хранятся пожелтевшие от времени номера «Правды»,— доверительно говорит Анов своему читателю.— Я пронес их через десятилетия, потому что в них напечатаны мои первые рассказы — «Кормилец», «Корреспондентка», «Лепта», «Смерть Агаши». Последний был перепечатан в сборнике пролетарских писателей, выпущенном издательством «Прибой» в 1914 году по инициативе и с предисловием М. Горького».

Как многие русские писатели, Анов начинал свой писательский

путь журналистом. Первая его очерковая книга «Днепрострой» (1931) явилась результатом командировки от знаменитого горьковского журнала «Наши достижения». Очеркист Анов писал только о том, что видел своими глазами, что вдумчиво исследовал. В очерках он, мне кажется, сдерживал себя, не допускал беллетризации и украшательства. Палитра его скупа, сурова, преднамеренно строга. Тон очерков суховат, деловит, скромен. Автор остается обычно в тени, как бы за кулисами изображаемого. Но уже по очерковому «Днепрострою» можно судить о горячем писательском сердце, о зоркости его взгляда, о его патриотизме. Авторская идейная позиция четка, не двусмысленна.

Воспитанник «Правды», он не только умом, но и сердцем еще в юности понял, что литература есть часть общепролетарского, общепартийного дела. Судить о стилевом своеобразии, о языке произведений Анова по «Днепрострою» еще рано, но нельзя не заметить, что очерки написаны вполне профессионально, мастером слова.

С той поры вышло много книг Николая Анова. И следует признать, что как прозаик, как романист он утвердился на казахстанском материале. Даже его первый крупный роман «Пропавший брат», вышедший в 1941 году, воспроизводит события, происходившие в годы гражданской войны в Восточном Казахстане.

Что касается двух его последующих книг «Крылья песни» и «Ак-Мечеть», то их можно считать целиком казахстанскими. «Ак-Мечеть»— девятнадцатый век. «Крылья песни»— роман тоже исторический, но он близок нашим дням.

Написанный вслед за первыми книгами эпопеи Мухтара Ауэзова об Абае роман «Крылья песни» так же, как и роман Ауэзова, посвящен судьбе народного поэта, но в совершенно иной исторической обстановке — в условиях первого десятилетия советского строя в Казахстане. Тогда молодое социалистическое казахское искусство еще только вставало на ноги, крепло и набирало силы. И вполне естественно, что прототипом главного героя романа — акына взят Иса Байзаков, знаменитый казахский народный поэт-импровизатор, актер и певец, с которым Николай Иванович познакомился и подружился еще в бытность свою в Семипалатинске. В Мусе (в нем без труда узнается Иса), как и других положительных образах, щедра искренняя любовь русского писателя к казахскому народу, к его певцам и артистам.

Правдиво и достоверно отображены в книге своеобразные и живописные картины жизни и борьбы, характерные для двадцатых годов, для времен нэпа и советизации казахских аулов. На этом широком фоне художником убедительно показан процесс социальных и духовных преобразований в степи, стремительное пробуждение творческих созидательных сил освобожденного народа.

Эмоциональное восприятие современности в романе «Крылья песни» сочетается с живым восприятием суровой и прекрасной природы Казахстана, с умением лепить характеры. Роман написан сочным образным языком, отличается стройностью композиции и увлекательностью сюжета.

Особенно колоритен и жизненно верен образ певца-импровизатора Мусы. Анов проникновенно показал, что песенную силу, вдохновение и широкий охват действительности дает Мусе народ, с которым он живет одной жизнью. Писателю удалось создать образ подлинно народного акына, глашатая чувств и чаяний народа.

В центре романа «Ак-Мечеть» судьба поэта-петрашевца Алексея Плещеева. Действие романа развертывается в степи от Оренбурга до Аральского моря. Время было сложным, противоречивым. Писателю требовалось вооружиться глубоким знанием истории, дать объективные и точные характеристики и представителей русского самодержавия, и русских революционных демократов, и казахского народа.

Обращение к истории города Ак-Мечеть (этому исконно казахскому городу было впоследствии навязано имя генерала Перовского, но с переездом сюда из Оренбурга столицы Советского Казахстана он стал называться Кзыл-Ордой) объясняется не случайным интересом к экзотике или к прошлому ради прошлого, а жгучими проблемами советской эпохи. Вопрос о присоединении Средней Азии и Казахстана к России, как известно, освещался в литературе 20—30-х годов крайне односторонне. Романы «Путь Абая» М. Ауэзова и «Ак-Мечеть» Н. Анова — первые произведения, которые пролили свет на этот намеренно усложненный, но вполне своевременный своей актуальностью вопрос.

Генерал Перовский и поэт-петрашевец Алексей Плещеев, хотя и находились формально в одном экспедиционном отряде, но представляли две России — Россию царского самодержавия и Россию демократическую, которая сочувствовала угнетенным народам. В образе Плещеева, замечательного русского поэта-лирика, поэта-гражданина, участника движения петрашевцев, писатель нашел ключ к художественному изображению той дружбы русских и казахов, которая тогда только зарождалась.

Думается, что и теперь, когда число исторических художественных книг у нас, в Казахстане, значительно увеличилось, когда приобретается опыт в этом ответственном жанре, роман «Ак-Мечеть» с его увлекательным сюжетом, с его многонациональными (русские, казахи, поляки) героями нисколько не устарел и продолжает свою жизнь не на запыленной книжной полке, а на столах пытливых, мыслящих читателей.

В «Ак-Мечети» Анов выступает как писатель, тяготеющий к жи-

вописности, стремящийся передать не только тона, но и полутона и оттенки. Тонкий психолог, он дает мастерские портреты людей разных национальностей, разных характеров, разных судеб, дает добротно, смело избегая приблизительности. Он рисует словами, как художник красками, и достигает значительных эффектов. Живыми встают перед нами его герои. Писателю свойственно чувство меры и остроты социального зрения. Так, портрет генерала Перовского или эскизные зарисовки людей из его окружения даются художником без шаржа, без карикатуры, но с позиций ясных и справедливых.

Язык романа «Ак-Мечеть» чист, прозрачно ясен, предельно выразителен, емок.

Если уж зашла речь о мастерстве Николая Ивановича, я не могу обойти вниманием его небольшое, но во многом примечательное произведение — «Филателист». Когда читаешь этот превосходный, построенный на неожиданности рассказ, невольно вспоминается первый рассказ Анова, включенный А. М. Горьким в сборник произведений пролетарских писателей. Только сравнивая тот и другие ранние рассказы, постигаешь, как выросло литературное мастерство Анова, как научился он владеть сюжетом.

Безукоризненная пружина сюжета, умение выхватывать из массы деталей и подробностей главные и решающие, искусство портретной зарисовки, индивидуализирование точно выверенной речи персонажей, а главное, поразительная способность передать атмосферу описываемых лет в стране, где накалены до предела страсти, где классовые силы бьются не на жизнь, а на смерть, а потерявшие понимание происходящего обыватели, мещане, дельцы, приспособленцы, о которых в народе метко говорят: «ни нашим, ни вашим»,— попадают в самые невероятные положения, лгут, извиваются, ищут теплого, тихого местечка, чтобы отсидеться от революционных сквозняков, и, как правило, его не находят.

Разворошенный революцией и гражданской войной человеческий муравейник показан Ановым с идейно-классовых позиций «правдиста»-ленинца реалистически, живо, с глубоким проникновением в судьбу народа и каждого отдельно взятого человека.

В центре рассказа некий обыватель Осип Дукаревич. С сотнями себе подобных он эмигрировал из местечка на западе дореволюционной России в Америку, наивно поверив, что там даже продавец газет может стать миллионером.

В Америке Дукаревич узнает почем фунт лиха. Он попадает на швейную фабрику, работающую по конвейерной системе. На конвейере эмигрант превращается в бездушный придаток машины, напоминающий маленького человечка из чаплинских кино-трагикомедий. «Если бы ты знал, что я там делал!»— жаловался в письме Осип своему брату Казимиру.— Я пришивал к брюкам левую пряжку, а Мошка Кауман обтачивал клапан заднего кармана. (Справка: «Каждые

полминуты из фабрики вылетает по готовенькому костюму...») И только! Работа не тяжелая, но у меня от нее мутнела голова, и мне казалось, что весь Нью-Йорк ходит в брюках, на которые я пришивал левую пряжку. Я буквально бежал с фабрики, закрыв глаза». Потом Осип Дукаревич становится поочередно рассыльным, чистильщиком сапог, газетчиком, уличным фотографом, гравером, чертежником, химиком, грузчиком и даже мозольным оператором. Нет, он не стал миллионером, но ему все же «повезло». Всеми правдами и неправдами он добился того, что стал компаньоном Питера-Мак-Доуэлла, владельца филателистической конторы. От своего компаньона Осип узнает такие подробности о филателии и филателистах, что у него кружится голова (кстати, читатели не без интереса прочтут страницы, посвященные бизнесу в филателии). Неудивительно, что Дукаревич пускается в опасную командировку в Советскую Россию, где Красная Армия уже погнала колчаковские банды за Урал, но где еще можно достать уникальные почтовые марки, за которые богатые коллекционеры не пожалеют долларов. Головокружительные (но абсолютно точно мотивированные Ановым) приключения Дукаревича начинаются на пароходе, доставившем его в Архангельск. Его арестовывают как подозрительного приезжего из Америки, которая — не будем забывать — открыто помогала Колчаку, а с ним Советская страна вела войну. В тюрьме Дукаревич сталкивается с неким Соломоном Фрядкиным, человеком, чем-то напоминающим незабываемого Остапа Бендера из «Золотого теленка».

Написанный в 30-х годах рассказ «Филателист» был опубликован в одном из лучших наших журналов — в «Красной Нови», вышел отдельным изданием в библиотеке «Огонек» и переиздан под одной обложкой с приключенческой повестью Анова «Гибель Светлейшего». Эта повесть близка детективной новелле о Дукаревиче. Мастер сюжетной прозы, Анов рассказал о судьбах разных людей — Потемкина, прямого потомка светлейшего князя, всемогущего екатерининского вельможи, беспринципного, злого чудака-коллекционера Чумака и дипломированного коневода Пряхина. Не только фоном, но и основой повествования послужила гражданская война, ее сложные коллизии.

В этой емкой, отлично сработанной, радующей своим мастерством повести так много людей и происшествий, что пересказать ее вкратце нет никакой возможности, да и необходимости; в ней — гамма чувств, переплетенная сложным сюжетным узлом; все переливается различными красками спектра, вызывает много неожиданных ассоциаций.

Одним из интереснейших произведений Анова является приключенческая повесть из эпохи гражданской войны «Пропавший брат». Написанная и опубликованная в 1941 году, она в 1960 году подверглась творческой переработке, в сущности, написана заново. По-ви-

димому, Анову для живого воплощения прошедшего нужно было осмыслить происходящее в годы гражданской войны на материале личных впечатлений от жизни и внимательного изучения документальной литературы.

«Тогда я в Усть-Каменогорске выпускал газету «Советская власть»,— вспоминает Анов,— сидя на Андреевской улице за маленьким столом... В те дни ко мне в типографию частенько захаживал председатель укома партии Павел Петрович Бахеев, душевный человек, деликатностью характера напоминавший Якова Михайловича Свердлова. Он сворачивал самокрутку, присаживался на табуретку, и мы начинали разговор об Алтае, куда я стремился попасть по совету моих друзей, омских писателей Антона Сорокина и Всеволода Иванова.

— Да, да, обязательно заберитесь поглубже в горы, посмотрите!— советовал Павел Петрович, пуская голубые колечки дыма.— Вам, как пишущему человеку, это совершенно необходимо. Вот и социальная революция происходит, а пчеловоды-кержаки живут в горах, как в семнадцатом веке. Авось пригодится когда-нибудь.

И я поехал в командировку и попал в село Чистопольку, где секретарем волисполкома работал мой земляк, петроградец, бывший Обуховской коммуны коммунар из Первороссийска. Он встретил меня как родного брата, затащил к себе в гости, и я прожил у него несколько дней. Павел Петрович был прав: в Чистопольке ощущался семнадцатый век — дома с маленькими оконцами и высокими косыми крышами походили на древнерусские терема...

Находясь за тысячи верст от родного города, в горной деревушке, сладко и в то же время грустно было вспоминать пронизанные революционным зноем дни «необыкновенного лета» семнадцатого года. Бахеев не ошибся — поездка внутрь Алтая мне пригодилась, когда пришлось работать над романом «Пропавший брат».

Добавим: добрый советчик Анова — П. П. Бахеев — это, как выяснил впоследствии Николай Иванович, всенародно известный писатель, автор чудесной книги «Малахитовая шкатулка»— П. П. Бажов. Он стал одним из героев книги «Пропавший брат».

Второй вариант этой книги оставляет глубокое впечатление. В ней мы слышим голос писателя-гражданина, взволнованного героизмом и трудной судьбой своей неповторимой Родины, выражающего в чеканной, классической чистой речи героику эпохи, в которой он был не соглядатаем, не свидетелем, а активнейшим участником.

Роман «Юность моя» датирован 1964 годом, то есть годом, когда наша общественность отметила полувековую литературную деятельность писателя... Не будем гадать и доискиваться, почему Анову потребовалось пятьдесят долгих лет, прежде чем он выдал «на гора» эту, по всей видимости, обязательную для него книгу.

Мне кажется, что тут немалую роль сыграла необыкновенная

скромность Анова. Он понимал, что его книга о юности ленинской газеты «Правда» непременно вызовет у читателя желание отыскать в ней давнишнее утверждение о том, что краткие деловые встречи со Свердловым и другими руководителями большевистской партии «не дают мне права выступать с воспоминаниями о великих людях»...

Вероятно, он долго искал необходимую форму, чтобы передать современникам и потомкам поэзию и правду незабываемых дней. Выход он нашел очень простой — отстранил себя от материала, не назвал своего имени, хотя совсем нетрудно догадаться, что сам писатель передал черты своей биографии Михаилу, «рабочему пареньку с питерской окраины». Скажем прямо: «Юность моя» имеет большое познавательное и еще более высокое воспитательное значение. Уже сам материал ее вызывает живой интерес. Мы, читатели, не можем забыть, что автор — один из тех, кто не понаслышке, не со слов других знает о «Правде», а сам был не только свидетелем, но и непосредственным участником выпуска «Правды» в дореволюционное время. Читая роман, мы как бы присутствуем при том, как рабочие корреспонденты приносят в большевистскую газету свои первые, еще корявые, с грамматическими ошибками заметки, как большевики-редакторы внимательнейшим образом читают ежедневную почту, как формируется очередной номер «Правды», как идет ежедневная, требующая не только смелости, но и хитрой выдумки борьба с царской цензурой, как рождается свежий номер газеты, как он проникает в цеха, неся туда слово Ильича, правдивое слово большевистской партии.

Все это передано в романе хотя и несколько скуповато, но зато вполне достоверно, без излишних домыслов и выдумки.

Нужно знать, какой замечательный выдумщик, фантазер Анов, чтобы понять, что эту книгу ему было очень трудно писать, ведь он поставил перед собой нелегкую задачу — писать только правду, излагать только объективные факты, точные, выверенные документами, слова!

Главное действующее лицо романа — Михаил. Жаль, что в книге нет развернутого образа его отца, питерского литейщика, по-видимому, интереснейшего человека, мечтавшего о широкой дороге, об идеальном будущем для своего сына.

Анов убедительно и тонко прослеживает духовный рост Михаила, не обходя и некоторых теневых его сторон.

Писателю удалось самое главное: показать роль ленинской «Правды» в политическом формировании пролетариев.

Будни предреволюционной «Правды», ее полная революционной романтики работа, ее прямо-таки физически ощущаемое влияние на рабочих, ее громадная организаторская роль изображены Ановым с завидным мастерством — «весомо, грубо, зримо», с той непререкае-

мой правдивостью, которая открывается только писателям, не поверхностно, а глубоко знающим изображаемое. Со знанием дела, с теплотой, с живейшим интересом изображены истоки пролетарской литературы, первые ростки рабочей поэзии, первые ласточки будущей весны социалистического реализма. Мы, читатели, видим воочию, убеждаемся в талантливости первых поэтов-«правдистов»: Маширова-Самобыткина, Ивана Ерошина, Дмитрия Одинцова.

Превосходно изображена в романе, можно сказать, историческая встреча только что приехавшего из-за границы Алексея Максимовича Горького с молодыми писателями, получившими литературное крещение на страницах «Правды».

Высокий, чуть сутулый, голубоглазый Горький, как живой, стоит перед нами и, окая, по-отечески разговаривает с рабочим литературным активом «Правды». Читая это, как-то невольно переносишься мыслью к I Всероссийскому съезду писателей, когда Горький беседовал уже не с горсткой поэтов-«правдистов», а с писателями всех народов Советского Союза. Именно благодаря этой, не случайно возникшей ассоциации, сцена встречи с Горьким представляется мне глубоко символичной.

В романе «Юность моя» дана целая портретная галерея деятелей большевистской партии. Сильные характеры, неповторимые личности, рыцари без страха и упрека. Перед читателями проходят Я. М. Свердлов, М. И. Калинин, К. Н. Самойлова, А. С. Бадаев, А. К. Гастев.

Идейно-тематическая линия романа «Юность моя» получила продолжение в романе «Выборгская сторона», удостоенном Государственной премии Казахской ССР им. Абая. В нем нашли художественное отображение события, связанные с деятельностью большевистской партии и ее печатных органов в канун и в дни Великой Октябрьской социалистической революции. Сам Николай Иванович в это время не стоял в стороне — работал в большевистском издательстве «Прибой», бывал в Смольном, видел штурм Зимнего дворца. Дальнейшее развитие эта линия получила в книге «Интервенция в Омске», завершившей автобиографическое повествование. «Автобиографическое» потому, что в главном действующем лице — Михаиле Пахомове, как мы уже говорили, явственно проступают черты самого автора.

Автобиографическая трилогия Н. И. Анова по тематике наименее «казахская» из всех ановских книг. Но она ценится в Казахстане как одна из самых читабельных книг. И это понятно: ленинская «Правда» и все, что с ней связано, интересны людям всех наций.

Были годы, когда Николай Иванович Анов уезжал на время в Новосибирск и в Москву, но где бы писатель ни находился, он никогда не отрывался от казахстанской почвы, его, как литератора, посто-

янно влекла казахская тематика, знакомая ему казахстанская действительность. Можно назвать немало его очерков, рассказов, пьес, сценариев и зарисовок на темы, связанные с жизнью республики. Среди них выделяются повесть «Награда», написанная по материалам семипалатинского периода, пьеса «Возвращение Серке» о казахском театре, очерки, вошедшие в книгу «Огни Иртыша», полнометражная документальная кинолента «Четверть века», посвященная 25-летию Советского Казахстана, над которой Анов работал вместе с Б. Н. Ляховским. Но все это было только широкими подступами к самому зрелому и плодотворному периоду творчества писателя. Как ни удивительно, этот период падает на последние четверть века, когда писатель окончательно обосновался в Алма-Ате и создал свои лучшие произведения: романы «Крылья песни», «Ак-Мечеть», «Юность моя», «Выборгская сторона», «Интервенция в Омске», документальную повесть о Ленине «Каширская легенда», а также посвященные всенародному подвигу на целине пьесы «По велению сердца» (в соавторстве с Я. С. Штейном) и «Наследники».

Характерно, что все зрелые произведения Анова, равно как и первые опыты, относящиеся к дореволюционному периоду, связанному с активным сотрудничеством в «Правде», основаны на жизненных впечатлениях, на документальных данных (рассказы «Кормилец», «Смерть Агаши», «Корреспондентка», «Лепта»). Именно поэтому и ранние его рассказы, несмотря на их непритязательность и очевидную неумелость отличаются искренностью и достоверностью и как бы обещают его будущие работы.

Наделенный неистощимой фантазией, Анов при всем его умении придумывать сюжеты, строить воображаемые ситуации, вместе с тем привержен к жизненной правде. Любое его произведение в конечном счете построено на реальной основе, я сам слышал от него:

— «Пропавший брат»? Вы думаете, я сочинил? Ничего подобного! Дело в том, что у меня самого был и есть брат, который действительно, временно пропадал, а потом нашелся.

Но в любом случае подлинный факт пропускается через «магический кристалл» и приобретает новые краски, новые очертания, новое звучание.

Сложный жизненный путь сына потомственного пролетария, приведший его из колыбели революции Петрограда в Сибирь и Казахстан, из Казахстана снова в Сибирь, из Сибири в Москву, из Москвы снова и навсегда в Казахстан, богат необычайными жизненными событиями, материалами и впечатлениями. Это закономерно способствовало познанию жизни и неразрывно с познанием — развитию художественного таланта. Так Николай Иванович Анов пришел в большую литературу. Нельзя сказать, что его путь был легким и триумфальным. Нет, он был трудным, иногда замедленным, но всег-

да целенаправленным и верным. Его творчеству были чужды спешка, суетливость, пустое рвение, шумные холостые выстрелы, спесивость и претенциозность, столь характерные для выскочек и малоодаренных людей. Анов, мне думается, хорошо усвоил завещание Льва Толстого писать только в том случае, когда ты не можешь не писать. Получилось так, что судьба ввергала его в разные сферы жизни, сталкивала с разными людьми и ставила в разные отношения с ними, а он, Анов, вбирал в себя все новые и новые впечатления, осваивал залежи материалов, не спеша их осмысливал, тщательно отбирая то, что было необходимо с точки зрения художника. Так были созданы его лучшие книги.

Прозаик и драматург, он живо интересуется состоянием развития литературы республики, помогает молодым писателям, чутко откликается на письма. Анов, обладающий чутьем к талантливости, безупречным литературным вкусом, умел находить и отмечать в начинающих поэтах истинные дарования и от всего сердца помогать им. Отмеченные им, обогретые его сердечным теплом, получившие от него путевку в творческую жизнь, молодые поэты высочайше ценили его творческую заботу.

Анов постоянно пропагандировал достижения казахской литературы: это он переводил на русский язык четвертый том романа-эпопеи «Путь Абая» Мухтара Ауэзова и многие казахские сказки. Это он был взыскательным художественным редактором Зеина Шашкина.

Я могу привести много и других фактов, но мне хочется заострить внимание только на участии в переводе на русский язык четвертого тома «Пути Абая». Нельзя считать случайным, что Мухтар Омарханович Ауэзов обратился именно к Анову. И не потому, что они знали друг друга давно, еще с Семипалатинска, с двадцатых годов, хотя, конечно, и это обстоятельство имело свое значение. Мастер, естественно, хотел, чтобы его переводчиком тоже был мастер. И притом мастер, знающий материал, знающий быт и историю Казахстана.

Как нельзя творческую деятельность Анова, журналиста и писателя, представить без казахской действительности, так и жизненную биографию его нельзя представить без казахских друзей, которых он приобрел еще в первые годы становления советской власти. Среди них Амре Кашаубаев, Иса Байзаков, Мухтар Ауэзов — видные деятели казахского искусства и литературы.

* * *

Статья моя была сдана в издательство еще при жизни Николая Ивановича. Не буду скрывать, я испытывал чувство некоторой гордости и сердечного тепла, когда именно он попросил меня написать вступление к его трилогии. Эти строки я пишу уже после его

смерти. С душевной убежденностью могу сказать, что он одаривал меня, как и других казахских писателей и деятелей искусства, истинной дружбой, идущей от щедрого сердца.

Существо писателя, творческие его пристрастия были не отделимы в нем от человеческих качеств, от его доброты, отзывчивости, трудолюбия. Дружбе народов он посвятил немало ярких и честных страниц. Благородное чувство интернационализма проверялось и подкреплялось в течение всей его жизни. Он был родным в нашей большой семье, в нашем Қазахстане.

Мухамеджан ҚАРАТАЕВ

ЮНОСТЬ МОЯ

РОМАН

ОТ АВТОРА

В заветной папке у меня хранятся пожелтевшие от времени номера «Правды». Я пронес их через десятилетия, потому что в них напечатаны мои первые рассказы —«Кормилец», «Корреспондентка», «Лепта», «Смерть Агаши». Последний был перепечатан в сборнике пролетарских писателей, выпущенном издательством «Прибой» в 1914 году по инициативе и с предисловием М. Горького.

Благодаря этому сборнику мне удалось в 1922 году познакомиться с Алексеем Максимовичем Горьким. Он отнесся ко мне очень душевно и впоследствии не забывал своим вниманием.

Сейчас я вижу наивность и беспомощность моих первых литературных опытов. Но они для меня бесконечно дороги. В свое время они мне открыли «зеленую дорогу» в литературу, с ними связана самая прекрасная пора жизни — литературная молодость, о которой я написал роман «Юность моя».

Выдающаяся революционерка, журналистка Конкордия Николаевна Самойлова, работавшая ответственным секретарем редакции дореволюционной «Правды», была моей литературной «крестной матерью». Она вошла в роман как одна из героинь произведения.

Как и во всяком романе, построенном на историческом материале, многие действующие лица в «Юности моей» сохраняют свои настоящие имена: Максим Горький, Алексей Гастев, Сергей Малышев, Иван Ерошин, Дмитрий Одинцов, Михаил Артамонов, Демьян Бедный, Конкордия Николаевна Самойлова, Константин Степанович Еремеев, Яков Михайлович Свердлов, Михаил Иванович Калинин, Алексей Егорович Бадаев, Мария Федоровна Андреева, Софья Владимировна Панина.

Но «Юность моя»— не мемуары, а роман, дающий автору право на домысел и вымысел. В романе также живут и борются герои, созданные писательским воображением.

Автору пришлось передвинуть или изменить некоторые события, сделать, к примеру, участниками собрания пролетарских писателей на квартире А. М. Горького тех поэтов, которые там не были по чисто случайным причинам.

Приношу глубокую благодарность вдове А. Е. Бадаева — Александре Анисимовне, старой работнице «Треугольника» Раисе Константиновне Никифоровой, пережившей описанные в романе трагические события, Б. Шабалину — автору книги «Фабрика на Обводном», бывшим сотрудникам Лиговского «Народного дома» Паниной и поэтам-правдистам Д. Одинцову, И. Ерошину, И. Садофьеву, Л. Котомке, А. Поморскому, которые помогли мне своими добрыми советами.

Николай АНОВ (ИВАНОВ).

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В этот ветреный февральский вечер Петербург отмечал трехсотлетие царствования дома Романовых. В столице, казалось, бушевало огненное море. Мощный прожектор с башни Адмиралтейства заливал ослепительным светом стотысячную толпу, сплошной стеной двигавшуюся по Невскому проспекту. Бесконечные гирлянды и цепи разноцветных электрических лампочек тянулись по фасадам домов от здания Генерального штаба до Николаевского вокзала. В скверике перед Казанским собором, переливаясь тысячами огней, светилось высокое, диковинное сооружение — макет гигантской шапки Мономаха, а над нею торжественно сиял громадный царский вензель. Трепетали на ветру огромные полотнища, трехцветные флаги и шелковые знамена. В небе ежеминутно вспыхивали затейливые фейерверки, похожие на павлиньи хвосты. Где-то совсем близко гремел духовой оркестр и, заглушая его музыку, в Петропавловской крепости палили из пушек.

— Смотри, смотри!— воскликнул Михаил, дергая Костю за рукав.

В небе разорвалась пышная ракета, и над городом повисла огромная цифра «300». Она не успела погаснуть, как в противоположной стороне вспыхнула еще такая же, только значительно ярче.

Толпа на минуту приостановилась. Задрав головы, люди любовались фейерверком. Когда он окончился, Михаил вдруг увидел около себя вместо Кости светловолосую красивую барышню в белой меховой шапочке. Кто-то напирал на нее сзади, и она, в свою очередь, толкала Михаила.

— Пардон!— извинилась она и улыбнулась.

От этой улыбки юноша, сам не зная почему, смутился и покраснел. Он ненавидел себя за проклятую способность краснеть без всякой причины. А тут причина была: таких синих глаз он никогда еще не видел.

— Здесь сейчас все толкаются!— пренебрежительно ответил за товарища Костя, неожиданно снова появившийся рядом.

Тут Михаил заметил возле синеглазой барышни другую, видимо, ее подругу, черненькую, пониже ростом и не такую красивую. Она крепко держала блондинку под руку, боясь потерять ее в толпе.

Что произошло в следующую минуту, понять было невозможно. Где-то весело заорали ура. Кто-то над самым ухом истошно завопил: «Едут!» Толпа замерла на мгновение и, оттесненная, хлынула с мостовой в боковую улицу, тоже переполненную любопытным людом. Все время Михаил видел с левой стороны от себя Костю, а с правой — белую меховую шапочку и синие глаза. Юноше казалось, что они ласково улыбаются ему.

Громовое раскатистое ура неслось со стороны Казанского собора. Посередине Невского, по узкому проходу, в карете с коронами на дверках, запряженной четверкой белых лошадей, ехал царь. Люди поднимались на цыпочки, но ничего не могли увидеть. А Михаил и не думал о царе, которого еще десять минут назад очень хотелось ему поглядеть. Сейчас он не спускал взгляда с красивого бледного лица синеглазой барышни, и чем больше он смотрел на нее, тем больше она ему нравилась.

И снова в небе загорелись юбилейные цифры. По проспекту вслед за придворными каретами скакал конвой в малиновых черкесках. Словно вихрем, закрутило толпу, и Михаил увидел Костю уже с правой стороны, а не с левой, а белая меховая шапочка очутилась совсем рядом. Вот тут и надо было бы заговорить ему с барышней, но опять не хватило смелости.

— Гранечка!— пропищала откуда-то снизу черненькая.— Задавят... Совсем с ума сошли!

Михаил усиленно двигал локтями во все стороны, стараясь защитить своих соседок. Кто-то грубо пихнул его в спину кулаком и прошипел ядовито над самым ухом:

— Чего вертишься, как юла! Стой ровнее!

Михаил не успел огрызнуться — за него вступилась синеглазая Гранечка.

— А вы сами не толкайтесь, пожалуйста. Все ноги мне отдавили.

— Отдавили! Нежная какая! Чего шляешься? Сидела бы дома.

— Хам!

— Сама дура!

Михаил с ненавистью глянул в заросшее грязной

клочковатой бородой лицо мастерового. Он готов был ударить его, но Костя примиряюще вмешался:

— Папаша, зачем шуметь?

Он еще хотел что-то добавить, но не успел. Мастерового неожиданно оттерли в сторону, а Гранечка оказалась так близко от Михаила, что ему стало не по себе. Белый мех шапочки ласково коснулся его щеки, а может быть, это был даже девичий локон.

— Терпеть не могу нахалов!— сказала она с возмущением.

Так возле перчаточного магазина, в витрине которого сияла позолоченная огромная женская рука, завязалось знакомство. Тесно прижатые друг к другу, Михаил и Граня обменялись несколькими фразами. Костя с легкой усмешкой наблюдал за товарищем. Он не отличался робостью и немедленно присоединился к разговору. Царь давно проехал, давка стала меньше, и они вчетвером, вместе с толпой, зашагали по Невскому проспекту в сторону Николаевского вокзала.

Гранечкину подругу звали Раей. Костя быстро взял ее под руку. Михаил не решался последовать примеру товарища. Он шел рядом с девушкой и больше слушал, чем говорил.

Граня в прошлом году окончила гимназию, а сейчас училась на курсах стенографии. Отец у нее чиновник, надворный советник. В военном ведомстве этот чин приравнивается к полковнику. Старшая сестра замужем за морским офицером.

Михаил уныло слушал рассказ своей спутницы. Ему неловко было признаться, что он — простой рабочий.

— А вы где служите?— спросила Граня.

— Чертежником на заводе работаю,— соврал Михаил.

До поздней ночи две пары бродили по ярко иллюминированному городу. На улицах становилось все свободнее.

Костя сказал:

— А ведь нам на Удельную топать да топать.

— Пора домой!— поддержала Рая.

Граня жила неподалеку от Невского, на Загородном проспекте, у Пяти Углов. Рая решила у нее заночевать. Молодые люди проводили барышень до ворот старинного четырехэтажного дома и здесь расстались не сразу.

— Значит, я вас больше не увижу?— тихо спросил Михаил Граню.

— Если захотите, может быть, и увидите.

— Где и когда?

— Придумайте сами. Можно возле того магазина на Невском, где мы с вами познакомились. Там выставлена женская рука в золоченой перчатке.

— Но как вам сообщить?

— Я не могу дать домашнего адреса. У меня родители очень строгие, особенно отец. Но вы можете мне написать до востребования.

Обрадованный Михаил под диктовку записал на папиросной коробке: «44 почтовое отделение, А. Г. Касаткиной».

Граня блеснула синими глазами и шепнула на прощание:

— Лучше всего встретиться в «Народном доме». Можно послушать оперу. Обожаю Алчевского. Адье!

Барышни скрылись в воротах. Костя посмотрел им вслед и проворчал недовольно:

— За каким чертом столько шатались! А все ты... Кавалер!

— Ну, ладно, пошли...

Михаил молча шагал, вспоминая синие глаза Грани. Юноша понимал: как только девушка узнает, что он работает на заводе простым рабочим, а не чертежником, прекратится всякое знакомство. Батька надворный советник! Кончит она курсы и будет стенографисткой. Лучше бы портнихой или фабричной работницей. Нет, на фабрике не надо. Фабричные девчонки отпетые.

Михаил повторял загадочное слово «стенографистка». Оно было таким же красивым, как синие глаза Грани, и таило в себе непонятный смысл.

— А ты знаешь, что я сделал?— спросил Костя.

— Что?

— У меня была с собой листовка, я ее во время давки городовому в карман сунул.

Костины глаза возбужденно сверкали, он был доволен своей проделкой.

— Ей-богу! Придет домой — и юбилейный подарочек вытащит... От Российской Социал-Демократической партии! Хотел бы я посмотреть на его рожу, как он начнет читать: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Костя захохотал и торжественно продекламировал несколько строк из листовки. Он запомнил их, как слова

новой песни, прочитав несколько раз большевистскую прокламацию.

— «Пролетариат громогласно заявит своему первому и самому большому врагу русского народа — династии Романовых: довольно! Долой Николая Кровавого!»

— Тише ты кричи!— остановил его Михаил, с опаской оглядываясь по сторонам.

Вблизи никого не было, и Костя беспечно махнул рукой.

Михаилу хотелось поговорить о Гране, о ее синих глазах, но Костя девчонками не увлекался. Находясь еще под свежим впечатлением юбилейных торжеств, он заговорил со злостью:

— Подумать только, Николай в карете едет, а эти бараны глотки надрывают: «Ура!» Дурачье! Тут бы грохнуть марсельезу!

Царь-вампир из тебя тянет жилы!

Костя пропел эти слова вполголоса и с сожалением вздохнул:

— Да что одному, никто и не услышал бы.

Он помолчал немного и выругался:

— За каким чертом эти ослы поперли царя смотреть? Никак не пойму!

— Ты тоже пошел.

— Я — другое дело. Я прокламации принес.

Костя явно хитрил. Он и сам хотел увидеть живого царя, но сознаться в этом было неловко.

— Вешать эту сволочь надо, а не трехсотлетия устраивать. Вчера смотрю, наш Илюшин картинку в рамке тащит домой. Николай со своими щенятами красками нарисован. На стенку рядом с иконами повесил. Пролетарий, а слепой как крот!

Михаил рассеянно слушал товарища. Костя, если не было лишних ушей, любил ругать царя, правительство, полицию. Через него на завод попадали прокламации, он собирал членские взносы в профессиональный союз, проводил подписку на «Правду». На последней демонстрации при выходе из ворот завода он понес красное знамя — небольшой лоскут кумача размером в носовой платок, за что и отведал полицейской нагайки. Хорошо еще, что сумел вовремя улизнуть, а то угодил бы в участок.

Пройдя Литейный мост, друзья вышли на Выборгскую сторону и, обогнув Военно-Медицинскую Акаде-

мию, зашагали по Сампсониевскому проспекту мимо хорошо знакомых заводских корпусов.

Поздно ночью они добрались до Удельной. Уже у самого дома Михаила Костя сказал, понизив голос, хотя кругом никого и не было:

— Помнишь, я тебе говорил про Егора Николаевича? Если хочешь, теперь можно. Только это дело такое... Не маленький, сам понимаешь. Пойдешь?

— Пойду.

Они остановились у ворот.

— Сколько времени потеряли из-за девчонок!— сказал недовольно Костя.— Можно было бы с последним поездом уехать. А теперь не спавши на работу идти придется.

— Завтра выспишься.

— Выйду с обеда. А то и совсем прогуляю. И ты не ходи.

— Мастер обозлится.

— А ему объяснить можно. Не наша вина. Это из-за царского праздника десять часов по городу болтались... Ну, ладно! Устал я, как пес. Прощай, Миша!

Костя махнул рукой и зашагал по шоссе. А Михаил, войдя в темный коридор, поднялся по деревянной лестнице на второй этаж и, нащупав дверь, тихонько постучал. В ответ сразу звякнул отброшенный крючок. Михаил понял: мать не спала, дожидаясь его возвращения.

— Господи помилуй, да где же тебя черти носили?— шептала она сердито и обрадованно.— Я уж чего только не передумала. Разве так можно, Мишенька? Когда ты спать будешь? Через два часа вставать надо. Ложись скорее...

Михаил быстро разделся и нырнул под ватное лоскутное одеяло.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Летом приезжали в Удельную дачники из Петербурга, селились поближе к сосновому бору,— он назывался Сосновкой,— или к Удельнинскому парку, через который проходила Финляндская железная дорога. По ней и ездили в столицу дачники, а зимой — постоянные жи-

тели поселка, облюбовавшие с давних пор земли разорившихся помещиков.

Славилась тихая Удельная тремя психиатрическими больницами. Сюда, за одиннадцать верст от города, столица поставляла в избытке шизофреников, параноиков, олигофреников. В третьем корпусе старой больницы святого Пантелеймона собрана была интеллигенция — художники, писатели, артисты, музыканты, офицеры. Они жили за высоким забором, отрезанные от всего мира, и только четыре раза в неделю появлялись в больничной церкви. Главный врач-психиатр, искавший новые пути лечения тихих помешанных, распорядился создать церковный хор, в котором дискантами и альтами пели дети, ученики ближайшей школы, а сумасшедшие — басами и тенорами. По мнению врача, такое общение с детьми приносило пользу душевнобольным. В этом хоре участвовал когда-то и Михаил. В церкви он стоял перед регентом, большим любителем музыки. Задавая тон певчим, регент ударял камертоном по стриженой голове Михаила, на зависть мальчишкам.

Дьякон церкви святого Пантелеймона Орлов славился громоподобным басом. В Удельную послушать его ходили богомольцы из Озерков и Коломяг. Он был страстный рыболов. Поспорив со своим однофамильцем парикмахером, что он разведет в пруду Удельнинского парка в течение пяти лет карасей, дьякон перетаскал их из Шуваловского озера и одержал победу. Но, выиграв пари, он через неделю повесился на леске от удочки, хотя вешаться надо было бы парикмахеру, проигравшему сто рублей. Труп дьякона случайно нашли Михаил и гимназист Васька. Они лазали по кустам в парке и составляли план бегства в Америку. Васька, начитавшийся приключенческих романов Майн Рида и Фенимора Купера, смутил душу Михаила рассказами об индейцах, тропических лесах, пиратах и уговорил его бежать из дому. После похорон дьякона оба мальчугана исчезли. Задержали их на пограничной станции Белоостров, в двадцати верстах от Петербурга, и через полицию вернули домой. Отец выпорол Михаила, а у Васьки родители в наказание отняли гимназическую фуражку. Во всей Удельной он только один ходил с непокрытой головой, вызывая у взрослых всеобщее недоумение, а у сверстников насмешки.

Тихо и скучно текла жизнь в Удельной, все дни были одинаковыми. Только одного нерасторопного вора

посадили в тюрьму на полтора года, и это было ярким событием в жизни дачного поселка, где мальчишки платили газетчику копейку за право прочитать очередной выпуск знаменитого детектива Ната Пинкертона и мечтали сделаться сыщиками или преступниками. Случайно прочитанная «История одного крестьянина» Эркмана-Шатриана потрясла Михаила романтикой Великой Французской революции. Он плакал от умиления и зависти, читая, как под трехцветными знаменами и под грохот барабанов национальные гвардейцы уходили драться за свободу. А парижанки в то необыкновенное время ночами стояли в очередях возле булочных.

В Удельной, в отличие от столицы, революция девятьсот пятого года прошла незаметно. Очередей за хлебом не было, за свободу никто не дрался. Летом в поселке на всякий случай расквартировали драгунский эскадрон. В летнем саду военный оркестр играл модный вальс «На сопках Маньчжурии». Осенью, страдая от несчастной любви к усатому драгуну, горничная богача Линдена из ревности облила серной кислотой свою соперницу. На другой день драгунский эскадрон покинул тихую Удельную. Догадливые обыватели находили связь между этими двумя событиями и радовались спокойной жизни своего поселка, которого не коснулась революция, всколыхнувшая рабочий Питер. Где-то совсем рядом, в Лесном, бунтовали студенты двух институтов: Политехнического и Лесного, в Сосновке казачьи разъезды разгоняли митинги, а в Удельной по-прежнему мирно текло невозмутимое существование обывателей.

Незаметно окончил Михаил городское училище, повзрослел, узнал, что такое безработица, а после смерти отца, оставшись с матерью, испытал и суровую нужду. На его глазах дачный поселок превращался в окраину Питера, а дачники исчезали совсем.

Простые смертные ездили из Удельной в столицу по железной дороге, но были два богача, Линден и Бадмаев, ежедневно совершавшие поездки в Петербург и обратно в собственных экипажах.

Михаил, постоянно читавший «Правду», обратил внимание, что в каждом номере печаталось большое объявление, всегда в определенном месте, набранное на пять колонок. Торговая фирма придворного поставщика «Николай Линден» доводила до сведения читателей «Правды», что она «по крайне удешевленным це-

нам предлагает желающим приобрести бриллианты, золото, серебро, часы и образа».

Почему богач Николай Линден, владелец прекрасной дачи на Выборгском шоссе, заботился снабдить бриллиантами и золотом питерских рабочих, Михаил, понятно, не мог догадаться. Истинная причина неожиданного внимания миллионера к рабочей газете говорила о политической дальновидности «придворного поставщика», чувствовавшего неизбежное приближение новой революции. В девятьсот пятом году победила черная сотня, развязавшая в стране еврейские погромы. Из двух зол надо выбирать меньшее.

Когда Линден, сидя в открытом ландо, проносился по Выборгскому шоссе мимо дома, в котором жил Михаил, юноша, любуясь рысаками, всегда испытывал острое чувство неприязни к выхоленному красивому господину в блестящем цилиндре, небрежно развалившемуся в экипаже. Почему так устроена жизнь: у одних все, у других ничего?

И каждое утро в одни и те же часы по Выборгскому шоссе проезжал Бадмаев, знаменитый в России тибетский врач. Он принимал больных в Петербурге, а за прием брал гонорар только золотыми монетами. По вечерам он увозил домой деньги в мешочке. Каждый месяц Бадмаев отправлял золото в Тибет, в неведомый монастырь. Оттуда присылали ему целебные травы.

Кроме этих двух выдающихся богачей, в Удельной жили самые обыкновенные люди, если не считать еще доктора Березницкого, лечившего больных от всех болезней. На весь поселок,— а в нем было около десяти тысяч населения,— только один Березницкий почему-то носил портфель, за что считали его в Удельной самым умным и образованным человеком.

И еще один обитатель дачного поселка выделялся известностью — купец второй гильдии Кузьма Егорович Ершов, владелец нескольких лавок, трактира и бани. Ершовские заведения занимали три четверти квартала, а рядом с ними стоял дом, где жил Михаил с матерью. Из окна второго этажа хорошо был виден купеческий особняк затейливой постройки, два балкона и аккуратный садик с цветочными клумбами. Здесь коротала свои дни первая жена Ершова, тихая старушка. Ходить она не могла, лежала в качалке, а Кузьма Егорович проводил время у второй жены, молодой полнотелой женщины, жившей на той же улице, наискосок.

Михаил нередко, сидя у окна, наблюдал в бинокль, неведомо каким путем попавший к ним в дом, за легкой и веселой жизнью в купеческом особняке. Сын Кузьмы Егоровича, гимназист Женька, был так же красив и строен, как его старшая сестра Ольга, только что окончившая гимназию. За Ольгой ухаживал какой-то студент-белоподкладочник. Михаил встретил однажды их в парке. Они шли под руку, студент рассказывал что-то смешное, купеческая дочка хохотала. Она даже не обратила внимания на Михаила, стоявшего с полуоткрытым ртом. И ему вдруг сделалось обидно,— такая красивая барышня, которой он часто потихоньку любовался из окна, даже не подозревает, что шесть лет он живет по соседству и думает о ней, как о сказочной принцессе.

Он шел следом за влюбленной парочкой, чувствуя, как в груди поднимается волна ненависти к румяному студенту. Неожиданно тот повернулся и бросил с небрежной издевкой:

— Послушай, любезный, шел бы ты другой дорогой и не болтался тут зря.

Михаил не нашелся что ответить и, оскорбленный, свернул на соседнюю дорожку. Дойдя до первой скамейки, он сел и снова долго раздумывал, почему гимназист Женька Ершов, его сестра и румяный студент могут жить беззаботной жизнью веселых бездельников. Чем они лучше его?

На другой день, в воскресенье, Михаил смотрел в окно, рассчитывая увидеть ненавистного студента. Но в саду было пусто. Гимназист Женька валялся в гамаке с книгой. Неожиданно в сад вышла франтоватая горничная Фенечка с лейкой в руке и стала поливать клумбу. Гимназист лениво поднялся, подошел к ней, воровато оглянулся и потянул горничную за беседку.

Спустя несколько дней Михаил повстречал Фенечку на улице. В начальной школе они учились вместе и при встречах здоровались.

— Ты с этим остолопом будь осторожнее,— добродушно посоветовал Михаил.— А то будешь плакать после.

Фенечка вспыхнула, в глазах ее мелькнула злоба.

— Ты невесту заведи себе да шпионь за ней. А меня учить нечего! Мастеровщина несчастная! Чего лезешь не в свое дело?

Она брезгливо вздернула носик и, словно боясь запачкаться о грязную блузу Михаила, прошла мимо.

А Михаил стоял ошеломленный грубостью Фенечки. С ней он сидел на одной парте, помогал ей решать задачки и однажды заступился за нее, когда озорной мальчишка пустил ей за воротник снежок. Об этой проделке случайно узнала учительница, озорнику попало, а Михаила ребята избили, совершенно напрасно заподозрив в ябедничестве.

Давно это было, а сейчас почему-то живо вспомнилась вся история.

— Вот ведь холуйка!— выругал он про себя Фенечку.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Позорная кличка вора прилипла к Косте в детские годы. Вором он не был, но однажды с ним действительно случилась беда. Сын ломового извозчика Федька Грач взял его на рождество славить Христа. Смастерив из серебряной бумаги большую звезду, трое ребят рано утром отправились в рождественский поход. Для юных христославов безотказно открывались двери во всех домах, куда они приходили. Переступив порог, мальчуганы звонкими голосами запевали крепко заученную молитву.

Рождество твое, Христе боже наш...

Умиленные хозяева крестились на образа, награждали юнцов медяками, леденцами, а наиболее щедрые — и куском сладкого пирога.

Лавочник Крюков дал ребятам по гривеннику, а жена его насыпала в кулек мятных пряников и карамелек. Довольные мальчуганы выкатились на улицу. Когда они завернули за угол и принялись по-братски делить добычу, Федька Грач, оглянувшись по сторонам, вынул из кармана тяжелые золотые часы с толстой цепочкой и маленьким ключиком:

— Видали! Пока вы пели, я не зевал... Не бойтесь! Это на троих. Я знаю, кому загнать можно.

В тот же день через несколько часов к Костиному отцу на квартиру пришел околоточный надзиратель Дубиков, пожилой человек, хорошо известный всем жителям Удельной. Следом за ним вошли лавочник Крюков и тайный сыщик в штатском. Лавочник сокрушенно взды-

хал, а сыщик вынул из кармана новенький рубль и ласково улыбнулся, показав кривые, желтые от табака зубы:

— Будет твой, Костенька, если скажешь... где часы.

— Не брал я никаких часов!— Костя отвернулся от рубля.

— Ты не брал. Знаем. Это не ты. А кто взял?

— Никто.

Лавочник крякнул и расстегнул ворот, почувствовав удушье. Околоточный Дубиков недовольно покачал головой и строго сказал:

— Воровать — грех! Бог на том свете накажет, а мировой судья на этом. Лучше сознайся и попроси у господина Крюкова прощенья.

— Не знаю я, кто взял!— закричал Костя.

Сыщик состроил страшное лицо и зловеще прошипел:

— Сейчас в тюрьму отведу и шкуру с тебя спущу. Говори правду!

У Костиного отца задергались губы. Он побледнел и прохрипел, обращаясь к сыщику:

— Убери свой целковый. А через часок зайдите за пропажей. Сынишка мой, я сам и разыщу.

— Правильно,— одобрил околоточный и взял портфель под мышку.

Лавочник умоляющими глазами смотрел на Костиного отца.

— Ты уж постарайся, милый человек! В обиде не будешь. Подумать только, сто шестьдесят рублей стоят с цепочкой...

Целый час отец нещадно бил сына. Костя молчал, только кусал себе пальцы. Наконец не выдержал и закричал дурным голосом. А потом затих, потеряв сознание.

Вскоре пришел сыщик. Истерзанный Костя валялся на полу:

— Не брал он,— хмуро сказал отец.— В другом месте ищите.

— На совесть ты его, братец, разделал, на совесть...

Сыщик хотел еще что-то добавить, но в эту минуту открылась дверь и жена лавочника радостно закричала с порога:

— Нашли, нашли! Федька сознался, слава тебе, господи! Он утащил, гаденыш, ворюга проклятая...

Из-за широкой спины лавочницы выглядывал испуганный Костин товарищ, одноклассник Мишка Пахомов. Он узнал, что часы украл Грач, и прибежал заступиться за друга, но было уже поздно.

Увидев бездыханного Костю, жена лавочника только ахнула и в ужасе закрыла лицо ладонями. Она сама помчалась на извозчике за фельдшером и быстренько доставила его к избитому.

Фельдшер осмотрел Костю и выругал отца:

— Если ты не зверь, то во всяком случае самая настоящая скотина. В тюрьму тебя надо, мерзавца, посадить!

Спустя неделю Костин отец, возвращаясь от кума после встречи Нового года, замерз под забором, напившись до бесчувствия.

Из всех товарищей только один Мишка Пахомов навещал больного друга. Через месяц Костю выписали из больницы. Бледный и похудевший, он вернулся домой. Воспитывать его теперь стала улица. Мать рано утром уходила на поденку — стирать белье, мыть полы, возвращалась поздно вечером, за сыном ей смотреть было некогда.

Незаслуженное наказание ожесточило Костю. Кража золотых часов, в которой повинен был один Федька Грач, набросила тень и на остальных двух юных христославов. Если во дворе что-либо пропадало, первое подозрение падало на Костю. Он рос озлобленным зверьком, люто ненавидел полицию, особенно околоточных.

Костя подружился с уличными мальчишками, жившими без всякого надзора, рано научился курить и даже пить водку. Он не мог забыть жестокую отцовскую расправу и таил в сердце месть. Зимою из рогатки он перебил все стекла в квартире лавочника Крюкова, сделав это так аккуратно, что никаких подозрений на него не пало. Разбил также стекло в канцелярии полицейского участка, решил поджечь дом, в котором жил околоточный Дубиков, но не успел осуществить свой замысел: его враг переменил квартиру.

Несколько лет спустя, когда Костя работал уже на заводе, ему пришлось встретить Дубикова на узкой дорожке. На масляной неделе, после полуночи, подвыпивший околоточный в штатской одежде возвращался из гостей. Его словно покачивало ветерком, и он даже пытался что-то петь. Костя с двумя товарищами, также сильно навеселе, шел ему навстречу. Они столкнулись

нос к носу и узнали друг друга. Улица была глухая, безлюдная. Костя нащупал в кармане медный кастет, надел его на пальцы и пошел на околоточного.

— Не дури, Костька!— крикнул Дубиков и опустил руку в карман.

Костя метил попасть в голову, но промахнулся и ударил околоточного кастетом в плечо. В ту же секунду Дубиков выстрелил в него в упор.

Раненого навылет в грудь Костю отвезли в Выборгскую больницу. Он поправлялся медленно, страдал от безделья и с нетерпением ждал, когда его выпишут. Каждое воскресенье приходила в палату мать с маленьким узелком гостинцев, робко усаживалась на крашеную белую табуретку и молча смотрела страдальческими глазами на бледное лицо сына. Она боялась, что его засудят. Навещал частенько и Михаил, самый близкий друг.

Если бы Дубиков был трезвый, а главное — в полицейской форме, угодил бы Костя на каторгу за вооруженное нападение на чина полиции. Но дело о ночном происшествии в Латкином переулке замяли, и об этом больше всех хлопотал сам околоточный надзиратель: над ним висела угроза увольнения со службы. Он и про медный кастет ни одним словом не обмолвился во время дознания.

Костина мать об этом ничего не знала, да и сам Костя находился в неведении о дальнейшей своей судьбе.

Бывалый человек, сосед по койке, лежавший с переломом ноги, ему предсказывал:

— Тут что-нибудь одно из двух получится: или рыбка, или скрипка. Или тебя в Сибирь на каторгу упекут за террор, или околоточного пожалеют и закроют глаза на все происшествие. Ведь если дело до суда дойдет, он сухим из воды тоже не вылезет.

Бывалый человек, заметив, как томится Костя от безделья, дал ему потрепанную книжку. Неизвестно, кто сочинил роман этот, первая страница была вырвана. Костя не привык и не любил читать — детство его прошло без книг. Он с недоверием полистал страницы, рассчитывая найти картинки, начал читать. Первые малопонятные главы показались ему скучными, но чем дальше, тем все более и более захватывали его описываемые события. И когда Костя, дочитав роман до конца, узнал о неудавшейся попытке Андрея Кожухова убить царя, он долго не мог прийти в себя и успокоиться. За-

крыв книгу, юноша лежал притихший, взволнованный и задумчиво смотрел в одну точку. Все прочитанное он воспринял как подлинную правду.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Костя выписался из больницы. Похудевший и побледневший, пришел на завод. Рабочие подметили в нем разительную перемену. Парень словно переродился за два месяца отсутствия, стал молчаливым и замкнутым. Осмотрев следы пулевого ранения на груди и спине, все решили, что околоточный крепко «проучил» Костю за хулиганство. На самом деле это было не так. Костя повзрослел в больнице за несколько дней, прочитав роман Степняка-Кравчинского. Он стал жить одной мечтой — увидеть настоящего революционера вроде Андрея Кожухова. Что они существуют, в этом Костя не сомневался, не всех же казнили после девятьсот пятого года, а тогда — он слышал от рабочих — их было много. Но как и где их найти сейчас?

Узнав, что старый слесарь Гордеич сидел в тюрьме за политику, Костя, выбрав удобный момент, завел с ним разговор о революционерах. Старик вначале охотно отвечал, но когда Костя высказал ему свою затаенную мечту повидать настоящего революционера, Гордеич насторожился.

— А на кой ляд тебе это нужно?— спросил он, подозрительно разглядывая своего собеседника.

На этот простой вопрос Костя не нашел сразу ответа. Старик пожевал седоватые усы и сухо сказал:

— Не знаю я никаких революционеров. И знать не хочу!

Так, к великому огорчению Кости, из затеянного разговора ничего путного не получилось. Юноша обиделся на Гордеича, и совершенно напрасно. Старик знал революционеров и сам был революционером, но горькие уроки жизни привили ему осторожность.

Неудача с Гордеичем, однако, не отбила у Кости охоту продолжать поиски последователей Андрея Кожухова. На заводе Вегмана работал токарь Карасев. Про него тоже было известно, что он —«пострадавший», в девятьсот пятом году сидел в тюрьме и отбывал ссылку в Вологодской губернии. Костя решил и с ним поговорить. Когда, по его мнению, представился удобный случай, он поделился с токарем своей сокровенной мечтой.

— Ты что болтаешь, дурак!— рассердился Карасев. Какие теперь могут быть в России революционеры? Были, да все вышли! И не нужны они сейчас никому, а особенно тебе, сопляку. Ты лучше в лапту играй или девчонку заведи, а дурь из головы выброси.

Костя оторопел, услышав такой совет. Карасев пользовался на заводе, как «сознательный рабочий», уважением, он состоял членом правления профессионального союза металлистов. Если такой человек говорит, что революционеры никому не нужны, к кому же тогда еще идти! Костя окончательно пал духом, но поставить крест на своих поисках все же не хотел.

Трудно сказать, набрался ли смелости Гордеич или просто уверился в Косте, потихоньку со стороны наблюдая за безусым юнцом, только однажды в обеденный перерыв он остановил его и сказал многозначительно:

— Сегодня приходи ровно в восемь часов вечера в «Порт-Артур». Познакомлю с одним человеком... Понял?

Костя не сразу сообразил, о ком речь, а когда догадался, вспыхнул до корней волос.

Он пришел в «Порт-Артур» на десять минут раньше назначенного срока. Трактир наполовину был пуст. В дальнем углу за крайним столиком у окна увидел Гордеича. Старик разговаривал с худощавым русоволосым человеком, который походил на рабочего, но тужурка на нем была студенческая, сильно поношенная и заштопанная на локтях.

Гордеич заметил Костю и кивнул ему, приглашая подойти.

— Это и есть тот самый хлопец,— сказал слесарь.— А это товарищ Егор. Присаживайся.

На столе стояли три бутылки пива и два блюдечка — одно с моченым горохом, другое с солеными сухариками. Костя поклонился и сел на краешек стула. Он смотрел на товарища Егора с любопытством и робостью. Неужели это революционер, такой же, как Андрей Кожухов?

Гордеич допил пиво, вытер седоватые усы и в опорожненный стакан налил Косте.

— Пей. А мне пора!— сказал он и, блеснув стеклами очков, попрощался.— Пожелаю всего хорошего.

Костя остался наедине с товарищем Егором. Они изучающе смотрели друг на друга.

— На заводе работаете?

— Вместе с Гордеичем,— Костя помолчал немного.— Вы правда революционер?

— А что?

— Я книгу читал про Андрея Кожухова. Слышали про такого?

— Слышал. Есть такая книга. Хорошая.

— Очень. Я как прочитал, после, словно полоумный, ходил. Ей-богу! Я раньше не знал даже, что такие люди, как Андрей Кожухов, могут существовать на белом свете. А вот, оказывается, есть. И мне это очень удивительно показалось.

— Что же тут удивительного?

— Да потому, что все люди сейчас сволочи.

— Ну, это вы зря так говорите!— нахмурился товарищ Егор.

— А что, разве неправда?

— Неправда.

— Во всяком случае, хороших очень мало,— сдался Костя после некоторого раздумья.— Мать у меня хорошая, ничего не скажу, верно, она добрая.

— А отец?

— Он умер. Пьяный замерз. Зверюга был. Чуть не убил меня.

— Это за что же?

— По дурости своей. Людоед дикий!

И Костя рассказал историю с золотыми часами лавочника Крюкова.

— Меня с тех пор вором стали считать,— говорил он с обидой.— А я чужого никогда не брал. Меня после часов все дразнить стали: «Костька-вор». Разве не обидно? И никто никогда не заступился. Меня зло брало. Кто вором обзовет, я у того ночью из рогатки стекло разобью. В отместку... А били меня! Потом увидели, что я не ворую, тогда в хулиганы произвели. Это верно, я хулиган. Не отрицаю! Драться любил. Я в трех местах ножом порезанный. Если бы существовали разбойники вроде Стеньки Разина, я бы обязательно к ним ушел. Лавочников бы грабил, а полицию убивал. Ненавижу я их. Как встречу околоточного, так у меня все трясется. А вот прочитал про Андрея Кожухова — и ночь не спал. Все думал и думал...

Костя умолк, не зная, что еще сказать. Он никак не мог найти нужных слов, чтобы излить свою обиженную душу.

Товарищ Егор допил пиво и снова наполнил стакан.

— И что же вы надумали?

— Я захотел тоже революционером сделаться! Таким, как Андрей Кожухов,— решительно сказал Костя и покраснел.

— А для чего?

— Чтобы бороться,— страстно произнес он.

— С кем?

— С правительством. Я бы царя кокнул в первую очередь.

— Ну, а толк какой?

— Как какой?

— Другой сразу появится.

— И другого.

— Третий будет.

— И третьего.

— Четвертый придет! На царский трон тысячи охотников найдутся. Все это чепуха, что вы говорите. Дело вовсе не в царе.

— А я думал, вы настоящий революционер, как Андрей Кожухов,— упавшим голосом сказал Костя и с сожалением посмотрел на своего собеседника.

Товарищ Егор налил пива, не торопясь выпил полстакана и, пытливо глядя Косте в глаза, заговорил тихим, как бы ленивым голосом:

— Роман «Андрей Кожухов» написан давно. Жизнь с тех пор сильно переменилась. И революционеры теперь в России стали другие, и дела у них другие. Царей убивать нет никакого резона. И ты забудь эту глупость,— товарищ Егор неожиданно перешел на «ты».— А если кто с тобой заговорит об этом, держись от такого человека подальше. Знай, что шпик из охранки. Пропадешь ни за понюшку табаку. Понял?

Костя ничего не ответил, он не мог во всем сразу разобраться. Товарищ Егор пил пиво и грыз соленый сухарик.

— Теперь насчет твоего желания стать революционером. Дело это не такое простое и легкое, как ты себе представляешь. Вот я тебя слушал и думал: какой кашей у парня голова набита! Ты сам не знаешь, чего хочешь: то разбойником быть, то революционером.

Товарищ Егор снова налил пива в стакан. Костя к своему не притронулся еще, он его просто не видел.

— Скажи, что ты еще читал кроме «Андрея Кожухова»?

— «Генрих Рау Железная Рука».

— А еще?
— «Антона Кречета» читаю в «Копейке».
— Еще что?
— Больше ничего.
— Как вижу, ты ровно ничего не читал.
— Я в школу только две зимы ходил.
— Учиться тебе надо.
— Опять с букварем бегать?— на Костиных губах мелькнула презрительная усмешка.
— А ты не смейся. Есть вечерние классы. Ходят туда рабочие не глупее тебя и постарше. Вот из них будут настоящие революционеры. Ты, кажется, литейщик?
— Можно сказать... Учение кончил.
— Чтобы революционером быть, тоже надо учиться.
Костя сидел огорченный, растерянный. Товарищ Егор почувствовал, что творится у него в душе.
— Гордеич сказал, ты честный парень и тебе можно доверять. Я через него тебе передам, когда смогу с тобой встретиться. Если, конечно, хочешь.
— Хочу.
Недели через две вечером Гордеич повел Костю на окраину Удельной, на безлюдное Старо-Парголовское шоссе. Здесь в глубине двора, густо заросшего акацией, в старом покосившемся флигеле жил слесарь Егор Николаевич Васильев. Прежде чем открыть калитку, Гордеич настороженно огляделся по сторонам. Никого кругом не было. По условному стуку женщина с подвязанной щекой открыла дверь и впустила пришедших в переднюю. Костя с волнением, ожидая чего-то необычайного и таинственного, вслед за Гордеичем переступил порог небольшой комнаты с ободранными стенами. В ней не было никакой мебели, кроме стола, накрытого клеенкой. На табуретках, расставленных вдоль стен, сидели молодые парни и двое пожилых рабочих и слушали: товарищ Егор рассказывал о прибавочной стоимости. Костя осторожно опустился на свободную табуретку и тоже стал слушать, но как ни старался, ничего понять не мог. В накуренной комнате было душно. Костю потянуло ко сну. Он вначале зевал, а потом заклевал носом. Гордеич сердито толкал его. Парень вздрагивал, широко раскрывал глаза и с недоумением смотрел на товарища Егора, соображая, где он находится. Потом товарищ Егор задавал вопросы, желая проверить, насколько поняли его слушатели.

Из предосторожности флигель покидали поодиночке, но на шоссе Гордеич подождал Костю.

— Рано тебе, парень, на умные собрания ходить!— зло сказал он.

Костя стыдливо молчал.

— Нешто скучно было?

— Почему скучно? Очень даже весело!

— А что ж носом клевал?

— Ничего не клевал!

— Понял что-нибудь?

— А чего тут не понимать! Все ясно, как на ладони.

— Что тебе ясно?

— Ну, стоимость эта самая. Как ее... добавочная, что ли?

— Не добавочная, а прибавочная.

— Подумаешь, большая разница! Что в лоб, что по лбу.

Гордеич сокрушенно вздохнул: вряд ли толк какой из парня получится.

...С этого вечера удельнинский хулиган стал посещать кружок товарища Васильева.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Егор Николаевич, вернувшись из Парижа, попал в Удельную не сразу. Возобновив старый нелегальный паспорт на имя Васильева, он попытался устроиться в Питере. Все партийные явки, полученные за границей, не пригодились, он никого не нашел по заученным адресам. Пришлось поехать в Финляндию, снять комнату у чухонца в Териоках и уже потом заняться поисками работы.

Рано утром он приехал на Финляндский вокзал и ходил от одного завода к другому. Обошел заводы Нобеля, «Новый Лесснер», Струка, Эриксона и, миновав Сампсониевский проспект, вышел в Лесной. Здесь, на Выборгском шоссе, Егор Николаевич с изумлением стал разглядывать кирпичное здание недавно построенного завода с огромной вывеской «Новый Айваз». Он подошел к воротам, где толпилась кучка безработных. Шустрый паренек продавал «Правду», другой — газету «Луч». В ожидании, когда из ворот выйдет мастер набирать рабочих, «правдисты» вели яростный спор с «лучистами».

Егор Николаевич молча прислушивался. Прожив несколько лет в эмиграции, он даже не предполагал, что питерские рабочие научились так хорошо разбираться в борьбе большевиков с меньшевиками.

Начав хождение по тюрьмам и ссылкам с восемнадцати лет, он сталкивался с меньшевиками, эсерами, максималистами, анархистами, толстовцами. Он присутствовал на горячих спорах большевиков с меньшевиками, встречался с Лениным, Плехановым и Мартовым за границей. Примкнув после Второго съезда к большевикам, руководил боевой организацией костромских рабочих в девятьсот пятом году и, перейдя на нелегальное положение, почти забыл свою настоящую фамилию. Был он Лаврентьевым, Вершининым, Ивановым, Назаровым, Васильевым. Звали его не Егором Николаевичем, а Алексеем Капитоновичем, как записано было в метрике, выданной Суздальской церковью.

Он купил обе газеты, «Правду» и «Луч», и, аккуратно сложив, засунул их во внутренний карман.

Недавно построенный завод стоял на открытом месте,— раньше здесь были огороды. Мартовский ветер гулял по пустырю, продрогшие безработные отбивали чечетку, поднимали воротники и глазами охотников следили за дверью проходной будки, откуда должен был появиться мастер. Но он так и не появился, хотя точно было известно, что заводу требуются слесари, токари и фрезеровщики.

Заводской гудок оповестил о перерыве на обед. Ворота распахнулись, и густая толпа рабочих хлынула на улицу. Этот день оказался для Егора Николаевича удачливым. Кто-то взял его за плечо.

— Егор?! Какими судьбами?

— Товарищ Калинин!

Они отошли в сторону.

— Где живешь?— спросил токарь Калинин.

— В Териоках. Ищу работу. Две недели как приехал из Франции.

— В ПК[1] был?

— Нет. Была явка, но никого не нашел.

— Время опасное, аресты. Однако унывать не надо. Найдем и ПК,— обнадежил его Калинин.— А с работой уладится быстро...

---

[1] ПК — Петербургский Комитет РСДРП большевиков.

Через несколько дней Егор Николаевич работал вместе с токарем Михаилом Ивановичем Калининым в одной смене. Завод «Новый Айваз» поразил его оборудованием и совершенной организацией труда. Русские заводы, на которых ему приходилось работать, оснащены были допотопными машинами и станками. Вспоминая французские и бельгийские заводы массового производства и сравнивая их с «Новым Айвазом», Егор Николаевич высказал свое мнение Калинину:

— Таких заводов — и в Европе поискать! Исключительная техника. Единственный завод в России, где пролетарий работает семь с половиной часов.

— А иначе нельзя при трех сменах.

Рождение первоклассного завода «Новый Айваз» было огромным событием для Удельной. Хотя дачный поселок находился всего в одиннадцати верстах от столицы, но в правах жительства он приравнивался к уезду. Здесь жили высланные из Питера революционеры, а по фальшивым паспортам нелегально проживали бежавшие из ссылки и даже с каторги политические заключенные. Всеми правдами и неправдами большевики стремились попасть на завод «Новый Айваз», где открывались большие возможности для широкой подпольной работы.

Михаил, родившийся и выросший в Удельной хорошо знал каждую улицу и переулок, но он не подозревал, какая подспудная, невидимая жизнь забила ключом в тихом поселке с того дня, когда огромный корпус «Нового Айваза» заполнили две тысячи человек. Большевики вели с меньшевиками ожесточенную борьбу за каждого «сознательного рабочего». Егор Николаевич, приглядываясь ко всему, был приятно удивлен. Накануне отъезда за границу, после разгрома революции пятого года, когда наступила реакция, ему не приходилось встречать таких интеллигентных пролетариев, особенно среди молодежи. Он вспомнил свое пребывание в Англии и встречи с рабочими в «социал-демократической церкви». Когда он впервые попал в нее и увидел на амвоне попа-социалиста, читавшего библию, и рабочих, распевавших по социал-демократическим молитвенникам божественные стихи,— ему показалось, что все это происходит во сне.

Вторично он еще больше удивился, когда попал в качестве гостя на конгресс рабочих-социалистов. В честь открытия конгресса в знаменитом соборе был назначен торжественный молебен. Все делегаты и приглашенные гости во главе с президиумом явились в храм, где насто-

ятель собора, известный епископ, закончив богослужение, выступил с проповедью. Он взял евангельский текст «Придите ко мне, все трудящиеся и обремененные, и я успокою вас» и произнес проповедь, закончив ее лозунгом «Коммунистического Манифеста»—«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». После выступления епископа все опустились на колени и стали истово молиться.

Семнадцатилетним юношей связал Егор Николаевич свою судьбу с русской социал-демократией. И там, в знаменитом соборе, он вспомнил свою далекую родину с ее тюрьмами и подпольем. И впервые, с удивлением и радостью, подумал, как Англия отстала от России. Вот и теперь, в Удельной, столкнувшись после эмиграции с айвазовскими рабочими, он испытал чувство гордости за молодежь, она была совсем иной, не похожей на его сверстников. В молодые годы Егора Николаевича только одиночки приходили к нему в кружок, боязливо переглядывались, слушая речь безусого агитатора в косоворотке. Многие из них, появившись однажды, исчезали.

«Нет, эти не разбегутся,— Егор Николаевич вглядывается в юные лица своих кружковцев,— хотя знают, что за «политику» могут получить «57 пунктов»[1] и испытать тяжелую ссыльную жизнь».

Новый ветер дошел и до тихой Удельной, где еще недавно люди жили, не подозревая, как круто изменится жизнь в поселке, с появлением первого крупного завода «Новый Айваз».

ГЛАВА ШЕСТАЯ

С того памятного вечера, когда Костя впервые попал на занятия нелегального кружка, число его членов почти удвоилось. Костя, друживший с Михаилом, рассказал о нем товарищу Егору и попросил разрешения привести приятеля на очередное заседание.

— Ты его хорошо знаешь?

— Росли вместе.

— «Правду» читает?

— Да. Выписывает!

— А чем еще интересуется?

— Он стихи здорово сочиняет под рифму. Ребята его Пушкиным дразнили. В насмешку, конечно.

[1] Административная высылка из крупных городов за революционную деятельность.

— Ладно, подумаем.

Гордеич отозвался о Михаиле очень хорошо, и товарищ Егор согласился.

— Приводи своего приятеля в следующую среду.

Вечером Костя зашел за товарищем и застал его одного. Михаил сидел за столом и писал. Увидев на пороге Костю, открывшего дверь без стука, он смутился и торопливо захлопнул тетрадку.

— Все стихи сочиняешь?

— Так просто писал,— уклончиво ответил Михаил.

— Меня хоть зарежь, ничего не сочиню,— Костя закурил папиросу и сел на свое любимое место — на продавленный диван.— А трудно, Мишка, сочинять стихи?

— Тут все от рифмы зависит. К другому слову бьешся-бьешься — и никак не подберешь подходящую. А есть даже очень легкие слова. Тогда быстро пишешь.

— Покажи, что написал.

Михаил порозовел:

— Не стоит. Ерунда.

— Жалко тебе, что ли? Не съем.

— Пока у меня только черновик. Тут так наляпано, мне самому не разобраться.

— Что ты ломаешься, как дешевый пряник!

Михаил нехотя раскрыл тетрадь. Короткие строчки четверостиший были зачеркнуты и перечеркнуты, страница закапана чернилами. Но две верхних предательских строчки, заглавие стихотворения «Синие глаза» и посвящение Гране Костя легко прочитал. Михаил перехватил его взгляд, сильно смутился и прикрыл тетрадь. Костя любил позубоскалить над стихотворными опытами друга, но почувствовал, что сейчас этого делать не следует.

— Ну пойдем,— сказал он поднимаясь.— Собирайся.

Михаил подальше убрал тетрадь, он не хотел, чтобы она попала в руки матери.

Друзья вышли на улицу. Михаил решил, что теперь нет никакого смысла таиться от друга, и спросил:

— Что ты про Граню думаешь?

— Ничего не думаю.

— Я про нее большое стихотворение сочиняю. Не знаю только, что получится.

— А по-моему,— сказал Костя,— ничего у тебя с ней не выйдет. Если бы ты был студент, тогда другой разговор. А так она покажет тебе от ворот поворот. Вот увидишь.

— Это верно. Она образованная, гимназию кончила. А я что...

Михаил уже решил послать Гране письмо и пригласить ее в ближайшее воскресенье в «Народный дом», но он хотел прийти на свидание не с пустыми руками, а принести в подарок стихотворение с посвящением девушке. В душе юноши теплилась надежда, что стихи могут поднять его в глазах дочки надворного советника. Но как назло ничего не получалось. Синие глаза Грани были гораздо красивее в воспоминаниях, чем в стихах. Михаилу не хватало нужных слов, чтобы они ожили на бумаге.

И сейчас, шагая рядом с молчаливым Костей по неосвещенной удельнинской улице, Михаил продолжал мысленно переделывать незаконченное четверостишие. Он словно видел перед собой раскрытую тетрадь в клеточку и строчки, переписанные десять раз. Сколько он мучился, подбирая рифму к слову Граня!

...Они пришли до начала занятия кружка. Костя представил своего друга Егору Николаевичу. Пропагандист пытливо оглядел Михаила и хотел что-то сказать. Но в эту минуту его отвлекли пожилые рабочие, говорившие о хронометраже на заводах.

Михаил сел рядом с Костей и принялся рассматривать собравшихся. В углу комнаты притулился на низкой скамеечке Гордеич. Михаил удивился, узнав Нюрку Серегину, чернорабочую из слесарного цеха. Двух рабочих в одинаковых пиджаках он где-то встречал, но где именно, вспомнить не мог, должно быть, просто на улице. Всех остальных видел впервые.

Егор Николаевич занял место за столом и постучал огрызком карандаша, водворяя тишину в комнате.

— Будем начинать,— сказал он и посмотрел на часы.— Сегодня мы отойдем от нашей обычной программы занятий. Дело в том, товарищи, что на заводе Вегмана произошел очень досадный случай... Там проводился денежный сбор на рабочую печать.

И Егор Николаевич рассказал историю, хорошо известную Михаилу, Косте и Нюрке Серегиной, как ликвидаторы ловко обошли на заводе большевиков. Сбор в «Железный фонд печати» провели успешно, собрав кругленькую сумму, но слесарь Карасев, открытый ликвидатор, выдвинул предложение разделить собранные деньги

поровну между тремя рабочими газетами —«Правдой», «Лучом» и «Бодрой Мыслью». На первый взгляд, в этом предложении все выглядело справедливо. Однако по коллективной подписке «Правду» выписывали семьдесят шесть человек, а «Луч» и «Бодрую Мысль» только двадцать восемь. У «Правды» сторонников на заводе было больше, и правдисты запротестовали, требуя деньги разделить пропорционально числу подписчиков. На общезаводском собрании разгорелся жаркий спор. Он кончился совершенно неожиданно. Бородатый литейщик, выписывавший все три рабочих газеты, заорал во все горло:

— Нам надоела грызня, которую ведут на своих страницах «Правда» и «Луч»! Читать противно! Хватит этой болтовни! У рабочего класса один враг — богачи, капиталисты! Вот с кем надо бороться! Мы знать не хотим ни «правдистов», ни «лучистов»!

Оратора поддержали аплодисментами. Деньги решили разделить поровну. Мимо такого факта Егор Николаевич не мог пройти. Он решил поговорить о разногласиях между большевиками и ликвидаторами.

Михаил слушал рассеянно. Он смотрел на Нюрку Серегину и думал, какое у нее некрасивое, грубое лицо, толстые губы. Он мысленно представил рядом с ней синеглазую белокурую Граню, тоненькую, изящную. Где она сейчас и что делает? Изучает свою стенографию? А может быть, пошла к подруге. Или в театр. Если в театр, так не одна. Конечно, не одна. Она красивая, образованная, за ней ухаживают студенты. А может быть, и офицеры. После театра провожают домой. На извозчике или даже на лихаче. Денег у них много.

Михаилу приходилось наблюдать, как мчатся зимой парочки на узких санках. Мужчина обнимает женщину, поддерживая ее за талию. Он живо представил Граню и рядом с ней франтоватого офицера в голубой шинели. Зависть, ревность, отчаяние наполнили его сердце.

Егор Николаевич, оглядывая своих слушателей, говорил о большевиках, меньшевиках, ликвидаторах, стараясь объяснить, что «грызня» между «правдистами» и «лучистами» закономерна и неизбежна, что она будет продолжаться до тех пор, пока большевики не одержат над меньшевиками полной победы. Пропагандист старался говорить возможно проще и понятнее, но Михаил никак не мог сосредоточить свое внимание на его словах. Вероятно, если бы он пришел на собрание кружка до встречи с Граней, выступление Егора Николаевича не

показалось бы ему столь скучным. Но сейчас все мысли юноши тянулись к синеглазой девушке, и он плохо понимал, о чем говорил пропагандист и выступавшие после него рабочие. Костины слова «покажет тебе от ворот поворот» больно резанули его самолюбие. Пока шло обсуждение разногласий между правдистами и ликвидаторами, Михаил предавался горестным размышлениям. С каждой минутой нарастала в его сердце обида, только он не мог осознать, на кого: на Граню, на Костю, или на себя за то, что он не студент, а простой рабочий.

Занятие кружка окончилось. Рабочие поодиночке покидали прокуренную комнату. Егор Николаевич задержал Михаила, протянувшего ему руку.

— Я хочу с вами поговорить. Не уходите.

Они остались вдвоем. Егор Николаевич открыл форточку, и в комнату ворвался холодный чистый воздух.

— Костя мне сказал, что вы стихи пишете.

Михаил смутился.

— Что он чепуху городит! Какие там стихи.

По сердитому ответу своего собеседника Егор Николаевич безошибочно догадался, что Костя сказал правду. Зная стыдливую застенчивость начинающих поэтов, пропагандист переменил тему и заговорил о книгах. Ему понравилось, что его кружковец читает и любит рассказы Горького. Михаил каким-то чутьем уловил, что слесарь — человек начитанный, и показывать свою малограмотность ему не хотелось.

— Я ведь сам пишу стихи!— сознался Егор Николаевич.— Правда, плохие. Приносите свои. Почитаем вместе.

Вернувшись домой, Михаил до полуночи просидел над заветной тетрадкой. Некоторые строчки ему нравились, казались красивыми и чувствительными.

Четким почерком он переписал набело все стихотворение и внимательно перечитал его. Нет, плохо! Никуда не годится!

Кусая губы от досады, он с ненавистью перечеркнул всю страницу жирным косым крестом.

— Опять ты не спишь, полуночник!— раздался за ширмой сердитый голос матери.— Ложись, тебе говорят! Туши свет!

— Сейчас!

Михаил запрятал подальше тетрадь и лег спать.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

В «Газете Копейке» три объявления были напечатаны столбиком на четвертой странице внизу:

1. Покупайте универсальное средство, которое поможет вам до глубокой старости сохранить бюст красивой и правильной формы.

2. 1000 полезных и нужных вещей вы можете приобрести за 2 руб. 99 коп.

3. За 1 р. 20 к. высылаем наложенным платежом руководство, как научиться писать стихи. Лодзь, почт. ящ. 78.

В тот же день Михаил послал открытку по указанному адресу в Лодзь, а через неделю ему прислали извещение. На почте лежал пакет на его имя. Он заплатил рубль двадцать копеек и, волнуясь, вскрыл конверт из грубой оберточной бумаги. Лодзинский благодетель прислал ему книжку Н. Абрамова «Сборник рифм», она стоила восемьдесят копеек и была отпечатана в петербургской типографии. Михаила обсчитали на сорок копеек. Начинающий поэт был в восторге от своего приобретения: теперь не придется слишком долго мучиться в поисках нужной рифмы.

И верно, дело пошло значительно успешнее. За два вечера Михаил заново переделал стихотворение «Синие глаза». Теперь можно было послать письмо Гране и пригласить ее в «Народный дом». Это было первое письмо, написанное им девушке. Он переписал его несколько раз и все же не был уверен, что в нем не осталось ни одной ошибки. Михаил не знал, где требуется ставить запятые, и решил обойтись без них. Письмо он отправил заблаговременно, назначив свидание на ближайший воскресный день, и все время терзался от тревожной мысли: а вдруг Граня не догадается прийти на почту! Со дня первой встречи прошло более двух недель, она могла и забыть о его существовании.

В воскресенье он не знал, куда себя деть и как убить время до обеда. Страшно медленно двигалась часовая стрелка по циферблату. А после обеда, чтобы не сидеть дома, он решил отправиться на свидание пешком,— на это уйдет не меньше двух часов, и он как раз вовремя придет к памятнику «Стерегущему», где его должна ждать Граня.

Никогда Михаил не одевался так тщательно, как в это воскресенье. Мать удивилась, когда увидела белый накрахмаленный воротничок и черный шелковый галстук.

День выдался на редкость хороший. Таял снег, и в воздухе чувствовался запах наступающей весны. Как обычно бывало по воскресным дням, на улицах бродили толпы гуляющего люда. Летом можно было проехать в Удельнинский парк или в Сосновку, но зимой там раздолье только лыжникам. Волей-неволей приходилось толкаться по людным улицам Лесного, Черной Речки и Выборгской стороны. Узкие тротуары не могли вместить гуляющих, люди шагали по мостовой, вызывая негодование извозчиков.

Михаил с Выборгского шоссе свернул на Сердобольскую улицу, здесь было еще многолюднее. Подвыпившие парни ходили кучками, задевали встречных девушек, озорничали, хулиганили. Девушки не оставались в долгу, бойко отругивались.

Огненно-рыжий веснушчатый парень в лихо заломленной фуражке с блестящим козырьком неистово пиликал на гармони. Заводские парни, шагавшие сзади, горланили частушки.

Он прошел набережной Черной Речки и через Строганов мост вышел на просторный и прямой, как стрела, Каменноостровский проспект. Здесь все было иначе, чем на рабочей окраине, даже воздух казался другим. Навстречу мчались лихачи. Великолепные орловские рысаки легко несли высокие санки. Величественные бородатые кучера, натягивая белые вожжи, норовили обогнать друг друга. Прошли два сияющих лаком автомобиля. Аристократический Петербург спешил на острова, чтобы после воскресного катания закончить прогулку ужином у цыган в загородном ресторане «Вилла-Родэ».

Михаил разглядывал беспрерывный поток экипажей. Мимо проносились мужчины в блестящих цилиндрах, дорогих бобровых шапках, в офицерских фуражках с кокардами. Они поддерживали красивых женщин, закутанных в собольи и песцовые меха.

Эти люди из богатого, красивого, беззаботного мира были известны Михаилу по прочитанным романам из великосветской жизни. Но другой мир, за Черной Речкой, где бывали пьяные драки, он знал не по книгам. Двадцать лет в нем прожил его отец, бывший пастух, работавший на литейном заводе и мечтавший обеспечить сы-

ну чистую, легкую работу. Он не хотел, чтобы Михаил зарабатывал кусок хлеба тяжелым, изнурительным трудом литейщика. По окончании начальной школы Михаил поступил в городское училище. Если бы отец не умер, сын прошел бы счетоводные курсы, сделался конторщиком или письмоводителем. Выше этого мечты отца не поднимались. Но после его смерти все вышло иначе. Михаил закончил городское училище, а потом началась трудная жизнь. Не умеющему ничего делать подростку добыть кусок хлеба было нелегко. Он работал рассыльным, чернорабочим, учеником в типографии и цинкографии, таскал кирпичи на стройке шестиэтажного дома.

Всей душой Михаил мечтал вырваться из ужасной нищенской жизни, попасть в число счастливчиков, которые жили в свое удовольствие, ездили на рысаках, как ювелир Николай Линден или тибетский врач Бадмаев. У этих удачников были деньги, и они давали счастье. Михаил вспомнил Кузьму Егоровича Ершова, пришедшего в Удельную в лаптях. Было время, когда тот торговал в ларьке квасом и семечками, а сейчас стал богачом.

Может быть, самому начать торговать семечками? Нет, все это чепуха!

В прошлом году конторщик Сажин неожиданно женился на дочке подрядчика Арсеньева и взял восемь тысяч приданого. Невеста была рябая, но конторщик сразу разбогател. Вот если бы дочка Кузьмы Егоровича влюбилась в Михаила и за ней бы дали двадцать тысяч!

Нет, не влюбится! На это рассчитывать не приходится. Хорошо бы накопить сто рублей и купить облигацию займа. Можно выиграть двести тысяч! Или хотя бы сорок. Все равно, пусть даже пять. Выигрывают люди. Но прежде чем приобрести счастливый билет, надо накопить сто рублей.

В голове Михаила один за другим рождались проекты, как разбогатеть. Он обдумывал их, строил воздушные замки: дача у него будет такая, как у Николая Линдена, а рысак — как у тибетского врача Бадмаева: он купит себе портфель, как доктор Березницкий, а в портфеле будут лежать аккуратно переписанные его стихи, и он, вместе с нарядной женой Граней, станет развозить их по журналам.

Как было бы замечательно, если бы все эти мечты

сбылись! А сейчас он шагал по проспекту, ощупывая в кармане единственный серебряный рубль — весь свой наличный капитал, необходимый для встречи с такой образованной барышней, как Граня. Она тоже спешит к нему на свидание и тоже думает о нем.

Это предположение было Михаилу очень приятно. Знакомство с дочкой важного чиновника как бы перекидывало мостик для него в иной мир, прельщавший своей благопристойностью, чистотой, вежливостью. Он понимал: ему суждено весь век оставаться простым рабочим, но сейчас об этом не хотелось думать. Он был просто счастлив, предвкушая радость первого свидания с красивой барышней.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

К памятнику «Стерегущему» Михаил подошел, как и рассчитал, за пятнадцать минут до назначенного часа. Грани еще не было, она приехала на трамвае с большим опозданием, заставив его пережить минуты отчаяния.

— Я опоздала,— сказала она, протягивая узкую руку в перчатке.— В воскресенье трамваи всегда переполнены. пришлось пропустить несколько вагонов. А извозчиков не было. Вы очень озябли, Миша?

— Нет. Сегодня не холодно.

— Да, погода хорошая. Пахнет весной. Через два месяца начнутся белые ночи. Вам нравятся они?

— Нравятся.

— Мне тоже. Я люблю кататься на лодке в это время. Очень красиво бывает на море. Мы на Лахте катались в прошлом году. Там подруга моя жила. У нее жених морской офицер. Куда же мы сейчас идем?

— Вы хотели в «Народный дом». В театр.

— Хорошо. Я согласна. Пойдемте в «Народный дом».

Граня держалась просто. Только иногда с ее языка срывались французские словечки, которые знал и Михаил: «пардон», «мерси», «силь ву пле». Несмотря на большую разницу в образовании, он чувствовал себя с ней непринужденно. Они стали разговаривать о книгах. Граня назвала особенно понравившиеся ей романы «Князь Борис Тишин» и «В вратах Эдема», недавно она прочла нашумевший роман Вербицкой «Ключи счастья».

— А рассказы Максима Горького вам нравятся?

— Я их не читала.

— А стихи вы любите?— осторожно допытывался Михаил.

Сердце его замерло в ожидании ответа.

— Обожаю.

Это слово наполнило его душу счастьем.

— Стихи очень трудно писать!— вздохнул он, вспомнив муки творчества до приобретения рифмовника.

— Я думаю. На это нужен талант.

Михаил нащупал в боковом кармане сложенный вчетверо лист бумаги. Если бы они сейчас сидели хотя бы на скамейке и кругом не было столько людей, можно было бы воспользоваться удобным случаем, достать стихи и прочитать. Но разве можно заниматься таким серьезным делом на ходу?

А Граня продолжала щебетать.

— У меня очень много знакомых молодых людей. Гимназисты, реалисты, студенты, юнкера, офицеры. За мной даже авиатор ухаживал, товарищ капитана Мациевича. Помните, погиб во время катастрофы? Между прочим, он делал мне предложение, но мама не согласилась. Она хотела, чтобы я вышла замуж за адвоката. Он старше меня, но очень интересный и богатый. У него свои лошади. А знакомых поэтов у меня ни одного! Они, говорят, все пьяницы или чахоточные.

— Не знаю,— неуверенно, упавшим голосом сказал Михаил.

Они подошли к «Народному дому». Перед входом чернела густая длинная очередь, но ждать пришлось не особенно долго: из широких дверей выливался бесконечный поток людей, на ходу застегивавших воротники пальто.

С «Народным домом» на Петербургской стороне у Михаила были связаны воспоминания детства. В школьные годы учитель русского языка, незабвенный Николай Степанович, устроил поездку целого класса в драматический театр на спектакль «Покорение Казани». От этого сказочного вечера впечатление осталось очень яркое, на всю жизнь.

А потом, подростком, работая на заводе, он ходил со сверстниками в «Народный дом», но не в театр, а просто так, потолкаться среди гуляющего народа. Летом гуляния устраивались под открытым небом, а зимой — в самом здании, вмещавшем не одну тысячу человек. В праздничные дни огромный зал походил на уличную площадь.

Здесь, как во время вербного базара, молодежь ходила широкими рядами, совершая бесконечные круги.

Кроме драматического театра, при «Народном доме» существовал оперный. На третий ярус пускали зрителей бесплатно, но охотников собиралось так много, что им приходилось стоять в очереди почти целый день, а когда выступали знаменитости вроде Алчевского или Липковской, то и побольше. Оперу ходили слушать даром главным образом студенты и курсистки.

Граня сказала Михаилу, что она с удовольствием ходит на «бесплатку», на самый верхний ярус, там собирается много молодежи. Правда, бывает очень тесно, но зато весело.

— Мы с вами в следующий раз пойдем туда вместе,— предложила девушка.— Хорошо?

— Хорошо. А сегодня?

— Попытаемся в драматический билеты взять.

В этот день, как назло, в спектакле участвовали знаменитые братья Адельгеймы, и над кассой висело: «Билеты все проданы».

— Тогда мы просто походим по залу!— сказала Граня.

И они влились в густой поток гуляющих и тоже стали ходить по кругу, наступая на пятки идущим впереди.

Потом Михаил пригласил Граню в ресторан. Они нашли свободный столик.

Михаил был первый раз в ресторане с барышней, он чувствовал себя несколько смущенно, не зная, чем угощать Граню. Она сама пришла ему на помощь.

— Я выпью кофе.

У Михаила был целковый. Подошедшей официантке он заказал десяток пирожных.

Граня посмотрела на него с недоумением, и он покраснел.

Она с удовольствием съела три пирожных. У Михаила появился аппетит, и он последовал ее примеру. Четыре пирожных остались на тарелке.

— Жаль, нет газеты, можно было бы завернуть и взять с собой,— сказала Граня.— Зачем оставлять? У нашего швейцара есть хромая девочка. Я ее очень люблю и жалею. У вас нет с собой никакой бумаги?

Михаил пошарил по карманам и вытащил свернутый вчетверо лист со стихами.

— Вот и хорошо!— обрадовалась Граня.— Я в муфту возьму.

Михаил растерялся. Он не успел раскрыть рот, как девушка быстро завернула в бумагу пирожные.

— Ну вот и все!— сказала она довольная.— Теперь можно идти.

Михаил огорчился и даже обиделся на ни в чем не повинную Граню.

Они покинули ресторан, снова немного походили по кругу и вышли на улицу. Вечер был тихий, теплый, и Граня предложила пойти пешком. Михаил взял ее под руку. Дурное настроение его быстро исчезло, ему стало смешно: столько волновался, не зная, как поднести стихи, а они пошли на упаковку пирожных.

Он представил, как Граня будет проходить мимо швейцара, как отдаст ему пакет и скажет: «Это вашей дочурке!» Хромая девочка обрадуется, пирожные съест, а смятую бумагу выбросит. Так Граня и не прочитает посвященные ей стихи.

Они шли медленно, не спеша, девушка что-то рассказывала, а Михаил мучительно думал: что же делать теперь со стихами?

— Как поживает ваш товарищ Костя?

— Ничего.

— Рая просила передать ему привет. Он ей понравился. Вы ему скажите об этом. Хорошо?

— Скажу.

Как и в прошлый раз, она подвела Михаила к закрытым воротам.

— Вот мы и пришли,— сказала она и неожиданно погладила Михаила по щеке надушенной перчаткой.— Когда мы теперь с вами увидимся?

— Когда хотите.

— Я не знаю, буду ли свободна в следующее воскресенье. Могу вам сообщить открыткой, если хотите.

— Лучше закрытым письмом.

— Хорошо. Куда мне вам писать?

Он сломал папиросную коробку и на картоне написал адрес.

— Это Костин,— сказал Михаил.— У нас такой дом, что письма часто пропадают...

Граня махнула муфтой и исчезла в воротах.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

На другой день утром Михаил шагал по темной улице на завод и вспоминал нелепую историю с пирожными. Из-за нее так глупо пропали его стихи. Теперь надо ждать следующего воскресенья, но будет ли Граня свободна? Пришлет ли она обещанное письмо?

И на заводе, набивая землей опоку, он продолжал думать о девушке, стараясь восстановить в памяти все ее слова. Даже самым пустяшным он придавал значение. После вчерашней встречи Михаил смутно чувствовал: Гране он тоже нравится, она сама пожелала встретиться с ним в ближайшее воскресенье. Чертовски плохо, что они живут друг от друга на таком большом расстоянии. Вот если бы она жила на Удельной или в Лесном, тогда можно было бы встречаться хоть каждый вечер. А ехать в город после работы — поздно. Придется ждать воскресенья, если, конечно, она будет свободна.

Костя подошел к товарищу.

— Здорово, Мишка!

— Здорово! Тебе привет,— сказал Михаил.

Ему не терпелось рассказать приятелю о вчерашнем свидании.

Костя вопросительно поднял глаза.

— От Раи. Вчера я Граню видел. В «Народном» вместе были.

К привету Костя отнесся равнодушно.

— Здорово ты втюрился,— насмешливо сказал он и, оглянувшись по сторонам, понизил голос.— Вчера я Егора Николаевича встретил. Хотел тебя сегодня вечером увидеть.

— Зачем?

— Не знаю.

— Ладно!— сказал Михаил, вспомнив, что пропагандист просил его принести стихи.

Вечером Михаил направился на квартиру Егора Николаевича. Тот, судя по всему, ждал его прихода, сам открыл ему дверь, услышав условный стук в окно.

— Садись, Миша,— сказал слесарь, собирая на треугольном столике в углу книги и листки бумаги, исписанные убористым почерком. Он аккуратно поставил книги на полочку, прибитую к стене, и навел порядок на столике: закрыл чернильницу крышкой, поправил бумажный лист, заменявший скатерть, переставил единственную фотографию в рамочке.

Михаил ждал, что Егор Николаевич заговорит о стихах, но пропагандист сразу приступил к делу, ради которого и зазвал Михаила к себе.

— Что нового на заводе?

— Все по-старому.

Однако Егор Николаевич лучше знал, что делается на заводе Вегмана, он заговорил о возможной забастовке, хотя Михаил о ней ничего не слышал.

— Условия труда очень тяжелые,— говорил слесарь.— Завод старый, станки ни к черту, много не заработаешь. Платят мало, а непорядков много. Вентиляции нет, мастера взяточники, заставляют по вечерам сверхурочно работать. По одиннадцать с половиной часов выходит. А теперь еще крепче будут жать. Вегман срочный заказ получил от морского ведомства, забастовка ему страшна. Сейчас очень важно, чтобы в «Правде» о заводе кто-нибудь хорошенько написал. Я прикинул: лучше тебя это никто не сделает. Придется тебе постараться.

— Да я не умею.

— Что ты! Стихи пишешь, а тут гораздо проще. Пиши в газету как обыкновенное письмо товарищу,— и все. Поговори с Гордеичем, с Костей. Важно отметить все недостатки на заводе, узнать, на что рабочие больше всего жалуются. Да ты и сам прекрасно знаешь, что у вас плохо. Отнесешь в редакцию. На Ивановскую улицу, она на Загородный проспект выходит. Адрес в газете указан. Только об этом болтать лишнего не надо.

Считая, что Михаил уже дал согласие, Егор Николаевич спросил:

— Ну, принес свои стихи?

— Нет.

— Что так?

— Забыл.

Михаил сказал неправду — тетрадь со стихами была при нем, но он стеснялся показать ее Егору Николаевичу. А когда попрощался с ним и вышел на улицу, стал ругать себя за излишнюю застенчивость.

На другой день Михаил встретился в «Порт-Артуре» с Костей и Гордеичем. Старик, видимо, от Егора Николаевича узнал о вчерашнем его разговоре с Михаилом.

Половой принес полдюжины бутылок пива, вытер грязную клеенку и ушел. Гордеич посмотрел на Михаила пристальным недоверчивым взглядом.

— Про тебя говорят, что ты сочиняешь. Пишешь шибко грамотно. Верно?

— Он не сочинитель, он стихоплет, вроде Пушкина!— поправил Костя, разливая пиво в стаканы.

Михаил покраснел и огрызнулся.

— Что ты все треплешься!

— Не сердись, Мишка, дело серьезное!— примиряюще и даже с уважением сказал Костя.— Ей-богу, поэт. В рифму все складывает. Я сам читал.

— Не знаю я, как в газету писать требуется.

— Может, трусишь?— Гордеич поднял глаза и в упор посмотрел на Михаила.

— Нет.

— А чего тут трусить?— Костя пожал плечами.— Если бы я умел, пожалуйста, с полным удовольствием. Если хотите, я даже могу своей рукой переписать. Пусть на меня думают.

— Удовольствия тут никакого нет. Выгонят с завода, вот и все удовольствие!— Гордеич обмакнул усы в горькую пену, пиво он пил с явным наслаждением.

Михаил дождался, когда старик отставит стакан.

— Ну, а о чем писать-то?

— Возьми любую «Правду» и прочитай, как с других заводов люди пишут. И ты так же валяй... А что не так получится — редактор поправит. Там народ дошлый!

— Инженера продернуть надо,— подсказал Костя.— Сволочь!

За разговором незаметно допили пиво. Гордеич поднялся и, прощаясь, сказал:

— Насчет этого дела молчок!

Когда он вышел, Костя усмехнулся:

— Трусоват старичок. А говорят, в Москве на баррикадах сражался. Поди, врут...

Дома перед сном Михаил разыскал три старых номера «Правды» и прочитал все корреспонденции, помещенные под крупным заголовком «Рабочее движение». Большинство было коротких, всего несколько строчек, а одна занимала чуть не целый столбец. Только четыре статейки были подписаны, да и то вымышленными именами: «Шуруп», «Око», «Свой», «Сознательный рабочий», остальные были без подписей.

Михаил вырвал из ученической тетради несколько листов в косую линейку, достал пузырек с чернилами и задумался. С чего начинать корреспонденцию?..

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Густой снег валил хлопьями. Неверная мартовская погода неожиданно дохнула настоящей зимой. Опустив наушники и подняв воротник, Михаил шагал по Выборгскому шоссе в Лесной, на Муринский проспект к трамвайной остановке. На двадцатом номере он доехал за полчаса до Ивановской улицы. В городе не было ветра, и снег падал не такой густой, как на окраине. Высматривая одиннадцатый номер дома, Михаил шел по тихой малолюдной улице. Вот здесь! У ворот четырехэтажного неказистого дома грязно-бурой окраски стоял лихач, видимо, привез седока и ждал его возвращения. Должно быть, ждал давно: медвежья шкура, прикрывавшая санки, была занесена снегом, так же как и спина рысака и плечи кучера.

Не поворачивая головы, лихач скользнул по Михаилу острым внимательным взглядом. Михаил ничего не заметил, да и какое ему дело до извозчика. Сердце его билось от волнения, знакомого любому начинающему автору, впервые несущему свое произведение на суд неведомого редактора — самого главного человека, который не только читает, но и поправляет каждую строчку в «Правде».

Поднявшись по лестнице на четвертый этаж, он остановился перед дверью, обитой клеенкой, и прочитал объявление, отпечатанное типографской краской:

РЕДАКЦИЯ «ПРАВДЫ»

Прием с 4 до 8 часов вечера.

Пока он стоял в нерешительности, переживая непонятную робость, на площадку поднялся осыпанный снегом молодой разносчик. На широком ремне, перекинутом через плечо, у него висел деревянный сундучок. Курчавую пышноволосую голову разносчика прикрывала облезлая, видавшая виды мерлушковая шапка.

— Давай-ка почистим друг друга, браток! — сказал он тонким голосом, блеснув зубами ослепительной белизны, и, сняв свою шапку, принялся счищать снег с Михаила.— Теперь ты меня обмахни как следует. Вот так... Ну, пойдем!

Он открыл дверь, скрипнувшую на блоке, и они во-

шли в полутемную узкую прихожую. Увидев прилипший снег на обуви, разносчик сокрушенно мотнул головой:

— Мать честная! А на ногах-то не заметили...

Скинув с плеча сундучок, он стал шапкой сбивать с сапог снег. Михаил последовал его примеру.

— Тут нашего брата столько ходит! Если не следить за собой, целую гору грязи натащим.

Первая дверь налево из прихожей вела в сильно накуренную комнату. Жужжание голосов оглушило Михаила. За четырьмя столами сидели работники редакции, около них толпились люди, пришедшие с заводов. Подобно Михаилу, они принесли статьи и заметки. Разносчик с зеленым сундучком прошел прямо в соседнюю комнату, а Михаил, сделав три шага от порога, остановился в нерешительности.

Никто не обращал на него внимания, и он, застыв в сторонке, с любопытством наблюдал за всем, что происходило в редакции.

«Кто же тут редактор?— думал Михаил, пытливо разглядывая сидевших за столами сотрудников.— Конечно, не эта женщина с румяным красивым лицом, в темном платье. И не белокурый студент в тужурке с блестящими пуговицами. Студент не может быть редактором. Может, тот, с трубкой в зубах?..»

Расправляя на столе скомканный лист, исписанный каракулями, человек с трубкой вычеркивает отдельные слова и строчки и одновременно говорит с кем-то по телефону. А рабочие авторы, навалившись локтями на стол, почтительно следят за его бойким пером.

Взлохмаченный сотрудник с небольшой бородкой, в черной косоворотке, сидящий за большим столом у окна, кажется Михаилу больше других похожим на редактора: он и говорит громче всех, притом властным тоном, не допускающим возражений. Его окружает добрый десяток рабочих, один из них, пожилой, заросший бородой, с грязным малиновым шарфом на шее, умоляюще просит:

— Товарищ Малышев, ради бога, пожалуйста. Третьего дня секретарю передал. Вот на такой бумажке написано. Напечатайте, христом богом прошу. Есть нечего... Если поместите, рабочие простят. Так и сказали. Иначе не соглашаются.

— Только когда подойдет ваша очередь!— сухо отве-

чает Малышев.— Вас много, а газета не резиновая. Всех не втиснешь сразу...

Михаил догадывается: это штрейкбрехеры. Сейчас предатели принесли покаянные письма. Пока «Правда» не опубликует, профессиональный союз не допустит их к работе.

Рабочий с малиновым шарфом на шее идет к румяной женщине в темном платье. Он что-то объясняет ей, она поднимается и подходит к столу Малышева.

— В данном случае, Сергей Васильевич, надо сделать исключение,— говорит женщина настойчиво.— У человека большая семья, болеет жена.

— Ты мне дала всего пятнадцать строк!— протестует Малышев.— Не могу.

— А я говорю надо сделать!— еще тверже произносит женщина.— Я сама отправлю в набор. Найди письмо.

Сергей Васильевич багровеет. Женщина говорит штрейкбрехеру:

— Завтра будет напечатано!

Михаил ловит робкую благодарную улыбку штрейкбрехера и недоумевает: неужели она — редактор?

Это ему кажется таким же невероятным, как если бы вдруг на заводе появился мастер в юбке. «Нет, не может быть!»

И Михаил продолжает с любопытством наблюдать диковинную для него обстановку. То и дело появляются новые посетители, некоторые из них проходят в следующую комнату, исчезая за плотно закрытой дверью.

Румяная женщина ведет разговор с полным человеком в очках. Он сидит возле ее стола и говорит вполголоса:

— По случаю трехсотлетия дома Романовых под амнистию попадают все литераторы, привлекавшиеся за преступные деяния, учиненные посредством печати.

— Значит, Горький может вернуться в Россию?

— По-моему, может.

— Но муж мне говорил, за «Мать» его привлекали еще по семьдесят четвертой статье.

— Я слышал, что это не помешает. Так уверял Грузенберг.

— Ну, будем надеяться.

Человек в очках поднимается и уходит. Женщина остается одна. Может быть, с ней поговорить? Михаил уже решил подойти к ее столу, но в эту минуту дверь из

соседней комнаты открылась и появился разносчик с зеленым сундучком на боку. Заметив Михаила, он дружелюбно окинул его понимающим взглядом:

— Ты что же, друг, стоишь, как бедный родственник? Тут всех не переждешь. У тебя что, проза, стихи или корреспонденция?

— Корреспонденция.

— Тогда тебе надо прямо в хронику, к дяде Косте! Айда!

И он увлек Михаила к приземистому смуглому мужчине с трубкой в зубах.

— Константин Степанович! Товарищ первый раз. С завода.

— Очень хорошо. А ты что сам принес, Ерошин?

— Ничего. Забежал узнать насчет стихов.

— Я же сказал, пойдут. Стихи отличные. Пиши еще и приноси. Будем печатать.

Михаил с изумлением смотрел на разносчика, на его таинственный зеленый сундучок. Этот молодой парень деревенского вида пишет стихи! «Правда» их печатает. Разносчика просят приносить еще.

— Да ведь третью неделю у вас лежат.

— Места нет, дорогой.

— Мне когда еще обещали, Константин Степанович. Сказали, в воскресном номере обязательно дадим.

В голосе разносчика прозвучала обида. Еремеев вынул трубку изо рта·

— Конкордия Николаевна! Опять стихи Ерошина застряли.

— Набраны. В запасе лежат.

— Иди к Самойловой,— шепнул Еремеев.— Попроси, чтобы завтра в номер поставила. Она может, а я не могу.

Разносчик кинулся к столу румяной женщины, а Константин Степанович поднял на Михаила добродушные серые глаза:

— Ну, давайте, товарищ, займемся с вами. Что принесли?

Михаил, слегка волнуясь, положил на стол рукопись. Еремеев вновь задымил трубкой и стал читать страничку за страничкой. В руках у него толстая ручка, но он не поправил ни одного слова.

— Написано неплохо. И общее положение на заводе показано,— он повернулся в сторону студента с блестящими пуговицами.— Володя, надо обязательно дать в ближайший номер.

Еремеев протянул Михаилу его статью и кивнул на соседний стол.

Студент разговаривал с рабочим, видимо, совсем неграмотным. Он написал с его слов короткую заметку и сказал:

— Идите, товарищ, домой и не беспокойтесь. Напечатаем.

— Вот спасибо!

Неграмотный рабочий отошел, его сменил маляр, широкоплечий гигант, пришедший в редакцию прямо с работы. Он вытащил из-за фартука свернутую в трубку толстую бумагу. Когда студент развернул ее и положил перед собой, она заняла добрую половину стола. На светлой обойной бумаге с неровно оторванными краями было написано письмо в редакцию. Михаил обратил внимание на очень крупные печатные буквы. Других автор не знал.

Студент Володя прочитал кривые строчки:

— Ладно. Напечатаем.

И, скатав обойную бумагу в трубку, сунул ее в ящик письменного стола.

— Сколько платить требуется?

— Нисколько.

— Вот хорошо!— маляр протянул огромную руку, вымазанную известкой.— Спасибо, браток!

Михаил положил свою статью на стол перед студентом, тот полистал ее и, не поднимая головы, буркнул под нос:

— На этой неделе дадим!

Михаил постоял, переминаясь с ноги на ногу. Он думал, что все будет по-другому. Редактор, этот загадочный человек, начнет с ним долгий разговор, станет расспрашивать про завод Вегмана, и он тогда расскажет то, чего не написал в статье. Но в комнату приходили все новые и новые люди. Студент занялся с рабочим автором и пыхтел папиросой.

Михаил понял — больше говорить не о чем, можно уходить, и направился к выходу. Здесь он снова столкнулся с разносчиком и даже поправил ему на спине сундучок. Не успели они дойти до порога, как дверь распахнулась — и в прихожую вошел молодой человек в новом хорошо сшитом пальто. Разносчик почтительно уступил ему дорогу, а Михаил успел заметить только лихо закрученные кольцами усы и дорогую каракулевую шапку.

— Знаешь, кто это?

— Нет.

— Член Государственной Думы Бадаев. Слесарь. А сейчас какие речи в Думе говорит!

Спускаясь по лестнице, разносчик рассказывал:

— Он здесь часто бывает. Один раз смешно получилось. Спрашивает меня: «А что у тебя в этом ящике?» Я ему отвечаю: «Смертельный яд!» Он даже с лица изменился...

Разносчик замолчал и посторонился, чтобы пропустить человека, поднимавшегося по лестнице навстречу.

— Здорово, Ваня! Не узнал?

— Не узнал, друг. Темно.

Они обменялись рукопожатиями и короткими фразами. Уже при выходе разносчик спросил:

— Тебя как зовут-то?

— Михаил. Пахомов.

— А я — Ерошин Иван.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Снегопад кончился. Над столицей спустились те вечерние синеватые сумерки, когда особенно остро ощущается прелесть зимней умиротворяющей тишины. В окнах многоэтажных домов горели огни. Торопливо бежал фонарщик, с ловкостью фокусника зажигая уличные газовые рожки. Дворники сгребали с тротуаров чистый снег в невысокие голубоватые сугробы. Лихач по-прежнему поджидал на старом месте седока и курил папиросу.

— Видал?— шепнул Ерошин.

— Кого?

Пройдя шагов двадцать, Ерошин сказал:

— Шпик! Сыщик!

— Где?

— Какой ты непонятливый. Лихач! Это же самый настоящий шпик из охранки. Они тут около «Правды», как осы, вьются! Ты думаешь, это дворник снег сгребает? Черта с два! Тоже шпик. Только передник надел и бляху прицепил да лопату в руки взял. Они, охранники, хитрые, но я тоже не дурак! Без этого ящика в «Правду» не хожу. Попробуй, возьми меня за рубль двадцать. Простой разносчик — и все тут.

— А что вы носите в этом ящике?— спросил Михаил,

желая вернуться к незаконченному разговору о Бадаеве.

— Я же сказал: яд!

— Яд?! Для чего?

— Крыс травить, тараканов морить, клопов.

Михаилу показалось, что он ослышался. Ерошин, видимо, почувствовал его недоверие и с грустью в голосе подтвердил:

— Кусок хлеба зарабатываю.

Вечерняя темнота сгущалась. Посередине улицы, как и в Удельной, мальчишки, разделившись на две ватаги, самозабвенно играли в снежки.

— А как у тебя дела?— после некоторого молчания заговорил Ерошин.— Приняли, что приносил?

— Приняли.

— Когда обещали поместить?

— Студент сказал — на этой неделе.

— Корреспонденции с заводов они сразу печатают. А вот стихи маринуют!

Михаил с нескрываемым любопытством разглядывал разносчика. Он никогда еще не видел живых поэтов. Они представлялись ему иначе, во всяком случае без сундучка за спиной.

— А давно вы стихи сочиняете?

— Мне кажется, всю жизнь, как родился. Иду по дороге и складываю. Я не знал, что это стихи. А когда записывать их стал, то писал все подряд, в одну строчку. Потом только, когда начал читать журналы, увидел, что стихи пишутся столбиком и в конце каждой строчки рифма стоит. Я ведь в школу всего две зимы ходил. Семья нищая была, по миру ходить приходилось...

Подкупающая откровенность Ерошина понравилась Михаилу, и он сказал, немного стесняясь:

— Я ведь тоже стихи сочиняю.

— Вот это чудесно! Стихи — самая большая радость на свете. Отними их теперь у меня, я бы в прорубь головой сразу, не раздумывая. Ей-богу... Когда пишешь стихи, про все забываешь. И крыс для меня нет, и клопов, и тараканов. У меня жизнь была такая каторжная, что хуже и не придумаешь.

Ерошин шел, не торопясь, и рассказывал, как он мальчишкой работал на торфяных разработках под Москвой и как, не выдержав непосильного труда, сбежал в столицу.

— Здесь тоже не мед был. В булочной баранки на мочало нанизывал, а потом ваксой и сапожными шнур-

ками торговал. И газетчиком был, старые журналы за новые продавал: «Солнце России», «Всемирную Панораму», «Огонек»...

Михаил слушал своего спутника и думал: вот сейчас они дойдут до Лиговки — и придется разойтись в разные стороны. А расставаться с Ерошиным не хотелось. Этот белозубый курчавый парень с каждой минутой нравился ему все больше и больше, а главное, Михаил жаждал поговорить с ним о своих стихах. Он обдумывал, как отдалить минуту расставания.

Кончилась тихая, безлюдная Ивановская улица. Они пошли по Боровой и, свернув в переулок, вышли на Лиговку.

— Ну, бывай здоров, друг!— сказал Ерошин, протягивая на прощание руку в малиновой шерстяной варежке.

— А если нам зайти куда-нибудь посидеть?— нерешительно предложил Михаил.

— Что же, можно!— согласился Ерошин.— Тут есть неподалеку трактир «Капернаум». Чаю можно попить с баранками. Я за сегодняшний день шесть гривен заработал. Больше мне и не требуется.

Трактир с библейским названием «Капернаум» находился вблизи Лиговки. Седоусый швейцар в фуражке с золотым околышем заставил раздеться и оставить на вешалке сундучок. Ерошин слегка пригладил ладонью буйные волосы и повел Михаила через два полупустых зала в третий, совершенно пустой.

— Видишь, как хорошо здесь!— похвастал он.— Народу нет совсем. Давай вон туда в уголок, к тому столику. Тут разговаривать сподручней. В тех залах граммофон играет, слишком шумит. А здесь тихо. Я тут иногда стихи пишу. Никто не мешает. Дома-то негде, живу в углу на койке.

Он опустился на стул и с удовольствием вытянул усталые ноги.

— Набегаешься за день с этим ядовитым сундучком, чтоб ему ни дна ни покрышки, а к вечеру ноги — как чугунные. Собачья работа!

Вихляющей походкой неслышно подошел половой в серых валенках и длинной белой рубахе, подпоясанной синим кушаком.

— Что будем заказывать, господа хорошие?

— Чаю две порции с баранками.

— Еще-с?

— А еще-с ничего-с!

— Понимаю!— поклонился половой и удалился, размахивая салфеткой.

А Ерошин, глядя ему вслед, сказал:

— Я в трактире тоже работал половым, и то не сразу взяли. Вначале на кухне посуду мыл больше года даром, за одни харчи... Хозяин кровосос был! Ну, ладно. Хочешь, я тебе стихи свои почитаю?— неожиданно предложил он.— Короткие.

— Давай!

— Ну так слушай!

Он задумался на минуту, что-то вспоминая, и торжественно приподнял ладонь.

Мой путь тернист,
Мой путь далек,
Но светел, чист,
Как ручеек
В глуши лесной,
Где пенье птиц
И мрак ночной
И свет зарниц.

Читал Ерошин тихим, печальным голосом, а глаза его точно светились изнутри.

— И все?

— А что тебе еще надо? Разве непонятно?

Половой принес два синих чайника, большой и маленький, и румяные, обсыпанные маком баранки. Михаил обдумывал прослушанное стихотворение и прикидывал: смог ли бы он сочинить так? И с грустью признал: нет, не смог бы! Душу его наполнила горечь. Ерошин ходил в школу только две зимы, а он учился семь лет, и жизнь у него была не такой трудной. Почему же крысомор сочиняет стихи лучше?

— Будем чай пить,— предложил Ерошин.— Бери баранку. Они с маком, вкусные.

— Рифмы у тебя хорошие!— завистливо произнес Михаил.— Я подметил: «тернист — чист», «птиц — зарниц».

— Рифма в стихе — не самое главное!

— А по-моему, главнее быть не может. Я их с большим трудом подбираю. Иной раз ищу и, хоть убей, никак найти не могу. Сейчас маленько легче стало, рифмовник раздобыл. Очень помогает.

Ерошин с сожалением поглядел на Михаила.

— Друг ты мой милый! Настоящий поэт, все равно как соловей,— поет, потому что без песни жить не может. А воробья ни по каким книжкам петь не научишь. Это, как люди говорят, от бога. Если есть в тебе искра поэта, ты и без рифмовника стихи писать будешь. А если нет, крышка, ничего не получится. Ну, может быть, рифмоплет будешь.

Сам не подозревая, Ерошин говорил жестокие слова. Михаил мрачно слушал, стараясь уразуметь разницу между поэтом и рифмоплетом.

В эту минуту к столику стремительно подошел пожилой мужчина в сильно поношенном сюртуке, с опухшим лицом пропойцы. Давно не бритые щеки его заросли серебристой щетиной.

— Ванюха!— прогудел он осипшим голосом и облизал синеватые губы.— Ты что здесь лодыря гоняешь?

— А это не ваша забота, Увар Иванович!— с достоинством ответил Ерошин.

— Обиделся! Пошутить нельзя! Яшку не видел?

— Нет.

— Дай тогда мне восемь копеек!

— С радостью бы, да нету, Увар Иванович!

— Никогда у тебя нет! И почему ты такой жадный? А еще поэт! Презираю скупердяев и крысоморов!— он величественно махнул рукой и с оскорбленным видом удалился в соседний зал.

— Алкоголик!— без всякой обиды сказал Ерошин.— А человек неплохой, когда не выпивши.

— Кто он?

— Редактор.

— Редактор?! «Правды»?— Михаил раскрыл рот от изумления.

— Нет, в «Правду» его не берут. Он в других газетах промышляет. Зиц-редактор!— пояснил Ерошин.— Не настоящий. Только для отсидки. Если цензор газету оштрафует на сто рублей, он в тюрьму на месяц садится, чтоб деньги не платить. А если на пятьсот — тогда на три. По глазам твоим вижу, ничего ты не понял.

— Не понял!— сознался Михаил.

— Я тоже раньше не понимал, а когда стал в «Правду» ходить да с рабочими поэтами дружить, всю эту механику изучил. Ему тридцать рублей в месяц платят, вот и считай, какая выгода для редакции получается. Зиц-редакторы, конечно, разные бывают. Увар Иванович только ради денег в тюрьму идет, на водку не хватает.

А есть идейные. Я тебе покажу одного старичка, он в редакции иногда бывает. Слепой, с палочкой ходит... Шелгунов Василий Андреевич. Самый старый революционер в России. Когда «Правда» стала выходить, он первым редактором был, для отсидки, конечно. А настоящего редактора «Правды» никто не видел и не знает. Он за границей скрывается от охранки. Здесь же только издатели и сотрудники. Ведь «Правда»— газета не как все остальные. Она не просто рабочая газета. На самом деле революционная! Члены Российской социал-демократической рабочей фракции Государственной Думы пишут в ней. Поэтому и Бадаев ходит в редакцию. Если все это понять как следует, то...

Ерошин таинственно прищурил глаз и замысловато щелкнул пальцами.

— Политика!— он с опаской оглянулся по сторонам и еще тише сказал:— Об этом здесь говорить не стоит. Уши могут быть. Возьмут за шиворот — и поминай как звали. Лучше ты мне стихи свои почитай.

— Да какие у меня стихи!— покраснел Михаил.— Я ведь только так, балуюсь, бумагу мараю.

— Все мы мараем. Читай!

— Право, не знаю.

— Чудак-человек! Мы здесь частенько собираемся. И стихи друг дружке читаем. От этого существенная польза получается. Каждый свое слово скажет, а совет — большое дело.

— Ну, ладно!— наконец после долгих колебаний решился Михаил.— Только у меня любовные. Про барышню знакомую.

— И про барышню читай. Поэт про все писать имеет право. И про утреннюю зорьку, и про полевой цветок, и про любовь, и про машину, если ее любишь, как девушку. Я всегда об этом нашим ребятам говорю. Без любви не может быть поэзии.

— Листок я не взял, где стихи написаны.

— Да ты что, на память не помнишь?— изумился Ерошин.— Поэт свои стихи наизусть знает. Давай-давай.

Робким голосом, сильно волнуясь, Михаил прочел стихи, посвященные Гране:

Мы в толпе с тобой стояли тесной,
На иллюминацию смотрела ты,
А я потихоньку любовался
Глазами небесной красоты...

Ерошин посмотрел на его побледневшее от волнения лицо и, смягчая свой приговор, сказал:

— Стихи твои, Миша, не того... Понимаешь, как бы тебе сказать, не удались. Ты только на меня не обижайся. Но это даже не стихи.

— Почему?— упавшим голосом спросил Михаил, чувствуя, как у него пересохло во рту.

Ерошин не успел ответить. Вновь к столику той же стремительной походкой подошел «редактор» Лушников и грузно опустился на стул.

— Жду Яшку, а его нет и нет, подлеца. Вот сукин сын, опять надул... Есть папироса?

Михаил услужливо полез в карман и вынул коробку «Кумира».

Прежде чем закурить, Увар Иванович долго мял толстую папиросу грязными пальцами и пытливо, изучающе смотрел на Михаила. Резко, вместе со стулом повернувшись к нему, он строго спросил:

— Тоже поэт? Тебя как зовут?

— Михаил.

Лушников сурово сдвинул мохнатые брови, пожевал толстыми синими губами и неожиданно улыбнулся. И лицо его стало сразу хорошим и добродушным.

— Вот что, Миша, дай мне восемь копеек! Очень прошу. Нужно вот так!

Он провел рукой по горлу. Михаил не выдержал умоляющего тоскливого взгляда и поспешно достал две медные монеты.

— Мерси, коллега! При первой встрече верну с благодарностью.

Обрадованный Лушников побежал в первый зал, к буфету.

— Напрасно дал,— сказал Ерошин.— Пропьет. Талантливый, но алкоголик. А каким был журналистом! Начнет рассказывать, мы уши развесим. Кого только не видел, с кем не встречался! Даже с самим эмиром бухарским! А сейчас докатился — редактор для отсидки. Да не всякая газета и берет его. Рекламные стишки пишет про папиросы да коньяк. Восемь копеек он тебе не отдаст. Поставь крестик. Вперед будь умней и не давай.

Часы пробили шесть раз. Ерошин заторопился:

— Мать честная! А ведь мне надо еще в одно место поспеть.

Он не позволил Михаилу вынуть кошелек из кармана, расплатился с половым сам и щедрым жестом дал копейку на чай.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Распрощавшись с Ерошиным, Михаил в трамвае вспоминал сотрудников редакции: Константина Степановича с трубкой в зубах, Конкордию Николаевну, красивую румяную женщину, аккуратного студентика в узкой, короткой тужурке и бородатого Малышева, окруженного штрейкбрехерами. Ерошин говорил: среди них не было редактора, он скрывается за границей, его никто не знает. Это казалось удивительным и непонятным. Кто же тогда проверяет ошибки в статьях, если редактор живет за границей? Ерошин сказал: «Правда»— революционная газета. За редакцией следит один шпик, переодетый лихачом, а другой — дворником. Это казалось таким же странным, как и то, что крысомор вдруг пишет стихи. А Лушников, выпрашивающий на водку восемь копеек,— конечно, простой арап.

Самым обидным, больно уколовшим авторское самолюбие, было суждение Ерошина о его стихах. Действительно ли они такие плохие? Тогда очень хорошо, что Граня их не прочла.

Вернувшись домой, Михаил отправился к Косте. Тот, видимо, поджидал приятеля. Не желая разговаривать в присутствии матери, Костя снял с вешалки пальто и вышел с товарищем на улицу.

— Письмо получил для тебя,— сказал Костя.— Конверт духами воняет и написано на нем: «срочное». Ясно, от кого?

В темноте читать было невозможно. Михаил предложил пройти на вокзал.

— Рассказывай, как съездил в «Правду». Когда статью напечатают?

— Обещали на этой неделе.

Михаил поделился впечатлениями от посещения редакции, но про трактир «Капернаум» умолчал. Не хотелось ему говорить о том, как сурово оценил его стихи Ерошин.

— За «Правдой», конечно, полиция вовсю шпионит,— ничуть не удивился Костя.— Это не новость. А «лихачу» хорошо бы булыжником по черепу двинуть.

Как это никто не догадался? Я бы сообразил, если улица пустая.

Дачный поезд в Петербург только что отошел, и в недавно отстроенном, сиявшем чистотой вокзале находилось всего три опоздавших удельнинских пассажира. С перрона в зал первого класса вошел дежурный по станции, щеголеватый финн в нежно-голубой фуражке с прямым козырьком. Заметив в зубах Кости папиросу, он строго сказал:

— Здесь не курят, молодой человек!

— Вот как!— удивился Костя, но папиросу потушил и бросил в урну.— Чистоплюи эти чухны. Они у себя в городах улицы швабрами моют. Потешный народ!

Михаил достал Гранино письмо и полюбовался узким надушенным конвертом из сиреневой бумаги.

— Читай да кончай с этой музыкой,— сказал Костя и, чтобы не мешать товарищу, отошел к стене и принялся изучать расписание поездов.

Михаил вынул из конверта листок полотняной бумаги и стал читать:

> «Миша! Мне нужно Вас обязательно увидеть. Это письмо вы должны получить во вторник. Я прошу Вас прийти в среду на Владимирский проспект, дом № 8, где находятся курсы стенографии. Ждите меня около обувного магазина в том же доме. Я буду ровно в девять часов вечера, минута в минуту, но и вы не опаздывайте. Хорошо?
>
> Известная *Вам Граня».*

Письмо было написано крупным почерком с наклоном в левую сторону, слова на концах строчек сползали вниз. Михаил жадно прочитал его два раза, а если бы не подошел Костя и не сел рядом, то, вероятно, еще бы раз десять.

— Что пишет?

— Хочет увидеться.

Костя даже присвистнул от удивления.

— Ну и ну! Покажи письмо.

— Смотри.

— Чисто пишет. Видать, в самом деле шибко грамотная.

— Стенографистка!— с гордостью сказал Михаил.

Они вышли из вокзала на перрон. В летнее время по вечерам здесь всегда было очень оживленно, молодежь

встречала поезда, приходившие из Петербурга, и гуляла до полуночи. Сейчас не было ни души, кроме жандарма. Он рассеянно оглядел двух парнишек, зевнул и направился в вокзал.

— Сколько всюду понатыкано этих дармоедов!— с ненавистью заметил Костя.— Мы работаем, а они за наш счет жиреют да нас же еще в тюрьму волокут.

Он помолчал и добавил:

— Скорей бы революция началась. Я Егора Николаевича спрашивал, он сказал — дело к тому идет. Обязательно будет, только вот когда,— неизвестно.

Михаил думал о Гранином письме и плохо слушал товарища.

— Ты такую фамилию слышал — Ленин?

— Инструментальщик?

— Нет, то Пчелин. А это революционер, покрепче Андрея Кожухова, хотя и не террорист. Пока за границей скрывается. Оттуда всеми забастовками в России заправляет. Он все заводы знает, а его никто не знает и никогда не видел. В полумаске ходит.

— Зачем в полумаске?

— Как зачем? Из предосторожности. Охранка подошлет своих шпиков, они и кокнут. А он всему делу голова.

Михаил почти не слушал товарища, он был занят своими мыслями. Завтра вечером Граня будет его ждать. Почему она торопится его увидеть? Что случилось?

Они прошлись по перрону и решили отправиться домой.

— Завтра встретимся!— Костя кивнул на прощание.

Никогда Михаил не чувствовал себя таким счастливым, как в этот вечер. Он даже не замечал косых взглядов обиженной матери. А она приметила — у сына завелись какие-то секреты, но какие, было еще неясно. Парню скоро стукнет двадцать лет, молодая кровь играет, долго ли до беды? Спутается с кем-нибудь, а развязаться по мягкости характера не сумеет.

Анна Петровна лежала за ширмой на кровати, а Михаил на диване. И оба они в этот вечер долго не могли заснуть. Мать мучительно раздумывала, в чьи лукавые сети попал сын, а Михаил мысленно повторял Гранино письмо. Он запомнил его наизусть.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

На Владимирском проспекте по адресу, указанному Граней, Михаил нашел вывеску курсов стенографии и магазин обуви. Остановившись перед ярко освещенной витриной, он разглядывал дамские туфли различных фасонов и окраски, выставленные для соблазна прохожих.

— Бонжур, шер ами!

Граня незаметно подкралась сзади и взяла его под руку.

— Давно меня ждете, Миша?

— Нет.

— Ну, пойдемте.

Михаил думал, что Граня сразу объяснит, ради чего она назначила ему неожиданное свидание, но девушка болтала о разных пустяках и предложила посмотреть кинобоевик «Ключи счастья» по роману Вербицкой.

Они вышли на Невский, повернули в сторону Гостиного двора и смешались с густой толпой, заполнившей широкий тротуар проспекта.

— Смотрите, Миша!— Граня слегка прижалась к его руке.— Вот около этого магазина мы с вами познакомились. Помните?

Михаил повернул голову и увидел огромную женскую руку в позолоченной перчатке, занимавшую центральное место на зеркальной витрине.

— Помню.

— Как это тогда получилось... Совсем неожиданно.

И Граня стала вспоминать день трехсотлетия Романовых и заросшего щетиной мастерового, главного виновника знакомства. Это он тогда толкнул Михаила, а Граня заступилась.

Они подошли к ярко освещенным дверям кинематографа. Девушка сказала:

— Я уже взяла билеты, Миша.

— Зачем же?— смутился Михаил и почувствовал, как густая краска покрыла его лицо.— Это некрасиво. Я сам мог купить.

— А я побоялась, что вечером мы не достанем. Видите, уже висит: «Все билеты проданы». Последний сеанс, а народу сколько! Говорят, замечательно интересная картина.

Синие глаза Грани сияли в этот вечер особенно радостно. Она хотела посидеть в фойе, но публика уже толпилась у входа в зрительный зал.

— Идемте, у нас места в самом заднем ряду.

Кинокартину они смотрели молча. Граня неожиданно взяла руку Михаила и вложила в его огрубевшую ладонь свои тонкие пальцы. На одном из них он нащупал кольцо с небольшим овальным камушком. Оно было великовато и плохо держалось. Михаил легко снял его и снова надел. Держать Гранины пальцы в руке и играть кольцом было приятно. Первый раз в жизни он ласкал девичью руку. В сердце его нарастала нежность к красивой хрупкой девушке, доверчиво склонившейся к нему.

На экране герои фильма переживали страстную любовь, целовались у пылающего камина, пили из высоких бокалов вино, ели апельсины. Но Михаил смотрел рассеянно. Он ждал, когда Граня заговорит о самом главном, ради чего пригласила его на свидание. Девушка упорно молчала.

Фильм кончился, и они вместе с толпой зрителей выбрались на улицу. Граня сама взяла его под руку. Не сговариваясь, они пошли в сторону Невы.

— Сегодня вы меня не провожайте, я сама вас провожу до Финляндского вокзала, а там сяду на трамвай,— сказала она.

— Как хотите.

— Вы очень удивились, когда получили мое письмо?

— Я подумал, что-нибудь случилось.

Граня помолчала немного и тихо сказала:

— Вы дали мне в ресторане бумагу завернуть пирожные. И забыли, что там написаны стихи. Я прочитала их, Миша. И мне захотелось вас немедленно увидеть.

Михаил молчал, не зная, что ответить.

— Скажите, вы нарочно их дали или случайно?

— Случайно.

— А почему не хотели показать?

— Постеснялся.

— Почему?!

— Стихи плохие.

— Ой, что вы говорите! Очень даже хорошие! Очень!

Граня воскликнула так горячо, что Михаил почувствовал ее искренность. Он вспомнил свой разговор с Ерошиным. Кому же верить?

Они миновали Дворцовую площадь и подошли к Неве. Михаил предложил пройти по безлюдной набережной до Троицкого моста. Он сможет сесть у Марсова поля на двадцать первый трамвай и тоже попадет в Лесной.

— Хорошо!— согласилась девушка.— Сегодня совсем не холодно. Погуляем немного.

Они шли тихо, думая друг о друге, но не решаясь высказать сокровенные мысли вслух. Михаил чувствовал, как Граня чуть-чуть прижимает его локоть к себе, и ощущал никогда не испытанную радость.

Против Летнего сада они уселись на гранитную скамью близко друг к другу, чтобы не пронизывал ветер, дувший с реки.

— Ничего дурного нет, если кто-то за кем-то ухаживает,— говорила девушка.— У меня есть много знакомых молодых людей. Некоторые из них в меня влюблены. И даже жениться хотят, но они меня не интересуют. И если вы за кем-нибудь ухаживаете, то тут тоже ничего особенного нет. Я только люблю, чтобы ухаживали красиво. Иногда читаешь в книгах про настоящую красивую любовь и думаешь: вот счастливые! Терпеть не могу, когда мужчины себя вести не умеют. Я одному такую пощечину дала, что он запомнит надолго.

В глазах Грани сверкнул злой огонек, и Михаил осторожно отодвинулся от нее.

— Куда вы? Мне так теплее... Поцелуйте мою руку!

Она сдернула перчатку. Михаил неуклюже поцеловал девичьи пальцы — первый раз в жизни. От них пахло духами, как от туалетного мыла.

— Еще целуйте! Я люблю, когда мне целуют руки.

— А вам часто... целуют?

Михаил отпустил Гранину руку.

— Неужели вы ревнуете, Миша? По-моему, ревновать можно только тогда, когда по-настоящему любишь. Рассердились? Ну не надо!

— Я не сержусь,— уныло протянул Михаил.

— Тогда поцелуйте другую.

И она поднесла к его губам руку с колечком на безымянном пальце.

— Ну, хватит. Пойдемте, а то холодно становится. Возьмите меня под руку. Какой вы недогадливый, Миша! Всему вас надо учить!

Граня вдруг неожиданно стала тихой и грустной.

— В это воскресенье нам не удастся встретиться. Я не смогу. А в следующее с удовольствием. Вы мне напишите до востребования. Можно снова встретиться около памятника.

— Хорошо.

— Вам вернуть стихи? Или мне подарите?

— Конечно! Пожалуйста!

— Мерси боку!

Они вернулись на Марсово поле к трамвайной остановке.

С Невы дул ветер. Шумели высокими кронами голые деревья в Летнем саду.

— Вы хороший, Миша! Написали мне стихи. Это самый дорогой подарок! Я хочу вам сделать тоже подарок. Возьмите от меня на память вот это кольцо. И обещайте, что вы его никогда не снимите. Давайте, я вам сама надену.

Михаил растерялся от неожиданности. Девушка с трудом натянула на его мизинец тонкое колечко с овальным камушком.

— Зачем вы это!— воскликнул он испуганно.— Оно же золотое.

— Подумаешь! Мне его подарила сестра.

— А разве подарки можно передаривать?

— Сестра не обидится. Она добрая и меня любит.

— Нет, я ни за что не возьму.

Он хотел снять кольцо, но не успел. Подошел трамвай, и Граня вскочила на пустую площадку.

— До следующей встречи!— крикнула она.— Адьё, шер ами!

Михаил проводил удаляющийся вагон растроганным взглядом. Он не мог прийти в себя от Граниного поступка, ошеломившего его и неожиданностью и непонятной щедростью. Он пропустил свой трамвай и долго ждал следующего. В вагоне Михаил разглядел кольцо. А может быть, оно не золотое? С большим трудом он стащил его с пальца и принялся старательно рассматривать. Пятьдесят шестая проба! Золото! Подарок сестры. Люди не нуждаются, отец чиновник, надворный советник, деньги есть. А все-таки неудобно.

«Надо узнать в магазине, сколько стоит такое кольцо и купить для нее, только в два раза дороже!»— подумал Михаил и обрадовался своему решению.

Он вернулся домой около часу ночи. Анна Петровна уже лежала в постели, но не спала. Она отворила дверь и ничего не сказала сыну. Михаил тихонько разделся и лег в приготовленную на диване постель. Заснул он не сразу.

Анна Петровна приподняла с подушки голову: спит! Она тихонько, на цыпочках, подошла, как обычно это

делала, перекрестить и поцеловать сына. Наклонившись над Михаилом, она отшатнулась — от него шел запах духов.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

В воскресенье утром домой к Михаилу прибежал обрадованный Костя со свежим номером «Правды» в руке.

— Есть, Мишка! Напечатали!

Михаил развернул газетный лист, остро пахнущий типографской краской, и с поспешной жадностью прочитал на третьей полосе свою корреспонденцию, подписанную псевдонимом «Беспокойный». Он не верил, что напечатанные в газете строчки были написаны его рукой на шести страничках ученической тетради. Неужели здесь шесть страничек? Михаил перечитал корреспонденцию: статью сократили больше чем наполовину.

— А здорово, Мишка, получилось!— с восхищением одобрил Костя.— Сегодня наши заводские читают, а Вегман, поди, икает. Вся эксплуатация показана.

Анна Петровна настороженно прислушивалась к непонятному разговору. Она вспомнила, как сын сочинял что-то и переписывал несколько раз, а в прошлую субботу куда-то ездил, не сказав, куда.

Секрет раскрыл Костя:

— Читайте, Анна Петровна, что ваш Мишка написал. Про наш завод. Тут, правда, подпись другая, но это он. Только говорить никому не надо. Начальство узнает — и Мишке перо вставят. С завода тю-тю!

— Ты-то смотри никому не болтай!— испугалась мать.— И зачем ты, Мишка, лезешь, куда не нужно?

— То есть как не нужно?— Костя смотрел на Анну Петровну ледяным взглядом.— Он что, на заводе не работает?

— Ты тоже у Вегмана работаешь!

— Оставь, мама!

— Чего оставь? Он небось себе на уме. Тебя втравливает, а сам в стороне. Я его, субчика, насквозь вижу!

— Ну-ка, скажите, что вы видите?— побледнел Костя.

— А то, что ты сам смутьян и сына моего мутишь. Я не хочу, чтобы Мишку с завода выгнали да в тюрьму посадили. Вон на той неделе в двенадцатой квартире айвазовского токаря взяли ночью. А за что? Твоей

«Правдой» зачитался. Теперь жена пальцы кусает.

— Я «Правду» выписываю и читаю, меня никто в тюрьму не сажает. Нет такого закона.

— Тебя если посадят, так мне ни жарко ни холодно.

— Несознательный вы человек, Анна Петровна!— с осуждением и горечью сказал Костя и надел шапку.

Михаилу была неприятна эта ссора. Он мигал товарищу, умоляя уступить. Все равно мать переубедить невозможно.

— Приходи ко мне,— кивнул Костя, направляясь к двери.

— Ладно. Приду.

Когда Костя захлопнул за собой дверь, Анна Петровна заговорила злым голосом:

— Хорошенького себе дружка завел, нечего сказать! Не доведет он тебя до добра. Вот помянешь мое слово. И понять не могу, почему ты себе таких архаровцев в друзья выбираешь? Был у тебя товарищ — Сережа, сын фельдшера. Хороший такой, и дружил бы с ним. Вежливый, аккуратный, чистенький, приятно посмотреть. Грубого слова не услышишь. Так нет, завел себе приятеля — хулигана.

— Сергей в политехническом институте учится, а я на заводе работаю. Дружили, когда мальчишками были. А сейчас у нас разная жизнь. Он инженером станет, а я рабочим. Не пара он мне теперь.

— Кроме Костьки, тебе другой пары нет!

Мать замолчала, а Михаил в третий раз прочитал свою заметку и принялся рассматривать газету. В «Почтовом ящике» на последней странице он прочитал две строчки петитом, адресованные ему:

«Беспокойному. Просим зайти в редакцию».

Сунув газету в карман, обрадованный и взволнованный Михаил побежал к Косте с этой новостью.

— После работы поезжай!— посоветовал Костя.— Успеешь.

Но Михаил решил пожертвовать полдневным заработком. На другой день он отпросился у мастера и сразу после обеда поехал в город. Ему не терпелось узнать поскорей, зачем его вызывают в редакцию.

У подъезда, как и в прошлый раз, стоял «лихач», но

уже другой, без пышной бороды, молодой, бритый, а рысак был тот же, серый в яблоках.

По знакомой лестнице Михаил поднялся на четвертый этаж. Он пришел раньше приемного часа, когда в редакции обычно посетителей не бывает. На этот раз почему-то не было и никого из сотрудников. В пустой комнате, в углу возле печки за письменным столом, заваленным бумагами, сидела одна Конкордия Николаевна. Михаил подошел к ее столу.

— Садитесь, товарищ! Что принесли?

— Вчера в газете было напечатано, чтобы я зашел в редакцию.

— А-а... Вы автор корреспонденции с завода Вегмана. Написали вы ее неплохо, интересно. Кстати, мне о вас говорил поэт Иван Ерошин. Хвалил вас. Вы стихи пишете?

— Пишу.

Михаил вспомнил, как «крысомор» сурово осудил его стихотворные опыты, и даже рот раскрыл от изумления.

— Я вас потому и вызвала. Хочу с вами поближе познакомиться. Печатать вас мы будем, пишите чаще и приносите.

Конкордия Николаевна стала задавать Михаилу вопросы, которые она обычно задавала начинающим авторам, желая выяснить, что за человек будет посещать редакцию,— сколько ему лет, где он учился, где работает, состоит ли членом профессионального союза, посещает ли культурно-просветительное общество.

— А стихи давно стали писать?— Самойлова подняла на него карие живые глаза.

Михаил смутился. Он всегда терялся, когда ему приходилось разговаривать с незнакомыми людьми о своих стихах.

— Не особенно. Так, просто баловался.

— Сейчас они у вас с собой?

— Нет.

Михаил сказал неправду, как и тогда, при разговоре с Егором Николаевичем. Тетрадка со стихами была при нем.

— Жалко. В следующий раз придете, обязательно принесите показать. У нас есть свои пролетарские поэты, они часто бывают здесь. Вам с ними обязательно надо познакомиться. Иван Ерошин поможет вам. А читаете много?

— Стараюсь.

— Кто же вам больше всех нравится из русских писателей?

— Максим Горький.

— Да, это прекрасный писатель. А из старых? Классиков?

— Лев Толстой.

Самойлова стала допытываться, какие именно книги нравятся Михаилу. Он отвечал охотно, чувствуя к себе дружелюбное отношение.

В редакции появились посетители. Конкордия Николаевна поднялась. Михаил понял: беседа с ним окончена, и тоже встал.

— Обязательно приносите свои стихи!— сказала она и протянула на прощание сухую горячую ладонь.

Михаил вышел на улицу и посмотрел на «лихача». Тот невозмутимо курил папиросу и без всякого стеснения оглядывал всех, кто шел в редакцию «Правды». На противоположном тротуаре прогуливались двое в одинаковых демисезонных пальто, котелках и новых галошах. «Тоже охранники»,— догадался Михаил, вспомнив рассказ Ерошина о переодетых сыщиках.

Он с удовольствием встретился бы сейчас с ним, но где его найдешь!

— Эй, друг-ситник!— раздался сзади хриплый голос. Михаил обернулся и увидел Лушникова.

— Так и есть... Не ошибся... Приятель! Тебя Григорием зовут?

— Михаилом.

— Э, все равно. Один бес!

Они пошли рядом. Лушников тяжело дышал, от него несло водочным перегаром. В одном пиджаке, надетом на рваную фуфайку, он сильно мерз, багровое лицо его посинело. Он шел, постукивая зубами, и заметно дрожал.

— Вы не знаете, где живет Ерошин?— первым заговорил Михаил.— Как его найти?

— Ваньку? Зачем тебе?

— Нужно!

— Дай восемь копеек — и сейчас найдем.

Михаил постеснялся отказать и дал два медяка.

— Мерси! Сейчас мы прямо в «Капернаум», а если его там нет, пойдем ко мне. Он обязательно забежит. Я ему за полтинник всего Пушкина продал. Впроголодь живет, а Пушкина покупает!

Они дошли до «Капернаума». Войдя в трактир, Луш-

ников торопливо направился к буфетной стойке, а своему спутнику на ходу бросил:

— Пройди в третий зал, поищи его там.

Михаил обошел три зала и вернулся разочарованный.

— Ну как?

— Нет его.

— Ничего. Ко мне придет. Разыщем.

Они вышли из трактира. Лушников водил Михаила по глухим улицам и наконец нырнул в темные ворота кирпичного здания. Он вывел его на задний двор к деревянному двухэтажному мрачному дому и провел в глубокий подвал по грязному коридору.

— Правей держись! Тут пол прогнил. Ноги сломаешь.

Жил Лушников в полутемной конуре с маленьким окошком. Оно выходило на конный двор. Разбитые стекла были склеены узкими полосками бумаги и не мылись целую вечность. Тусклый свет едва проникал в комнату. Хозяин зажег керосиновую лампу, и Михаил увидел мерзкое убожество жилища. В углу на полу лежал драный пружинный матрац, покрытый рваным лоскутным одеялом. На столе среди наваленных в беспорядке старых газет валялись заплесневелые корки хлеба, кожура от колбасы, селедочные хвосты, грязный носок.

— На табуретку не садись, упадешь!— предупредил Лушников.— Валяй на постель. Она у меня вместо турецкого дивана.

Михаил повесил пальто на единственный гвоздь с деревянной катушкой, заменявший вешалку. Он осторожно опустился на матрац и протянул ноги. Внимание его привлек портрет мужчины в золоченой овальной раме. Эта единственная красивая и дорогая вещь нелепо выделялась богатой заплатой на фоне грязной нищеты. Лушников перехватил любопытный взгляд гостя.

— Не узнал?

— Нет.

— Работа поставщика двора его императорского величества фотографа Оцупа! Непревзойденный художник! Царя снимал и выдающихся людей России!

Михаил поднялся и подошел поближе, чтобы лучше разглядеть портрет. Из овальной рамы на него смотрел жгучий брюнет с роскошными бакенбардами и моноклем в глазу.

— Неужели это вы?

— Неужели! Собственной персоной! Были когда-то и мы рысаками!

Тут Лушников заметил бумажку у порога, поднял ее и развернул.

— Письмо!

Он прочитал про себя записку и оттопырил губы дудочкой.

— Ванюха под дверь подсунул. Был уже и ушел. Не везет тебе, Василий...

— Меня Михаилом звать.

— Неважно! Надул Ванька, черт! Ты тоже стихи пишешь?

— Пишу.

— Все мы писали. И я писал. Разные... И хорошие и плохие. И умные и глупые... С Бальмонтом дружил. Мирра Лохвицкая влюблена в меня была, повеситься хотела... С Леонидом Андреевым водку пил. С Горьким в одних опорках босячили на Кавказе. По очереди носили. А стихи писал... Какие стихи! Замри и слушай!

Он откинул грязные космы со лба и хриплым замогильным голосом стал декламировать:

Я — не я, ты — не ты, вы — не вы,
Мы — не мы, и они — не они!
И текут, улыбаясь, стыдливо,
Сладострастные бледные дни!
Скот, в скоте угадав человека,
Вопиет, прищемив длинный хвост,
Как извечный страдалец-калека,
Как непонятый миром прохвост!

Лушников смотрел на Михаила испытующе:

— Ну как?

— Не знаю,— робко ответил Михаил.

— Чего не знаешь?

— Непонятно.

— Ванька тоже ничего не понял. Тоже мне пролетарские поэты! Творцы мировой культуры! Слушай, Гришка!

— Я вовсе не Гришка.

— Не может быть! Чепуха какая! Слушай! Я тогда в «Капернауме» брал у тебя восемь копеек и сегодня тоже. Ты дай еще восемь. Получится двадцать четыре копейки, а я тебе отдам с процентами — четвертак. Круглый счет! Не сомневайся, при первой встрече. А то знаешь что? Давай возьмем мы с тобой сороковку, фунт соба-

чьей колбасы и... и соорудим на лужайке детский крик. И будет нам все это стоить...

Михаил поспешно вынул восемь копеек и сдернул с катушки пальто.

— Мне некогда!— холодно сказал он.— Я тороплюсь.

Не попрощавшись с хозяином, он выскочил в темный коридор, а оттуда на грязный двор.

Сердце Михаила кипело от возмущения. Наглый пропойца ловко одурачил его и выудил шестнадцать копеек. Он нарочно придумал историю с продажей Пушкина, чтобы заманить простачка к себе и достать деньги на водку. Ну его к черту! Больше с ним не надо встречаться, лучше держаться от него подальше.

Михаилу неприятно было думать о Лушникове. Чтобы отогнать мысли о нем, он стал вспоминать разговор с секретарем «Правды». Самойлова похвалила его первую корреспонденцию и даже просила принести стихи. Пьяница Лушников тоже их сочиняет. Но стихотворение, которое он прочитал, какое-то ненормальное. Слова все русские, и рифма есть, а смысла — никакого. И еще ругал Ерошина! Несчастный алкоголик...

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

На плечах Конкордии Николаевны — ответственного секретаря «Правды»— держится газета, выходящая тиражом в сорок тысяч экземпляров. Есть присланный Лениным неофициальный редактор, товарищ Андрей, недавно бежавший из ссылки. Связь с ним поддерживается через издателя «Правды», члена Государственной Думы Бадаева, и через ответственного секретаря газеты Самойлову.

Товарищ Андрей составляет очередной номер из поступающих статей, намечает, какие материалы и кому нужно заказать. Все это он делает через Конкордию Николаевну. Она — душа газеты, о ней знает вождь партии Ленин. Иногда он ей пишет письма из Кракова. Она ему пишет часто: Ленин руководит работой редакции из-за границы, он должен знать все, что делается в газете. И Конкордия Николаевна подробно отвечает на каждый вопрос Ильича.

Еще недавно «Правда» допускала грубые ошибки. Владимир Ильич писал резкие письма, назвал заведую-

щих отделами «горе-редакторами», требовал их разогнать. Центральный Комитет поставил во главе редакции товарища Андрея. Двадцативосьмилетний революционер, он шестнадцати лет вступил в партию и уже успел восемь лет провести в тюрьмах и ссылках. Товарищ Андрей быстро наладил работу газеты. Конкордия Николаевна лучше других понимала роль Андрея и дрожала за его судьбу. Ведь рано или поздно охранка сумеет выследить его, как она это делала раньше

Почти ежедневно приходят от Ленина рукописи статей. Некоторые он посылает прямо в редакцию, иные на контору газеты, иногда на условные адреса. Но все они в конце концов попадают в руки Конкордии Николаевны, она надписывает в левом верхнем углу первого листа: «В набор. Корпусом»,— и ставит свои инициалы. Потом отправляет с рассыльным Степой Волковым в типографию. Типография находится на той же Ивановской улице, только напротив. Она принадлежит капиталисту Березину. Он охотно печатает пять газет: большевистскую «Правду»— орган социал-демократической рабочей партии, черносотенную «Земщину»— орган «Союза Русского Народа», меньшевистский «Луч», эсеровскую «Бодрую Мысль» и демократический «День». Ночью «Правда» и «Земщина» печатаются на двух соседних машинах.

Здесь, благодаря соседству, сотрудники «Правды» встречаются с редактором-издателем «Земщины» Глинкой-Янчевским. Старик в золотых очках, с вечно озлобленным лицом приезжает иногда ночью в типографию, когда поступают первые полосы. Выпускающий дает их редактору на просмотр. Типографские рабочие знают издателя «Земщины» как самого заядлого черносотенца и относятся к нему неприязненно. Но никто из них не подозревает, что некогда молодой офицер Казимир Станиславович Глинка-Янчевский участвовал в революционном движении шестидесятых годов. За связь с польскими повстанцами он был приговорен к каторжным работам, замененным ссылкой в Туркестан. Сейчас, подобно всем изменникам, он бешено ненавидит революцию. Глинка-Янчевский понимает, какую роль играет «Правда» в ее подготовке.

По закону типография имеет право приступить к печатанию газеты, когда номер сверстан, подписан и отправлен в цензуру. Выпускающий «Правды» договаривается с печатниками и Березиным, чтобы рабочая газе-

та вышла раньше других. У Березина есть новейшая немецкая машина, на ней печатается по договору «День». Эта машина дает неслыханное количество оттисков — пятнадцать тысяч экземпляров в час! Печатники уважают «Правду», и сам Березин не возражает (он не читает ни одной газеты!) вместо «Дня» пропустить рабочую газету: «Только не задерживайте, действуйте как можно скорее!»

Чистый лист газетной бумаги заранее подписан зиц-редактором. Выпускающему на нем тискают четыре полосы свежей газеты. Он вкладывает их в конверт, надписывает адрес.

— Где дед Матвей?

— Тута я!— отзывается седой как лунь старик, курьер типографии.

— В Комитет по делам печати!

Деду Матвею лет под семьдесят, его специально держат для связи с цензурой. В этом тонком деле торопливость не ценится. Пока дед Матвей доковыляет пешком на Моховую улицу и вернется назад, газету почти целиком успеют напечатать.

Эти часы в типографии, когда немецкая машина каждую минуту выбрасывает по двести пятьдесят экземпляров «Правды»,— самые тревожные. Все знают: дед Матвей скоро не вернется. Он сидит в длинном, пустом коридоре у самых дверей цензора и тихонько дремлет. Но у старика хороший слух. Если цензор, просмотрев «Правду», берется за телефонную трубку, дед Матвей неожиданно молодеет, бежит на улицу и ловит первого встречного извозчика. Возле типографии ходит дежурный. Он издали видит: дед Матвей не идет пешком, а мчится в пролетке. Дежурный спешит в типографию и многозначительно произносит одно слово:

— Скачет!

Все ясно. Конфискация! Печатники начинают спасать газету. «Правду» поспешно увозят в экспедицию. Здесь уже с трех часов ночи кипит работа: готовят адреса, бандероли для рассылки свежей газеты подписчикам. В пять часов утра экспедиция напоминает пчелиный улей. Гудит шумная орава мальчишек-газетчиков и добровольных распространителей «Правды». Каждый спешит получить только что отпечатанный номер и скорее попасть в город, где уже надрываются заводские и фабричные гудки.

В толпе выделяется Костя. Всеми правдами и неправдами он первым прорывается к экспедитору:

— С завода Вегмана! Товарищ, я с Черной Речки! Идти далеко — семь верст да все лесом.

Костю хорошо знают и любят за веселый нрав. Два раза в месяц, когда подходит его очередь на заводе ехать за газетами, он последним трамваем добирается на Ивановскую улицу и здесь ждет выхода номера, своими шутками и прибаутками развлекая всю экспедицию. Газетчики гадают: конфискуют сегодняшнюю «Правду» или нет? Особая заслуга распространителя — привезти на завод пачку конфискованных номеров. Если с ними задержит полиция, могуть дать административную высылку на два года за «хранение нелегальной литературы». Косте нравится его общественная работа, связанная с риском. Она требует ума и смелости. Трижды он попадал в беду, но благодаря своей изворотливости выходил сухим из воды и конфискованную «Правду», хотя и с опозданием, но на завод доставлял благополучно.

— Дуракам и трусам поручать такое дело нельзя!— с гордостью повторял Костя.

Толпа газетчиков мало-помалу редеет. Столица «Правдой» обеспечена, но нужно ее послать и в провинцию. Экспедиторы зашивают газеты в посылки. Добровольные помощники разнесут их по почтовым отделениям, не более четырех штук на каждое. В крупные города, где много подписчиков на заводах, «Правду» отправляют багажом. Запаковывают в ящики и под видом посуды, игрушек, аптекарских товаров везут прямо на вокзал.

Экспедиторы дорожат каждой минутой, но полиция не считает нужным спешить.

Проходит час — другой, и в типографии в сопровождении городовых появляется приземистая фигура хорошо знакомого околоточного надзирателя. Печатник останавливает машину, рабочие снимают стереотип. Городовой разбивает его ломом и отшвыривает сапогом в сторону.

— А где отпечатанная «Правда»?

За ворота типографии не успели вывезти только двести с лишним экземпляров. Их почтительно отдают околоточному. Он старательно пересчитывает — двести тридцать две газеты! Околоточный на стальном талере[1]

[1] Доска, на которой верстается газета.

составляет акт о конфискации. Городовые, гремя саблями проходят гуськом между машинами к выходу. Широко распахиваются ворота типографии, ломовые битюги вывозят отпечатанный тираж черносотенной «Земщины» — аккуратно упакованные тюки.

Околоточный провожает их ленивым взглядом. Хотя он и служит в полиции, но потихоньку читает либеральную «Современку»[1], а иногда и демократический «День». Сегодняшнюю конфискованную «Правду» (один номерок у околоточного припрятан в портфеле) он обязательно прочитает и будет недоумевать — что же в ней страшного? Рабочие бастуют по всей России? Расценки чересчур низкие. Плати людям больше — бастовать не будут. На полицейское жалование тоже сейчас не особенно жирно проживешь, хорошо — лавочники выручают. Если бы не они, впору тоже хоть бастовать.

А уйти некуда, после полицейской службы на другую нелегко устроиться. Смотрят косо и разговаривать не хотят.

Околоточный не спеша возвращается в участок. Двести с лишним номеров газеты «Правда», перевязанные крест-накрест бечевкой, припечатанные сургучом, он кидает за деревянную решетку, где сидит дежурный. Пока не придет пристав, они будут валяться здесь на полу, а после пойдут в печку.

Первая часть операции закончена. Теперь предстоит конфисковать газеты, унесенные из экспедиции газетчиками. Ими торгуют по всей столице. В этот час из градоначальства звонят по телефону полицмейстерам, полицмейстеры приставам, пристава дают распоряжение околоточным, околоточные собирают городовых и строжайше приказывают: отобрать у всех газетчиков сегодняшнюю «Правду».

Городовые стоят навытяжку и смотрят в рот околоточному. Они делают вид, что внимательно слушают его. Но в глазах их такая же скука, как и в глазах околоточного. Дело привычное, надоевшее и бессмысленное. Все заранее знают: никакого толку не получится. Вереницей выходят городовые из участка и расходятся по улицам, охотничьим взглядом высматривая газетчиков. Вот мчится веснушчатый паренек с сумкой на боку, не подозревая беды, прямо навстречу.

— Стой!

---

[1] «Современное Слово» — либеральная газета.

Но паренек опытный, стреляный воробей. Он делает вид, будто не слышит окрика, и исчезает в толпе. Бежать за ним, догонять среди белого дня — стыдно, да и не поймаешь. Городовой идет на перекресток, там на лотке торгует газетами и журналами хромоногий инвалид.

— «Правда» есть?

— Сейчас посмотрю. Нет, распродал всю...

— Не врешь?

— А какой мне интерес врать?

— Ну ладно!

— Господин городовой! Опять «Правда» конфискована?

— Тебе-то какое дело?

— Это верно, нам дела нет!

Городовой лениво отходит. Хромоногий газетчик провожает его хитрым взглядом. «Правда» распродана не вся. Если бы городовой снял верхний номер «Земщины», он обнаружил бы под ним сегодняшнюю конфискованную «Правду». Но городовому не хочется заниматься пустяками, не спеша он идет на другой угол улицы. А к хромоногому подходит мастеровой.

— «Правда» есть?

Газетчик окидывает покупателя наметанным глазом.

— Посмотрим. Вот один номер остался. Последний!

К концу дня городовые приходят с отчетом к околоточному, почти все они сообщают одно и то же:

— Газета вся продана!

И только два-три человека успели каким-то чудом конфисковать несколько номеров. Околоточный быстро подсчитывает.

— Шесть штук!

Он пишет рапорт приставу и отправляется домой обедать. За обедом он ест жирные щи и читает «Правду». В его голове никак не укладывается: что происходит на белом свете? Газета мутит рабочих, правительство видит, а бороться не умеет. Разве это цензура? Детские игрушки! Душа околоточного наполняется презрением к правительству. Чистые остолопы сидят там, наверху. Не сообразят такой простой вещи: цензор должен проверять газету до печатания, а не после. Вот тогда будет порядок! И не придется заниматься дурацкой конфискацией.

Некоторые городовые тоже читают «Правду» — запретный плод сладок. Читают тайком, ищут, где же крамола? Статьи на первой странице они не понимают. Но

зато корреспонденции с фабрик и заводов о тяжелой рабочей жизни написаны простым языком и заставляют призадуматься. У некоторых городовых зарождаются в головах «опасные мысли».

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Конкордия Николаевна разбирает почту — огромный ворох конвертов и бандеролей. Она читает корреспонденции, написанные корявыми каракулями, некоторые из них старательно нарисованы печатными буквами. Все ее сердце здесь, в редакции, но есть тайная тайных, что она бережет от посторонних глаз,— ее необыкновенная любовь к мужу. Они женаты давно, скоро будет десять лет, но не все эти годы им удалось прожить вместе: тюрьма разлучала супругов часто и надолго.

За последний месяц Конкордия Николаевна потеряла сон и душевный покой: Аркадий Александрович худел и таял на глазах. Юрист по профессии, он не только занимался адвокатской практикой, но был также хорошим журналистом, в «Правде» вел крестьянский отдел, в нескольких профессиональных союзах давал бесплатно юридические советы, а кроме всего этого постоянно выполнял партийные поручения Петербургского Комитета и социал-демократической фракции Государственной Думы.

Конкордия Николаевна работала не меньше мужа, но вечная занятость не отражалась на ее здоровье и внешности. Когда она случайно увидела в зеркало себя и стоявшего рядом мужа, ей сделалось стыдно за свой пышный румянец на щеках и здоровую полноту крепкого тела.

«Он очень болен!»— Конкордия Николаевна испугалась. Она ничего не сказала, но на другой день позвала на квартиру доктора, их товарища по партийному подполью. Аркадий Александрович изумился: он чувствует себя превосходно! Но врач все же осмотрел мужа, а наедине многозначительно сказал Конкордии Николаевне:

— Надо подлечиться, иначе будет плохо!

— Чахотка?

— Есть предрасположение.

Аркадий Александрович отказался лечиться — нет времени! Характер у Конкордии Николаевны более твер-

дый и настойчивый, чем у мужа, он всегда уступал ей. Но на этот раз Аркадий Александрович проявил неожиданное упорство, и Конкордия Николаевна мучилась, с ужасом думая о страшной болезни, которая подстерегает любимого человека и может отправить его в могилу. С мыслями о муже она приходила в «Правду», работала, разговаривала с посетителями; где-то глубоко в сердце сидела заноза, не дававшая ей покоя.

Вот и сейчас Конкордия Николаевна разбирает почту, а думает о нем, о его усталых глазах. Она вскрывает синий конверт и достает листок почтовой бумаги. Стихи, очень слабые, беспомощные. Она читает подпись, и брови ее поднимаются от изумления:

— Вот это здорово!

В «Правду» пишут не только заводские и фабричные рабочие, но люди всех профессий: приказчики, конторщики, разносчики, трубочисты, фонарщики, модистки, официанты, мелкие чиновники, дворники, портные, извозчики, сапожники, кондукторы, банщики. Конкордию Николаевну не удивишь никакой профессией. Вчера прислал стихи торговец свечами в епархиальной лавке.

— Что здорово?— студент Володя даже отложил перо.

— Городовой стихи прислал!

Поэт-городовой в «Правде»! Это звучит анекдотично. Только один Еремеев невозмутимо сосет трубку и не отрывается от рукописи. Мало ли на свете графоманов? Почему бы им не служить и в полиции!

Конкордия Николаевна распечатывает конверт с заграничной маркой. Она читает статью, присланную эмигрантом. В ней разборчиво выписаны цитаты на четырех языках — немецком, английском, французском и испанском. Видно, человек за долгие годы забыл Россию и не представляет читателей «Правды».

Как много стихов поступает в редакцию, слабых, беспомощных, написанных неуверенной рукой. Читать их невозможно: «вперед — народ», «знамя — пламя», «кровь — любовь». Конкордия Николаевна откладывает стихи в отдельную папку. Придет Артамонов — пусть посмотрит.

В редакциях больших газет есть пишущие машинки, все рукописи перед отправкой в типографию перепечатываются набело. В «Правде» машинки нет. Иногда приходится отправлять оригиналы, написанные карандашом на обеих сторонах листа. Метранпаж ворчит, но не воз-

вращает обратно. «Правда»— своя, пролетарская газета, пишут в нее рабочие, с них нельзя много требовать. Отчеты о сборах в «Железный фонд» «Правды» аккуратно печатаются. И метранпаж при верстке номера то и дело вставляет написанные Конкордией Николаевной лозунги:

**«Правда» не имеет капитала.
Главная поддержка — это постоянная
групповая подписка!**

Конкордия Николаевна читает статью партийного работника, поступившую сегодня от товарища Андрея, отправляет ее в набор, беседует с авторами. Незаметно бежит время. Вечер. Все материалы в номер сданы. Сотрудники расходятся, она еще сидит. Сейчас придет муж. Он каждый день заходит в редакцию. Иногда пишет передовицы.

Аркадий Александрович Самойлов входит, как всегда, незаметно. Очень высокий, тонкий, бледный, он похож на человека, недавно вышедшего из больницы. Это впечатление особенно усиливается, когда он рядом с женой.

— Я за тобой, Наташа,— говорит он, снимая пенсне и протирая стекла кончиком шарфа.— Ты скоро?

— Сейчас отправлю извещения на четвертую полосу — и можем идти. Посиди минут десять.

Десять минут превращаются в полчаса. Аркадий Александрович терпеливо ждет, пока жена приведет в порядок письменный стол. Торопить ее бессмысленно.

— Возьми вот эти два письма,— протягивает она листки.— По твоему отделу. Можно ответить в «Почтовом ящике». Мне кажется, интересный юридический вопрос.

На столе дребезжит звонок телефона. Конкордия Николаевна снимает трубку.

— Да, это я!

Аркадий Александрович смотрит на жену и видит, как меняется лицо. Разговор длится несколько секунд.

— Ну, что же...— как-то неопределенно произносит она и кладет трубку. Повернувшись к мужу, с трудом говорит:— Бадаев звонил. Арестовали Андрея... Снова мы без редактора.

Аркадий Александрович ничего не отвечает. Он нервно закуривает папиросу и начинает шагать из угла в угол.

Конкордия Николаевна собирает бумаги, оставшиеся на столе, в одну пачку, складывает их в газету и запирает в ящик стола.

— Ну, пойдем!

Самойлова обычно уходит из редакции последней. Она закрывает входную дверь и ключ оставляет сторожихе Леонтьевой.

Они выходят на улицу. Оба думают о печальной участи Андрея — снова тюрьма, снова ссылка. Горят газовые фонари. Недавно выпавший снег кажется голубым. У подъезда стоит «лихач». Кучер, высоко подпоясанный, почти под мышками, белоснежным кушаком, трогает рысака и медленно едет сзади.

— Неужели этот ряженый болван думает, что мы ни о чем не догадываемся?— шепчет Конкордия Николаевна.— Ведь каждый день одно и то же. Сегодня с бородой, завтра с усиками, а лошадь все одна. Открытая слежка!

— Для нас это лучше, чем тайная. Он знает: раз ты ушла из редакции, в «Правду» больше никто не придет. И ему делать здесь нечего. Нормальная филерская служба... Впрочем, ну его к черту, Наташа! Сегодня мне не до шпиков. Ты забыла, какой сегодня день? Ведь сегодня наш день, Наташа!

«Да, сегодня ровно десять лет!— растроганно думает Конкордия Николаевна.— Не забыл! Помнит!»

Не отвечая на его вопрос, она говорит:

— Как мне жаль Андрея!

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Ровно десять лет назад Конкордия Николаевна впервые встретились с Аркадием Александровичем Самойловым. Ему представили ее под партийной кличкой Наташи, его называли «товарищем Антоном». Они провели вместе только один вечер и расстались, не зная, придется ли им вновь когда-нибудь увидеться. Он тогда знал о ней одно: охранка выследила Наташу, и, заметая следы, она приехала в Екатеринослав.

Самойлов, начинающий адвокат, охотно дал приста-

нице подпольщице-революционерке. Весь вечер они проговорили о литературе. Наташа оказалась любопытной собеседницей, много читала, много видела, много ездила. Аркадий Александрович старался определить, кто она, из какой среды, откуда, сколько ей лет, что делает в партии, но это было нелегко. Расспрашивать подробности биографии не допускала партийная этика. А пышущая здоровьем статная красавица ему очень приглянулась. На «синий чулок»— так называли курсисток, нарочито не следивших за своей внешностью,— она не походила. Подпольщица одета скромно, но со вкусом. Аркадий Александрович решил: несомненно, дворянка — хорошо говорит по-французски.

Он ошибся в своих предположениях.

Конкордия Николаевна родилась и выросла в семье иркутского священника. Ее отец, Николай Громов, служил в небогатом приходе и больших достатков не имел. Семья была немаленькая: кроме Конкордии росли еще три дочери — Софья, Наталья и Калерия. Надо было их не только учить, но и готовить им приданое. Девочки жили в замкнутом мирке патриархальной семьи. Будущее их было ясно для всех: громовские поповны выйдут замуж за священников и станут попадьями. Первой на этот путь стала Калерия: она вышла за дьякона, которого быстро рукоположили в иереи и дали ему неплохой приход.

На красавицу Конкордию заглядывались семинаристы, но она по окончании гимназии твердо решила ехать в Петербург на Бестужевские курсы.

Мать лежала в постели с мокрым полотенцем на голове, тихо всхлипывала и поминутно сморкалась. Разгневанный отец Николай в молескиновом подряснике, сапогах с лакированными голенищами ходил из угла в угол и молча кидал яростные взгляды на строптивую дочь. Сестры, притаившись в соседней комнате, перешептывались и гадали, чья возьмет верх, кто победит. Конкордия, побледневшая, но решительная, прислонясь к холодной печке, упрямо теребила бахрому шали. Для нее вопрос об отъезде в столицу был решен бесповоротно. Пусть мать плачет, сколько ей угодно, и мочит уксусом полотенце. Отец сгоряча даже может оттаскать непокорную дочку за волосы,— все равно она уедет в Петербург и поступит на Бестужевские курсы. Она не будет попадьей, а станет учительницей. И девушка настояла на своем.

Лихие ямщики везут Конкордию по Сибирскому тракту от Байкала к Уралу. Она встречает партии каторжан, уныло бредущих в кандалах по пыльной дороге. Для нее эти картины не в диковину. Она видела в Иркутске ссыльных и знала: эти люди — вовсе не преступники, они страдают за народ.

И вот она в Петербурге. Ей двадцать лет. Она курсистка. Новая студенческая жизнь, так непохожая на иркутскую, лекции знаменитых профессоров на Бестужевских курсах, революционные листовки. Первый раз Конкордия выступила на студенческой сходке, посвященной трагическому событию в Петропавловской крепости. Политическая заключенная Ветрова облилась керосином, подожгла себя и сгорела заживо. Речь Конкордии, гневная, страстная, приобщила молодую курсистку к революционной жизни.

Арестовали ее, когда она перешла на четвертый курс. Во время обыска жандармский ротмистр нашел у нее два зачитанных до дыр романа — «Андрей Кожухов», «Что делать?»— и револьвер. Романы числились в списке запрещенных, но револьвер можно было свободно купить в оружейном магазине на Литейном проспекте, против Бассейной улицы.

— Для чего вам эта игрушка?— поинтересовался на допросе офицер.

— От Иркутска до Челябинска мне пришлось ехать на лошадях Дорога небезопасная. У нас, в Сибири, водятся разбойники.

— Ваш отец священник?

— Да.

— Почему же вы, дочь духовного пастыря, уважаемого человека, читаете запрещенную литературу? Чернышевского и Степняка-Кравчинского?

— Я не знала, что эти книги запрещены. Об этом нигде не было публикации.

Конкордию продержали в тюрьме четыре месяца и выпустили. Закончить Бестужевские курсы не удалось. Три года прошли впустую: диплома учительницы не будет, без него не дадут работы. А тут еще негласное наблюдение полиции. Надо уехать подальше от столицы, покинуть Петербург с его белыми ночами, студенческими кружками и сходками, замечательной Публичной библиотекой, Мариинским театром...

Близкие друзья разделились в своих советах на два лагеря. Одни рекомендовали вернуться в Иркутск, дру-

гие — хлопотать заграничный паспорт и ехать в Париж. Там известный профессор Максим Максимович Ковалевский создал «Русскую высшую школу общественных наук». Конкордия послушала тех и других. Вначале она поедет в Иркутск, а после в Париж.

Родной Иркутск, отчий дом! Здесь все по-прежнему, по-старому: запах воска, укропа, домотканые половики в комнатах, крашенные ярко-желтой краской полы. На окнах — герань, фикусы и неведомый цветок, накрытый запотевшим стаканом. В клетке резвится канарейка.

— Допрыгалась!— с горечью говорит отец, и голос его дрожит.— В темнице сидела. Позор-то какой! Арестантка! Да это хуже, чем блудница!

— Ну ладно, ладно. Скажешь тоже!— сердито защищает мать.— Сразу и накинулся, как тигр лютый.

По морщинистым щекам попадьи сползают две блестящих слезинки. Конкордия — самая строптивая в семье, но и самая любимая.

Ночью девушка спит на той самой кровати, на которой спала до своего отъезда в столицу. Отец и мать не могут заснуть. Как же быть теперь с дочкой? Училась, училась, а все без толку. По тридцать рублей каждый месяц посылали, за три года больше тысячи. Да сколько дорога стоила!

Священник подсчитывает убытки, каждый истраченный полтинник, но дело не в деньгах.

— Замуж ее теперь ни один иерей не возьмет. Тюрьмой замарана и опозорена на всю жизнь. Арестантка!

— Не обязательно за попа выходить. Свет не без добрых людей.

— Знаем мы этих добрых!

Мать молчит. Она сама понимает: лучше бы выйти за священника. Надежнее. Вот Калерия как хорошо живет! Муж в Твери получил место смотрителя духовного училища.

— Должность ей казенную не дадут,— продолжает отец.— Даже в начальную школу не допустят. И жандармы в четыре глаза наблюдать станут. Этот порядок известен. Не будет ей житья в Иркутске. Подозрениями замучают.

Иерей Николай Громов отлично знал, как относится начальство к провинившимся людям. К великому удивлению попадьи и самой Конкордии, он не стал возражать, когда «блудная» дочь высказала желание поехать за границу и там закончить образование.

— Как посылал тридцать рублей в месяц, так и буду посылать,— пообещал он.— Только христом-богом прошу тебя: держись подальше от возмутителей. Плетью обуха не перешибешь, а сила, говорят, солому ломит.

И снова ямщики везут по великому Сибирскому тракту с востока на запад румяную кареглазую красавицу, и снова встречает она на своем пути кандальников. Идут партии политических, среди них много женщин, молодых, бледных после недавнего заключения. Конкордия провожает их задумчивым взглядом.

В Петербурге, хотя полиция и знала о ее политической неблагонадежности, легко выдали заграничный паспорт. Может быть, даже именно поэтому и дали без задержки. Правительство не чинило больших препятствий: уезжай, живи в эмиграции, только назад не возвращайся, не мути воду в родном отечестве. Зато вернувшихся эмигрантов охранка быстро вылавливала и вновь водворяла в Кресты и Бутырки, а затем угоняла в Сибирь.

Париж... Конкордия знала его по романам Бальзака, Золя и Флобера. Она поселилась на Монмартре и быстро вошла в среду русских изгнанников. Они и помогли ей поступить в «Русскую высшую школу общественных наук».

Здесь Конкордия впервые увидела Владимира Ильича Ленина. Она знала его книгу «Развитие капитализма в России», о ней много и страстно спорили бестужевки в Петербурге. Создатель школы Ковалевский, лично знавший Маркса и прочитавший нашумевший труд Ленина, пригласил автора-марксиста прочесть курс лекций по аграрному вопросу.

Владимир Ильич жил в Лондоне и посещал школу во время наездов в Париж. После первой лекции Конкордия подошла к нему выяснить не совсем понятный для нее вопрос. Конечно, это был только предлог для знакомства. Ленин не догадался. Он прочитал ей чуть ли не вторую лекцию.

— Ну-с, теперь ясно вам, товарищ?— он посмотрел на нее прищуренными глазами.

— Да, да!— поспешно ответила она. — Благодарю вас.

Конкордия заторопилась. Он задержал ее.

— Погодите, вы давно из России?

— Два месяца.

Узнав, что она из Иркутска, он оживился, рассказал

о селе Шушенском, где провел ссылку. Собственно, с этого короткого разговора о Сибири и завязалось знакомство с Лениным.

В Париже Конкордия прожила больше года, окончила школу Ковалевского, вернулась на родину и под влиянием лекций Владимира Ильича стала горячим пропагандистом ленинской «Искры».

Молодая революционерка взяла явку в Тверской комитет партии. В Твери жила старшая сестра Калерия. В доме ее мужа, священника Попова, можно было себя чувствовать безопаснее, чем в любом другом месте. Полиция уважала духовенство, к тому же Попов был не простым иереем, он служил смотрителем духовного училища и сам приглядывал за юными семинаристами. Все это учла Конкордия, намереваясь поселиться под крышей сестры.

Так все и получилось, когда она приехала из Парижа в тихую Тверь и под партийной кличкой Веры начала работать на фабрике среди ткачей. Предал ее молодой рабочий Волнухин, пробравшийся в кружок. В комитете Конкордии посоветовали немедленно уехать. Она покинула Тверь. В день ее отъезда провокатор был убит. Жандармский полковник Уранов кинулся разыскивать «Веру».

А тем временем в Екатеринослав ехала «Наташа», после провала пришлось переменить кличку. На явочной квартире ей дали адрес дома, где она могла в безопасности переночевать. Так она попала на квартиру помощника присяжного поверенного Аркадия Александровича Самойлова. Он жил один в скромной маленькой квартирке. Адвокатская практика не приносила начинающему юристу больших доходов.

Тот мартовский вечер они оба запомнили на всю жизнь. Для Наташи после парижских лекций Ленина все было предельно ясно в аграрном вопросе. Аркадию Александровичу нравилась горячность собеседницы, и он, споря с ней, шутливо подзадоривал ее и откровенно любовался гостьей. С жаром молодой прозелитки она вовлекла юриста в новую ленинскую веру. Он слушал ее и улыбался. И Наташа поняла: дело вовсе не в разногласиях по аграрному вопросу. Она немного рассердилась и стала рассказывать о Париже, о «Русской высшей школе».

Они просидели до рассвета.

Скитальческая жизнь партийного подпольщика кида-

ла Конкордию в разные города Российской империи — в Николаев, Херсон, Одессу, Баку, Ростов, Юзовку, Луганск, Вологду, Москву. В жаркие дни революции девятьсот пятого года им удавалось встречаться в промежутках между митингом и тюрьмой, а после бегства из вологодской ссылки она приехала в Луганск, где Самойлов занимался адвокатской практикой. Здесь они и соединили свои судьбы окончательно как муж и жена.

...Аркадий Александрович, шагая под руку с женой по плохо освещенной Ивановской улице, вспоминал первую встречу с ней в Екатеринославе, а Конкордия Николаевна, занятая своими мыслями, думала о внезапном аресте Андрея. Редакция «Правды» потеряла в тот день талантливого редактора.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Самойловы жили на Петербургской стороне, на Колпинской улице, ехать домой надо было с двумя пересадками. В подавленном состоянии они добрались до своей квартиры.

Прислуга открыла дверь и заметила: господа чем-то расстроены. Она служила у них недавно и понять не могла, что это за диковинные люди. Барыня строго наказала не называть ее барыней, а только по имени-отчеству, имя же мудреное такое, сразу и не выговоришь: «Какордия».

И барин под стать ей, такой же чудной. А господа они — самые настоящие, из благородных, хотя и живут не шибко богато. Это не какие-нибудь лавочники. Барин — адвокат, видно, молодой и мало еще зарабатывает. Барыня помогает ему и тоже имеет хорошую должность.

— Луша, кормите нас скорее ужином. Очень есть хотим!— распорядилась Конкордия Николаевна, снимая в передней боты.

— Сейчас, сейчас!

На кухне гудел шведский примус, Луша гремела посудой, накрывая на стол. Аркадий Александрович откупорил бутылку с нарядным ярлыком,— он хотел отметить памятное десятилетие первой встречи с женой и нарочно съездил в Елисеевский магазин взять выдержан-

ное токайское. Конкордия Николаевна совсем не разбирается в винах, но он знал — ей приятны будут его хлопоты и заботы.

Аркадий Александрович думал провести вечер только с женой, однако его намерению не суждено было сбыться. Не успели они сесть за стол, как в передней раздался звонок.

— Кто это там еще!— недовольно поморщился он.

А Конкордия Николаевна поднялась из-за стола и вышла в переднюю.

— Вера!— услышал Аркадий Александрович радостный и в то же время удивленный возглас жены.

В полуоткрытую дверь он увидел неожиданную гостью — даму невысокого роста.

— Я узнала твой адрес, Наташа, и решила забежать.

— Ты? В России?

— Да, попала под амнистию в связи с трехсотлетием.

— Раздевайся, раздевайся! У нас никого нет.

Конкордия Николаевна представила мужа гостье.

— Мой муж. А это — Вера Клементьевна Слуцкая.

— По рассказам жены, знаю вас хорошо!

Луша поставила третий прибор.

— Арестовали Андрея, нашего редактора,— шепнула Конкордия Николаевна, когда прислуга вышла.

— Это не тот, что был в Киеве?

— Нет, он там никогда не был. Раньше работал в Поволжье, а потом в Екатеринбурге.

Аркадий Александрович стал рассказывать Слуцкой:

— Это знаменитый Андрей Уральский. Сын нижегородского гравера Свердлова — Яков Михайлович. Еще Горький писал о нем в газете, когда его посадили в тюрьму. За что? Юноша хранил нелегальную литературу и засыпался. Впрочем, какой он юноша? Мальчуган тогда был неопытный. А в тюрьме повзрослел! Там первую закалку получил на всю жизнь. Вышел на волю и сразу в Сормове поставил подпольную типографию. Какие листовки писал, каким языком! Недаром его имя гремело на Урале в девятьсот пятом году. Заслуженно гремело! Помню, первый раз я его увидел на митинге в Екатеринбурге. Очень поразился! Представьте юношу небольшого росточка. Какой-то щупленький на вид. На голове шапка густых черных волос. На носу — пенсне. Ну, гимназист шестого класса и только! А голос неожиданно оказался зычный, совсем не по росту. Бас! Прямо

как у Шаляпина. Кроме шуток! Оратор великолепный, настоящий трибун, рабочую аудиторию держал вот так в руках. Вряд ли ему в то время двадцать лет было. А потом — скитания по тюрьмам и ссылкам...

Слуцкую, пережившую пять арестов, тюрьмой удивить было трудно.

— Значит, «Правда» опять осталась без редактора?

— Равноценного вряд ли получим!— с горечью ответила Самойлова.— Андрей — великолепный журналист! Я уже не говорю о том, что он организовал «Звезду», когда попал в Питер, бежав из нарымской ссылки. Как страстно боролся он против меньшевиков, отстаивал большевистское направление в газете! Недаром охранка поспешила отправить его обратно в Нарым.

— И он снова ушел!— восхищенно добавил Аркадий Александрович.

— У нас в «Правде» дела в прошлом году обстояли неважно!— продолжала рассказывать Самойлова.— В Цека были недовольны нами. Тираж газеты резко упал, наделали много серьезных ошибок. Ленин присылал негодующие письма. Вообще, обстановка сложилась тяжелая. И знаешь, Вера, когда в редакцию пришел Андрей, мы вздохнули свободно. Почувствовали: вот настоящий редактор! Цека предоставил ему самые широкие полномочия. Андрей имел в «Правде» право цензуры всех статей. Появилась гарантия, что прежних ошибок не повторится. Ведь Андрей — высокообразованный марксист. Мы как-то с ним разговорились. Сколько он в тюрьмах книг перечитал! Блестящий теоретик!

— Не только теоретик, практик выдающийся!— подхватил Аркадий Александрович.

— Жандармы глаз с него не спускали все время. Они, разумеется, знали, что он не только редактор «Правды», но и член Цека. Рано или поздно, но такой конец можно было предвидеть. Это — неизбежно.

— Почти!— поправил жену Аркадий Александрович.

— Но тем не менее всегда, когда узнаешь о новом аресте, становится омерзительно на душе. Ведь каждый провал — это новый факт предательства.

— Бывает, и результат неосторожности,— снова поправил Аркадий Александрович.

— Оставь! Уж кто-кто, а Андрей был осторожен. Опытный подпольщик. Несомненно, кто-то выдал.

Конкордия Николаевна затронула больную рану. После Ленского расстрела все больше и больше прова-

ливалось работников. Вывод напрашивался сам собой: охранка сумела наводнить революционные партии провокаторами. Еще свежи были горькие чувства от разоблачения одного из руководителей партии эсеров, ошеломившие всю Россию. Глава эсеровской боевой организации легендарный террорист Евно Азеф оказался самым вульгарным секретным сотрудником департамента полиции. Кто мог поручиться, не работает ли второй Азеф в партии большевиков? От одной этой мысли Конкордия Николаевна содрогалась. Может быть, он ходит рядом, товарищ, даже друг, завербованный охранкой в секретные сотрудники. Она вспомнила Тверь, молодого рабочего с наивными, как у ребенка, глазами, оказавшегося предателем. Из-за него она отсидела четырнадцать месяцев в тверской тюрьме. В Литовский замок она попала благодаря провокатору Серовой, выдавшей весь Петербургский Комитет партии, когда он собрался на заседание в психо-неврологическом институте.

И сейчас Конкордия Николаевна ощущала гнетущее чувство тоски. Аркадий Александрович угадал настроение жены. Он переменил тему разговора и обратился к Слуцкой:

— Мне рассказывала жена, как вы с ней бедствовали во время Лондонского съезда. Она передавала это с большим юмором.

— Хорошенький юмор!— воскликнула Конкордия Николаевна.— Если бы не актриса Андреева, жена Горького, многим делегатам нашим, которые жили впроголодь, пришлось бы очень туго. Это она организовала на свои средства бесплатный буфет и кормила делегатов бутербродами, когда у людей на обед денег не было.

— Не только кормила бутербродами, но и пивом поила!— улыбнулась Слуцкая.— Сама стояла за буфетом и шутя предлагала: «Угощаю только большевиков!»

— Да, Горький и Андреева оказали большую помощь Лондонскому съезду,— продолжала Самойлова.— Ленин ценит Марию Федоровну очень высоко. Удивительно талантливый человек она. И как актриса, и как партийный работник. Организатор прекрасный. А энергии у нее — хоть отбавляй!

— Она сейчас в Петербурге?

— Полгода как вернулась из-за границы. Живет в Мустамяках, а в Питере бывает. Пока еще под надзором

полиции находится, но в связи с трехсотлетием положение может измениться.

И снова бывшие делегатки съезда стали вспоминать Лондон. Конкордия Николаевна говорила:

— Если бы не Максим Горький, не знаю, как бы мы выбрались из Англии в Россию. Помню последнее заседание, когда весь съезд ломал голову, где достать деньги на дорогу. У Цека не было ни копейки. Тогда под поручительство Горького богатый англичанин, кажется владелец мыловаренного завода, Жозеф Фельц, дал взаймы съезду тысячу семьсот фунтов стерлингов.

— А когда мы подписывали этому чудаку заемное обязательство,— Вера Клементьевна повернулась к Аркадию Александровичу,— многие острили, что по такому векселю придется получать на том свете угольками. Юридической силы заемное обязательство не имело никакой.

— Абсолютно!— подтвердил Самойлов.— Ни один судья не станет даже читать документ, подписанный партийными кличками.

— При чем тут суд?— нахмурила брови Конкордия Николаевна.— Существует и моральная сторона этого займа, кроме юридической. Цека заплатит, когда представится возможность[1].

Обе участницы съезда сохранили о нем самые светлые воспоминания. Он был на редкость бурным, все дни шла ожесточенная борьба между большевиками и меньшевиками-ликвидаторами, стремившимися уничтожить подполье в России и превратить революционную партию социал-демократов в легальную. Ленин вышел тогда победителем.

Конкордия Николаевна и Вера Клементьевна наперебой вспоминали подробности сражений, развернувшихся на съезде. В скромной церкви, где проходили заседания, накал страстей порою достигал штормовой силы.

— А ты помнишь, как с докладом выступил Аксельрод? И какой разгорелся скандал?

— Это когда он назвал нашу партию «организацией мелкобуржуазной интеллигенции»?

— Да. Рабочий, который сидел рядом со мной, закричал на весь зал: «Ты сам буржуй, отсиживаешься за границей!». Это в глаза докладчику Цека!

---

[1] Этот долг англичанину Фельцу был уплачен партией в 1923 году. Тогда же было возвращено заемное обязательство, которое хранится ныне в Музее революции СССР.

В прихожей снова раздался звонок, и Аркадий Александрович вышел взглянуть, кому Луша открывала дверь.

— Я не буду раздеваться. Только на одну минутку.

— Да раздевайтесь!

— Это Бадаев,— сказала Конкордия Николаевна.— По голосу слышу.

Самойлов вместе с Алексеем Егоровичем вошел в столовую.

— У нас гостья, только что приехала из-за границы!— хозяйка представила Слуцкую.— А это Бадаев.

Вера Клементьевна с любопытством посмотрела на члена Государственной Думы. Вчерашний слесарь, недавно сменивший синюю блузу на отлично сшитый пиджак и белоснежную манишку, Алексей Егорович выглядел моложе своих лет. Сбрить бы ему лихо закрученные с помощью фиксатуара усы — и совсем бы он выглядел юнцом.

— Недолго Андрей погулял на свободе!— грустно сказал Бадаев, опускаясь на стул возле окна.

Неожиданный арест Свердлова потряс его. Он еще не пришел в себя и тупо смотрел в одну точку.

— Как же это случилось?— после долгого молчания спросила Конкордия Николаевна.— Андрей скрывался у вас. Вы — лицо неприкосновенное, и квартира ваша — тоже.

— Конкордия Николаевна! Вы лучше меня знаете: очень даже прикосновенное, когда полиции нужно! Вот одного понять не могу: как они пронюхали? Андрей жил в дальней комнате, почти не выходил на улицу. Он же конспиратор — на редкость осторожный! Бывали у нас только строго проверенные товарищи... Малиновский, Петровский, Шагов, Муранов, члены «Русского Бюро» и два-три работника «Правды». Самый надежный народ.

В глазах Бадаева светилось недоумение. Слуцкая слушала его, крепко стиснув зубы. Аркадий Александрович тонкими пальцами нервно постукивал по столу. Только лицо Конкордии Николаевны, как всегда, было спокойно. Просидев четырнадцать месяцев в тверской тюрьме и десять месяцев в Литовском замке, она научилась владеть собой. Сейчас Самойлова вспоминала встречи с товарищем Андреем в квартире Бадаева.

Последний раз ей пришлось возить Свердлову рукопись спорной, забракованной статьи. Она считала, что ее следует печатать. Товарищ Андрей слушал вниматель-

но, прямо глядя в глаза собеседницы. Он осторожно пользовался правом «вето». Мягкий, задушевный голос и железная логика доказательств переубедили Конкордию Николаевну. Она согласилась с ним. «Итак, воздержимся от публикации!» — дружелюбно улыбнулся Андрей. Потом они вместе размечали макет номера, и Конкордия Николаевна следила за ловкими движениями маленьких рук Свердлова. Как он быстро «сверстал» газету, облегчив труд и секретарю редакции и ночному выпускающему! «Золотые руки! — отметила она про себя. — И как это он все успевает?» Она знала: Андрей кроме «Правды» руководит работой думской фракции, направляет деятельность депутатов-большевиков, составляет для них проекты речей.

Бадаев рассказал, как арестовали Свердлова.

— Встретил меня дворник и говорит с таинственным видом: сыщик из тайной полиции все время во дворе шнырит, интересуется лицом, которое, дескать, в моей квартире проживает. Так прямо и говорит: «Думаю, это за вашим товарищем следят». — «Никого у нас нет!» — отвечаю. «Мое дело сторона, — говорит дворник, но если вашего товарища арестуют и вам придется отвечать, что допустили в своей квартире проживать такому человеку, то и меня взгреют». Ну, мы и забили тревогу! Я пошел к Роману Малиновскому. Что делать? Оставаться в моей квартире небезопасно. Решили: вечером переведем его в другое место. Вчера, как стемнело, вышли с Романом на улицу. Кругом ни души. Закурили. Андрей в ответ просигналил, потушил в квартире свет и вышел во двор. Подсадили мы его на забор, он от нас в дровяной склад попал, а оттуда на набережную сам выбрался. Мы его тут с извозчиком ждали. Поехали к Роману, хотел он там переночевать, но ничего не получилось. Решили к Петровскому, он жену Андрея с ребенком приютил. Роман дал ему зимнюю шапку, чтоб уши не поморозил, сам не поехал. Я привез Андрея к Григорию Ивановичу, а ночью его зацапали.

— Кто же мог выдать? — спросила Конкордия Николаевна.

Высокий лоб ее прорезала глубокая складка.

— Провокатор! — ответил Бадаев и поднялся. — Ну, я тороплюсь.

Самойлов вышел проводить гостя, а Слуцкая сказала:

— Когда живешь за границей, не ощущаешь этой

мерзости и этого постоянного страха заподозрить товарища в предательстве.

Вера Клементьевна посидела дольше, чем намеревалась, и ушла, дав свой временный адрес. Самойловы остались одни. Аркадий Александрович сел за письменный стол и раскрыл пухлое судебное дело, по которому предстояло выступать завтра в суде. Конкордия Николаевна тоже решила поработать: надо было закончить статью для ближайшего номера газеты.

Спать они легли раньше обычного и снова заговорили об аресте Свердлова.

— Андрей всегда был очень осторожен,— задумчиво произнесла Конкордия Николаевна.

— Очень!— согласился Аркадий Александрович.

— Кто еще мог знать, что он живет на квартире Бадаева? Кто его выдал?

Они стали перебирать всех, кому было известно, где скрывался Свердлов.

— Случайный провал!— пришла к выводу Конкордия Николаевна.

— Самое легкое объяснение! А мне кажется, что вовсе не случайность. Я уверен, думская фракция тут ни причем. Надо искать предательство ближе. Не среди ли сотрудников редакции?..

— Ты думаешь, что говоришь?!

Аркадий Александрович ответил невозмутимо:

— Мы с тобой не дети, будем рассуждать трезво. Не может быть, чтобы охранка не втерла в редакцию своего секретного сотрудника. Какая бы ни была липовая конституция в России, но существующие законы дают возможность выпускать социал-демократическую газету. Справиться в открытую с «Правдой» правительство бессильно. Сегодня закроют одну газету, завтра она будет выходить под другим названием. Штрафами ее не доконаешь, есть редакторы для отсидки. Конфисковать газету невозможно. Закон о цензуре оставляет массу лазеек. У газетчиков отберут двести экземпляров, а сорок тысяч разойдутся. Охранка это отлично знает. Какой остается выход? Убрать фактических редакторов. А как уберешь без провокатора?

Конкордия Николаевна слушала молча. Муж говорил резонные вещи. Все это так, но сердцу-то легче не стало!

— Давай спать, Наташа!— сказал Аркадий Александрович.— В конце концов все образуется и станет на свое место.

После ареста Свердлова Конкордия Николаевна приходила в редакцию на три часа раньше других сотрудников и уходила часа на два позже обычного. Нередко ей приходилось засиживаться дома до поздней ночи. Аркадий Александрович, искоса поглядывал на ее измученное лицо, вздыхал про себя, но ничего не говорил. Он понимал: жена так долго не выдержит. Вся надежда была на скорый приезд нового редактора. Ленин уже знал, что «Правду» обезглавили, и волновался за судьбу газеты. Центральный Комитет подыскивал достойного кандидата для замены арестованного Свердлова.

Но пока тяжелый редакционный воз по-прежнему приходилось везти Конкордии Николаевне и ее неутомимым помощникам. Дядя Костя с вечной трубкой в зубах, писатель-самоучка Малышев, активный участник знаменитой Обуховской обороны, ставший журналистом, молодые студенты — Васильевский и Павлов готовили очередной номер газеты, правили письма с фабрик и заводов.

Рабочий день в редакции шел обычным порядком. Все время приходили и уходили посетители, иногда мешавшие работать журналистам. Конкордия Николаевна наметанным глазом делила приходящих в «Правду» на две категории — корреспондентов и профессионалов-партийцев, работавших в легальных рабочих организациях: страховых кассах, культурно-просветительных обществах и профессиональных союзах. Здесь, на Ивановской улице, был своеобразный штаб легальной партийной работы, она велась открыто, так же, как издавалась газета. Нелегальные в редакцию не заглядывали, зная, что за небольшой квартиркой, где помещается «Правда», неустанно следят днем и ночью филера. Но большевики, отсидевшие свои тюремные сроки и благополучно отбывшие положенную ссылку, посещали «Правду» не таясь.

Постукивая тросточкой, по ступенькам лестницы поднимался на четвертый этаж Василий Андреевич Шелгунов, бывший официальный редактор «Звезды» и большой друг «Правды». Старый большевик, ослепший в тюрьме, носил темно-синие очки. Пышная большая борода его и благообразный вид вызывали у встречных на улице уважение.

Всегда неожиданно появлялся Михаил Степанович Ольминский, тоже старый большевик, член редакционной коллегии «Правды». Ему шел пятьдесят первый год, тюрьма посеребрила его волосы и бороду, но не потушила молодой блеск в глазах. Журналисты знали, как Ленин ценит старого, опытного литератора.

О появлении в редакции Николая Алексеевича Скрыпника, только что вернувшегося из якутской ссылки, Конкордия Николаевна узнавала сразу: Малышев сказал, что у него «шевченковский голос»— Скрыпник говорил с сильным украинским акцентом. Он редактировал большевистский журнал «Вопросы страхования» и в «Правду» писал статьи о больничных кассах.

После февральской амнистии по случаю трехсотлетия дома Романовых в «Правду» стали заглядывать амнистированные большевики, стосковавшиеся в эмиграции по родине и мечтавшие вновь заняться тем делом, которое погнало их на чужбину.

Конкордия Николаевна поставила последнюю точку на рукописи, предназначенной в набор, и откинулась на спинку стула. Она увидела на пороге стройную красивую женщину в элегантном пальто — Марию Федоровну Андрееву. Самойлова ждала ее.

Первая встреча и кратковременное знакомство двух большевичек состоялось на Пятом Лондонском съезде, в кулуарах, возле бесплатного буфета, устроенного на средства Андреевой. Самойлова с большим интересом наблюдала тогда за Марией Федоровной, и не только потому, что перед ней была жена знаменитого писателя, чье имя гремело во всем мире. Эффектная внешность светской женщины, изящное, скромное, но дорогое платье, большие ореховые глаза, обаятельная улыбка, умение разговаривать на шести европейских языках выделяли ее на съезде из всех делегаток. Про Марию Федоровну говорили, что сам Ленин дал ей две клички: «Феномен» и «Белая ворона». Действительно, она была необыкновенной. Миллионер Савва Морозов, «ситцевый король», сочувствовавший большевикам, перед самоубийством завещал ей сто тысяч рублей. Андреева передала из них в партийную кассу сразу шестьдесят тысяч,— такова была воля завещателя,— да и остальные деньги пошли на те же цели, на подготовку революции.

Мария Федоровна на секунду остановилась у порога и прошла к столу Конкордии Николаевны. Сотни людей

повидала за последние годы Мария Федоровна, память на лица у нее была великолепная, актриса сразу узнала и вспомнила Самойлову. Они обрадованно улыбнулись друг другу.

— Здравствуйте, Мария Федоровна! Мне уже писали, что мы с вами встретимся.

— Я знаю!

Андреева сдернула с руки лайковую перчатку. Тонкий запах духов распространился по комнате. Мария Федоровна была в «Правде» впервые, она с любопытством оглядывалась:

— Тесно живете.

— Это еще слава богу. На Ямской улице повернуться было негде. Пойдемте, я покажу вам наше помещение.

Конкордия Николаевна провела Марию Федоровну в соседнюю пустую комнату.

— Здесь нам никто не будет мешать!

— Я получила письмо от мужа,— заговорила Андреева, внимательно глядя в глаза собеседнице.— Алексей Максимович, по поручению Ленина, просил меня встретиться с вами. Владимир Ильич очень встревожен тяжелым финансовым положением газеты.

— Денежные дела из рук вон плохи!— вздохнула Конкордия Николаевна.— Цензура душит газету.

— Деньги я постараюсь найти.

— Они нужны сейчас, Мария Федоровна! В кассе пусто.

— Устроим несколько концертов. Это наиболее быстрый способ. А потом придется подумать о других источниках.

— Пока у нас один надежный источник: сборы рабочих в «Железный фонд». Но этого недостаточно!

Конкордия Николаевна рассказала Андреевой, в каких тяжелых условиях приходится выпускать газету.

Дверь слегка приотворилась, и Малышев заглянул в комнату.

— А я вас ищу, Конкордия Николаевна, срочное дело!— он повернулся к Андреевой:— Простите... Если не ошибаюсь, Мария Федоровна?

Конкордия Николаевна поняла: никакого срочного дела не было. Просто Малышев узнал, что Андреева в редакции, и боится упустить ее. Самойлова представила:

— Сергей Васильевич Малышев. Он у нас занима-

ется с рабочими поэтами и прозаиками. Ждет не дождется приезда Алексея Максимовича.

— Алексей Максимович должен скоро приехать,— сказала Андреева.— Со здоровьем у него неважно.

— А мы действительно дождаться его не можем!— сознался Малышев.— Поддержка Максима Горького вот как сейчас нужна!

— Подождите!— вдруг перебила актриса, вспомнив что-то.— Ваша фамилия Малышев? Вы посылали из ссылки свои рассказы Алексею Максимовичу на Капри?

— Совершенно верно! И ответ получил от него. Советовал в «Русскую Мысль» к Яцимирскому обратиться. Тот какую-то работу писал о писателях-самоучках. Я, конечно, послал...

— Простите, Мария Федоровна,— вступила в разговор Конкордия Николаевна,— я вас покину, у меня дела.

— Да, пожалуйста, я тоже тороплюсь.

Они попрощались, условившись созвониться вечером по телефону, и Малышев проводил Андрееву по лестнице до парадной двери.

Самойлова снова села за работу. Но не успела она взяться за перо, как зазвонил телефон. Конкордия Николаевна услышала знакомый голос Веры Слуцкой:

— Могу тебя обрадовать. Приехал Мирон.

— Какой Мирон?

— А помнишь, я знакомила тебя с ним в Англии?

Конкордия Николаевна вспомнила Лондон и каморку в квартире портного-еврея, где пришлось прожить вместе с Верой Слуцкой целый месяц. К Вере заходил друг детства — Мирон Ефимович Черномазов. Он был года на два моложе Слуцкой, но выглядел старше. Вера тогда рассказала некоторые подробности его биографии: в юности он работал наборщиком, примкнул к большевикам, стал журналистом, вел партийную работу на юге России, сидел в тюрьме, побывал в эмиграции. На Лондонский съезд он приехал делегатом от киевской организации под кличкой Ефимо́вича. Вера Слуцкая отзывалась о нем как о человеке талантливом.

Все это промелькнуло в голове Конкордии Николаевны, когда она разговаривала по телефону.

— Почему ты думаешь, что мне будет легче?

— Он приехал к вам!

На этом беседа и закончилась. Мирон будет работать в «Правде». Самойлова рассказала сотрудникам о своем разговоре со Слуцкой. Приезду нового сотрудни-

ка обрадовались. А больше всех — Аркадий Александрович: наконец-то жена передохнет.

Мирон появился в редакции через два дня. Его привез Бадаев и представил Конкордии Николаевне как нового сотрудника.

— Вот Мирон Ефимович Черномазов! Назначен Центральным Комитетом. Человек опытный, познакомьте его с товарищами и постепенно введите в работу.

Бадаев не сказал, какую роль будет играть Черномазов в газете. Мирон Ефимович, оставшись наедине с Самойловой, заговорил о своей будущей работе сам.

— Мне нужно войти в курс дела, товарищ! Поэтому я хочу познакомиться в первую очередь с типографией и, если вы возражать не будете, начну свою работу в «Правде» с выпуска газеты. Как вы смотрите?

Он говорил вежливо, как бы советуясь, но в то же время в тоне его проскальзывали решительные нотки. И Конкордия Николаевна поняла: Мирон не даром променял Париж на Петербург. Он хочет занять место арестованного Андрея и, видимо, решил основательно познакомиться с газетой во всех ее звеньях. Это был серьезный подход к работе, и он понравился Конкордии Николаевне. Между делом Черномазов дружески сказал:

— Мы, кажется, встречались в Лондоне во время съезда?

— Да, встречались.

— У Веры Слуцкой?

— У нее.

И оба они вспомнили Ист-Энд, задымленный, хмурый район доков, прилегающих к Темзе. Там было много пивоваренных заводов, уродливых домов, фабричных труб, пустырей, заросших чертополохом. Конкордия Николаевна жила тогда вместе со Слуцкой у минского земляка Веры, неподалеку от огромного шестиэтажного здания — ночлежного дома Ист-Энда, временного пристанища ирландцев, евреев, поляков и других бездомных эмигрантов. Целый месяц две делегатки съезда, революционерки, наблюдали их жизнь и пришли к убеждению, что английская нищета страшнее русской.

Сейчас, когда разговор зашел о лондонской встрече, они стали вспоминать Ист-Энд и Уайтчепл. Беседа получилась дружеской, и Конкордия Николаевна подумала: в «Правде» будет приятно работать с хорошим товарищем.

Потом Черномазов разговаривал с Еремеевым, Малышевым, Васильевским, и они почувствовали в нем сильного, опытного журналиста. Недаром же он работал в нелегальном «Социал-демократе» в Париже.

Вечером Конкордия Николаевна рассказала мужу о первом визите Черномазова в редакцию.

— Как его встретили в «Правде»?

— Хорошо! Человек с большим журналистским опытом, настоящий работник.

— Слава богу, тебе хоть полегче будет. Надо с ним повидаться. Столько лет не виделись!

— Обязательно.

Аркадий Александрович на другой день заглянул в «Правду», как обычно, вечером. Самойлов вел в газете крестьянский отдел и принес приготовленные статьи. Черномазов обнял его, как старого друга. На юге России им пришлось встречаться не один раз, а в девятьсот пятом году в Одессе они вместе защищали от казаков наспех сколоченную баррикаду. Вооруженные браунингами, они ушли с баррикады последними и вместе, в одном поезде, покинули город. Этот эпизод в памяти Аркадия Александровича сохранился ясно. Вспомнил о нем сейчас и Мирон. После восьми лет, с того памятного дня в Одессе, они встретились сейчас впервые в редакции «Правды», внимательно разглядывая друг друга. Изменились оба, но не очень сильно.

— Ну как живут наши эмигранты во Франции?

— Вообще-то говоря, плохо!— ответил Черномазов.— Найти работу в Париже эмигрантам невозможно. Несколько месяцев я мыл окна магазинов... Но это все, конечно, мелочи. Последнее время устроился в «Социал-демократе».

В дверях появилась Конкордия Николаевна:

— Аркадий, ты меня не жди, я ухожу и задержусь в типографии.

После ухода Самойловой они еще посидели полчаса и вышли из редакции вместе.

Где-то за крышами домов догорали последние лучи солнца, городской шум затих, обезлюдела Ивановская улица. Против подъезда по-прежнему дежурил «лихач», на этот раз с окладистой бородой, важный, толстый, в новом лаковом полуцилиндре.

— Посмотрите, Мирон, на эту бутафорию. Придумали нарочно, для отвода глаз.

— Какая бутафория?

— А вот этот «лихач» с бородой Александра Третьего и те два явных шпика, похожие по одежде на близнецов. Я никак не могу понять: на кого это рассчитано? На нашего брата, посидевшего не один раз в тюрьме? Но ведь они не думают, что мы окончательные ослы? Как вам кажется?

— Надо полагать!— ответил Черномазов.

— Я уверен, все это делается, чтобы прикрыть подлинную слежку.

— Что вы этим хотите сказать?

— Я просто делаю вывод. Мы люди достаточно грамотные, а сама логика вещей подсказывает: за «Правдой» следят не только агенты наружного наблюдения, но и внутреннего. Наташа со мной не согласна, но я прав.

— Возможно. Хотя я не уверен, что в охранке работают самые умные люди. Те же чиновники, бюрократы, а в большинстве случаев — дурачье.

— Но это дурачье сумело поставить Азефа во главе боевой организации эсеров!— возразил Аркадий Александрович.— Не надо закрывать глаза: во всех революционных партиях достаточно провокаторов.

— Ужасная вещь!— в раздумье сказал Черномазов.— Люди перестают верить друг другу...

— Сколько сотрудников потеряла «Правда»! Каким-то чудом Наташа до сих пор держится.

— Что поделаешь! Борьба жертв искупительных просит!— сказал Черномазов, когда они подошли к Загородному проспекту.— Мне на «девятку». Вон мой трамвай идет!

И Черномазов побежал к остановке.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Егор Николаевич Васильев лишился отца в двухлетнем возрасте. Строгая мать, портниха, сумела привить мальчику с детских лет любовь к труду, книгам и порядку. Она мечтала, чтобы сын пошел по пути отца: получил образование и тоже стал учителем в тихом Суздале. По окончании городского училища и технических курсов юноша поступил в Московский учительский институт, откуда был изгнан за участие в политической демонстрации. Это и определило всю его дальнейшую

судьбу. Можно было пойти в конторщики, письмоводители, но Егор Николаевич стал к слесарному верстаку. Ему не было и восемнадцати лет, когда он первый раз попал за тюремную решетку.

Мудрое воспитание матери, скитания по тюрьмам, ссылкам и на чужбине в эмиграции приучили Егора Николаевича беречь каждую свободную минуту. Все дни его были строго распределены по часам: он продолжал учиться, читал, чтобы не забыть язык, французскую литературу и вел партийную работу среди рабочих, посещавших его кружок. Занятия с кружковцами не отнимали много времени, по вечерам слесарь писал стихи.

Первый рассказ из жизни ссыльных «За стеной» он опубликовал в ярославской газете «Северный Край» почти десять лет назад и с тех пор возмечтал стать писателем. Тюремная обстановка располагала к литературным занятиям, хотя писать приходилось на чайных обертках и бумажных клочках, случайно попадавших в камеру заключенного. На свободе Егор Николаевич много писал и часто менял псевдонимы — профессия революционера, жившего по чужим паспортам, требовала осторожности. Иногда он подписывал свои произведения инициалами — А. З. Почти никто не знал, что И. Дальний, А. Зарембо, А. Набегов, А. Одинокий были одним и тем же лицом.

Находясь в эмиграции, он в Женеве в кооперативной типографии выпустил тоненькой аккуратной брошюркой на двадцати четырех страницах рассказ «Проклятый вопрос». Во время очередного ареста и обыска жандармский ротмистр, увидев на обложке фамилию автора — А. Одинокий, забрал книжечку с собой, но ему и в голову не пришло, что арестованный слесарь не только написал крамольный рассказ, но сам издал его на последние гроши.

Поэт по натуре, влюбленный в свою заводскую профессию, Егор Николаевич стремился создать образ индустриального рабочего, которому предстоит разрушить старый несправедливый мир и построить новый. Он пытливо изучал символистов и импрессионистов и в душе понимал: новое вино нельзя вливать в старые мехи. В кружке рабочих писателей, собиравшихся в клубе на Рю Рейн де Бляш, где постоянно бывали Федор Калинин, Павел Бессалько, Михаил Герасимов, Луначарский, происходили горячие споры, какой должна быть пролетарская поэзия. Егор Николаевич восхищался

творчеством американского поэта Уитмена и, следуя ему, отказался в своих стихах от рифмы.

Вот и сейчас, вернувшись с завода и поужинав, он сидел у открытого окна и писал стихотворение, изредка поглядывая на карманные часы. Они висели на гвоздике на географической карте Сибири, прикрепленной к стенке кнопками.

Егор Николаевич не заметил, как в комнату вошел айвазовский токарь, старый товарищ.

— А, Михаил Иванович!— хозяин прикрыл свою рукопись книгой.

— Все пишешь?

— Понемножку.

— Я вчера в «Правде» был,— сказал гость, опускаясь на стул. Он снял очки в простой железной оправе и тщательно протер стекла.— Новый работник приехал из-за границы.

— На место товарища Андрея?

— Выходит, так. Какой-то Черномазов.

— Черномазов? Встречал его в эмиграции.

— Что за человек?

— Мельком видел!—нехотя ответил слесарь, не любивший говорить о людях плохое.

Черномазов ему не понравился с первой встречи в Париже.

Хозяин, разговаривая, наводил на столе порядок, складывал бумаги, ставил книги на полочку.

— Для «Правды» сочиняешь?

— Нет. Фантастическую вещь задумал написать.

Токарь даже поправил очки на носу:

— Время сейчас вроде не такое, чтобы фантазиями заниматься.

— А без фантазии человек жить не может,— слесарь задумчиво покрутил остренькую бородку.— Я это хорошо в тюрьме понял, и в ссылке, и в эмиграции. Когда революцию разгромили, сам знаешь, тяжело приходилось... Больно уж трусливо интеллигенция себя повела: в кусты и каяться начала. То молилась на революцию, а тут сразу оплевывать стала. Да и среди рабочих шатания начались, скрывать нечего. Были мы с одним фрезеровщиком в ссылке, душа-парень. Вернулся, сейчас в Удельной живет, у Струка работает. На своем прошлом крест поставил. Женился на портнихе, та четырех учениц держит. Домик построили, сирень посадили, черную смородину... Встретились, а говорить не о чем. Напом-

нил я ему ссылку, он насупился. «Какое мне,— говорит,— дело до потомков, будут они гречневую кашу есть или жареных цыплят. Я один раз живу и хочу сам о своей жизни позаботиться». Мещанин чистой воды, а ведь в одной боевой дружине вместе были.

— Бывает!— вздохнул токарь.

— Ушел я от него, и так муторно на душе сделалось. Стал размышлять: откуда это? И вспомнил Горького, хорошо он сказал: «Рожденный ползать — летать не может!» Человеку крылья нужны, мечта! А мечта без фантазии немыслима! Вот я и подумал: хорошо бы заглянуть в будущее. Дело, конечно, не в жареной курице. Когда я был в ссылке, много книг о Сибири прочитал. Какой край! Там — будущее России! И задумал я сочинить поэму «Экспресс». Понимаешь, мчится он через всю Сибирь в страну Будущего... А центр Сибири будет вот здесь. Город Красноярск!

Егор Николаевич показал пальцем точку на карте. Гость заметил жирную линию, нанесенную красным карандашом. Она протянулась от Уральского хребта к берегам Тихого океана.

— Фантазия!

— Конечно, фантазия! Но если приходится страдать в тюрьме, замерзать в Нарыме, сидеть голодом, скитаться с подложным паспортом в кармане и ждать, когда тебя снова схватят и отправят на высылку, то как же без мечты и веры жить? На портнихе жениться и учениц эксплуатировать, чтобы домик построить на старости лет? Так, что ли?

— Наш брат о старости совсем не думает, ты сам это знаешь,— заметил гость и снова повернулся к карте, разглядывая красную линию.— Это что же, маршрут фантастического экспресса?

— Да. Только дальше путь пойдет на Чукотку, к Берингову проливу.

Слесарь порылся в листочках, достал один и сказал:

— Тут я написал кое-что... Могу почитать отрывки.

— Интересно! Куда тебя фантазия заведет?

Егор Николаевич стал читать, изредка заглядывая в листочек:

«Экспресс «Панорама» сорвался с Уральских высот и реет к Кургану... Курган — город крепкого и вольного сибирского народа, не знавшего

крепостной неволи... Окруженный кольцами рельс, разросся в город масла, хлеба, мяса...

Экспресс быстро тормозит, но пассажирам кажется, что он врезался в ватные стены. Мелькает новый город с тысячью заводских труб, выпускающих вместо дыма только несгораемые газы. Это Сталь-город, который когда-то звали Ново-Николаевском[1]. Берега Оби стиснуты гранитом, набережные скованы сетью подъездных путей. По обеим сторонам идут сотни подъемных кранов. Они вытянули свои стальные плетеные кронштейны и, даже тогда, когда замирают после тяжелых речных нагрузок, кажутся руками гигантов, наступающих друг на друга с одного берега на другой...

Красноярск! Это мозг Сибири...

Здесь, на Енисее, высится мачта, на которой гордая надпись: «Красноярск — морской порт», но за ней на башне дамбы другая надпись: «Красноярск — верфь мира!» На север от моста более чем на десять верст суда, все суда. А по берегам, точно скелеты допотопных ихтиозавров, высятся эллинги судостроительных заводов».

Егор Николаевич отложил листок в сторону и вопросительно смотрел на токаря.

— Что же, жизнь идет вперед. Я когда на завод пришел, токарные станки одни были, а сейчас другие, никакого сравнения. Помню, воздушный шар в небе увидел — необыкновенная вещь! Чудеса! А недавно в Коломягах наш авиатор Попов в воздухе больше двух часов продержался! Сам проверял. Техника все дальше шагает, Я бы на твоем месте не экспресс пустил, а цеппелин по воздуху. Аэроплан так долго летать не может, это я понимаю, никакой мотор не выдержит, а вот дирижабль — другое дело! Если фантазия, так надо Жюль Верна перепрыгнуть.

Егор Николаевич усмехнулся, хотел что-то возразить, но в дверь постучали — и на пороге появились Гордеич с Нюркой.

— Присаживайтесь, товарищи!

Гордеич поздоровался с токарем, а Нюрка тихонько

[1] Ново-Николаевск — ныне город Новосибирск.

села в уголок. И почти следом за ними явились Костя, Михаил и Федька Грач. Егор Николаевич думал, токарь поднимется и уйдет, но тот спросил:

— Не помешаю?

— Конечно, нет!

Михаил встречал айвазовского токаря, когда тот с небольшим узелком под мышкой торопливо шагал на завод. Он был приметен железными очками, зимой носил крытый сукном полушубок и шапку-ушанку, а летом — потертый пиджак и кепку, которая лежала на голове блином. Кажется, он тоже жил на Выборгском шоссе, где-то по соседству с Михаилом.

«Новенький пришел!»— одновременно подумали Костя и Михаил. Они не подозревали, что уже немолодой токарь Михаил Иванович Калинин избран кандидатом в члены Цека партии большевиков на Пражской конференции. И о самой конференции они не имели никакого понятия.

Когда собрались все участники кружка, Егор Николаевич сказал, не спуская глаз с Кости:

— Сегодня нам придется обсудить случай на заводе Вегмана...

Михаил посмотрел на Костю, его друг криво усмехнулся. Пропагандист заметил это и закончил:

— ...и события на «Новом Лесснере».

Егор Николаевич кратко напомнил о них. Почти всем было известно, какая трагедия произошла на крупнейшем заводе Выборгской стороны.

Мастер Лауль дал слесарю Стронгину шестьсот гаек для нарезки. Во время работы часть гаек пропала. Возможно, их по ошибке отнесли в другую мастерскую, может быть, случайно выкинули в стружку. Стронгин так и объяснил пропажу гаек. Немец Лауль не поверил, обозвал слесаря вором и пригрозил увольнением, если гайки не будут найдены. Доказать, что он не украл гайки, Стронгин не мог. Клеймо вора его испугало. Ночью слесарь повесился и оставил записку: «Я не вор!» Рабочие потребовали немедленно убрать Лауля, виновника смерти их товарища. Дирекция стала на защиту мастера. Через десять минут все рабочие покинули завод.

— Петербургский Комитет придает стачке ново-лесснеровцев большое значение,— говорил Егор Николаевич.— Партия будет ее поддерживать. Надо проследить, чтобы ни один заказ не был передан потихоньку с «Нового Лесснера» на другой завод. Администрация поста-

рается, конечно, это сделать, чтобы не платить неустойку заказчикам.

— Да, за этим делом надо следить зорко!— сказал токарь.—«Новый Лесснер» у военного ведомства набрал заказов!

Ново-лесснеровцы бастовали четвертую неделю. Стачка обещала еще затянуться. К ней приковано было внимание пролетарского Питера, металлисты следили за борьбой по корреспонденциям, публикуемым в «Правде». Администрация защищала мастера Лауля, рабочие боролись за честное имя мертвого слесаря Стронгина.

— Теперь нам надо разобрать одно неприятное дело, товарищи,— угрюмо сказал Егор Николаевич, не глядя на Костю.— Собственно говоря, я не совсем точно выразился. Недопустимое, позорное дело. Расскажи, Константин, сам!

Костя крепко сжал губы. Все молча смотрели на него, зная, какое событие произошло четыре дня назад на заводе Вегмана. Молодые ребята накинули мастеру на голову мешок, посадили его в тачку и вывезли во двор. Заводилой в этом предприятии был Костя. Рабочие с одобрением отнеслись к проделке парней: ма́стера не любили. Только Гордеич остался недоволен. Старик, видимо, и рассказал все подробности пропагандисту.

— Ну давай, Константин, рассказывай!— повторил Егор Николаевич.

— А чего рассказывать?

— Все, как было.

— Да всем известно!

Токарь Калинин внимательно смотрел на Костю, поблескивая очками.

— Кто придумал?— допытывался пропагандист.

— Ну, я.

— Безобразие!

— Так ведь мастер сволочь!— растерялся Костя.

— Что же из того?

— А сволочей учить надо!

Добрые глаза слесаря Васильева вдруг стали злыми и колючими.

— Учить? Мешок на голову и в тачку? А если это не поможет, тогда как? Финку в бок?

— Финку не финку, а выкупать бы его в Черной речке следовало. Он бы живо поумнел!

Все рассмеялись, представив мастера вылезающим

из грязной воды. Даже у Гордеича дрогнул уголок рта. Михаил заметил, как заходили желваки на скулах Егора Николаевича. Пропагандист хотел что-то сказать, но токарь решительно поднялся и заговорил:

— Вот молодец! Тебе бы надо медиком быть. Доктора́ сейчас водолечением занимаются. Говорят, помогает. И электричеством еще лечат. Зачем его в Черную речку? Вы бы через него ток высокого напряжения пропустили!..

Не все сразу поняли, говорит токарь серьезно или шутит. Но он, видимо, не шутил.

— Товарищ Васильев прав, это не просто безобразие, хулиганская выходка для нашего времени. Правда, когда-то таким путем рабочие боролись с «наушниками», мастерами и инженерами. Мода была: мешок на голову, в тачку — и за ворота. При мне однажды случай был, когда я поступил учеником. Считалось в порядке вещей. Но жизнь-то вперед идет! Рабочий класс вырос, он уже может по-другому бороться. Вот как ново-лесснеровцы борются. Если на вашем заводе,— токарь повернулся к Косте,— мастер просто сволочь, то на «Новом Лесснере» оказался убийцей. Невинного рабочего до петли довел. Кажется, чего проще: «темную» устроить и на тот свет мерзавца отправить. А ведь его пальцем никто не тронул! Но все рабочие, как один, забастовали. И обратите внимание, только одно требование предъявили: выгнать Лауля! Вопрос не о прибавке заработка стоит, а о честном имени рабочего. Вот почему весь пролетарский Питер следит сейчас за «Новым Лесснером», а пожертвования в помощь забастовщикам идут со всей России. Сейчас рабочий класс должен бороться не тачками, а стачками! Наша партия решительно запрещает такие выходки, которые имеют место на заводе Вегмана.

Михаил видел: Костя слушал токаря и кусал губы.

— Понятно теперь, что ты натворил?— спросил Егор Николаевич.— Сознательный рабочий!

— Конечно! Чего тут не понимать.

Когда уходили с собрания, токарь, видимо, хотел поговорить по дороге с Костей наедине, но тот дернул Михаила за рукав:

— Пойдем! Ну его к лешему. Этому очкарику в начальной школе только учить ребятишек хорошему поведению.

Михаил попытался возразить, но почувствовал: в

Костиной груди все кипит от обиды. Лучше с ним сейчас не спорить. А Михаилу понравилась речь токаря, человек говорил правильно. Желая отвлечь товарища, он заговорил о Гране — от нее давно не было писем.

— А на кой ляд она тебе сдалась?

— Нравится. Красивая.

— И чего там красивого? Тощая, востроносая.

— У нее глаза синие.

— У всех белобрысых глаза синие.

— Положим, не у всех!

— А ну ее к черту!— с сердцем сказал Костя.

Приятели шли молча. Костя все обдумывал слова айвазовского токаря и старался понять, что же он сделал ужасного и позорного, если вывез на тачке хозяйского холуя, притеснявшего рабочих, а Михаил переживал обиду. Ему не понравилось, что самый близкий товарищ так оскорбительно говорил о Гране: белобрысая, тощая, востроносая!— и, наконец, послал ее к черту.

Он понимал, что Костя тяжело переживает головомойку, которую ему устроили в кружке, но при чем же тут Граня? Чувствуя, как пересыхает у него горло, Михаил сказал:

— Мы с тобой товарищи, поэтому ты не смей так говорить о девушке, которую я... может быть... люблю.

Костя даже остановился.

— Мишка! Влюбился! Ладно, пусть будет по-твоему... Согласен! Красивее даже Веры Холодной!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

После второго свидания, когда Граня подарила Михаилу кольцо с камушком, он ее больше не видел. Ни на одно письмо до востребования она не откликнулась. Это было непонятно. Каждое воскресенье Михаил приезжал в город и караулил ее у дома, до которого провожал девушку два раза. Он изучил проходной двор, все дома в нем. Даже дворник не мог сказать ему, где проживает надворный советник Касаткин.

Михаил написал несколько стихотворений о Гране, из них он отобрал только три, самых лучших, как ему показалось, и повез показать Самойловой в «Правду». Она прочитала и забраковала.

— Пишите лучше о труде!— сказала Конкордия Ни-

колаевна, возвращая ему стихи.— Это не для нашей газеты. И вообще они слабовато написаны. Поговорите с Ерошиным, он вам лучше меня объяснит, чего в них не хватает.

Михаил ушел из редакции. Он не стал разыскивать Ерошина, а поехал домой, совсем убитый неудачей. Анна Петровна заметила плохое настроение сына и не стала ни о чем расспрашивать. Вечером пришел Костя. Михаил скрыл от него, что после работы ездил в «Правду».

— Куда тебя черти носят? Я к тебе два раза приходил. Пойдем, дело есть.

Они вышли на улицу. Костя достал из кармана синий конверт и помахал перед носом Михаила:

— Пляши!

— Письмо?!

— Говорю, пляши. Иначе не отдам.

Костя помучил товарища и отдал письмо, когда подошли к ближайшей скамейке.

— Сегодня пришло. Объявилась твоя стенографистка.

Адрес на конверте был написан не Граниной рукой. Михаил разорвал его и вынул листок почтовой бумаги. Он читал, плохо понимая смысл написанного:

> «Миша, вам пишет ваш друг. Если вы любите Граню, надо ее спасти. В воскресенье после обеда, ровно в два часа, приходите на Лиговку, дом номер 63, во дворе налево, квартира 34. Про это письмо пусть знают только два человека — вы да я.
>
> *Ваш доброжелатель».*

Михаил нерешительно протянул письмо товарищу:

— Прочитай!

Таинственность анонимки насторожила и заинтересовала Костю. Он прочитал, повертел в руках листок и решил:

— Подруга твоей стенографистки настрочила, не иначе. Кому она могла адрес дать? Только самой близкой девчонке. Тут не надо Натом Пинкертоном быть, чтобы догадаться.

— Рая?

— Может быть, и она. Пойдешь?

— Надо пойти.

— Хочешь, я компанию составлю?

На другой день друзья собрались в дорогу. Михаил принарядился, надел рубашку «апаш» и новый летний

костюм. Анна Петровна незаметно любовалась сыном, когда он прихорашивался перед зеркалом. А сердце билось неспокойно: на свидание едет, не иначе. Не зря утром в парикмахерскую бегал, а ботинки уже два раза чистил.

— Назад скоро придешь?

— Скоро. Вечером.

— Ну иди, иди! Погуляй. С Костькой, конечно, собрались.

— Ясное дело.

Михаил зашел за товарищем. Костя с папиросой в зубах поджидал его на скамеечке у ворот. У трамвайной остановки он деловито поинтересовался:

— Захватил с собой что-нибудь?

— Что?— не понял Михаил.

Костя вынул из кармана кастет.

— А зачем он?

— На всякий случай! Если спасать придется. Это надежнее, чем кулак. Лиговка! Сам знаешь, улица какая... Там ребята — ежики, в кармане носят ножики!

Они приехали раньше срока. Как обычно в воскресные дни, на Лиговке было многолюдно.

Погуляв по бульвару, чтобы убить время, ровно в два часа подошли к указанному в письме дому и через длинный темный проезд вошли во двор. Тридцать четвертая квартира находилась в подвале, по соседству с помойкой. Михаил остановился в недоумении.

— Может, вдвоем пойдем?— нерешительно сказал он, предчувствуя недоброе.

По смущенному лицу товарища Костя понял: Михаил боится. Особой смелостью он никогда не отличался.

— Как хочешь. Идем.

Спустившись по грязной, загаженной лестнице, они остановились перед дверью, обитой рваной рогожей. Над квартирным номером приколочен был вырезанный из белого картона силуэт сапога.

За дверью слышались визгливые голоса. Костя осторожно постучал.

— Не слышат,— Михаила охватила противная дрожь.

Костя забарабанил изо всей силы. Кто-то подошел и крикнул:

— Не работает сегодня! Завтра приноси!

Михаил дернул дверь, она оказалась не на крючке.

Они вошли в большую комнату с очень низким скошенным потолком и голыми стенами. Должно быть, здесь жили нищие — мебели почти никакой не было. В крохотные окна проникал скудный дневной свет. Посередине комнаты стоял стол без скатерти, заставленный тарелками и бутылками. За ним сидели двое пожилых мужчин, старуха, молодая, сильно напудренная с накрашенными губами женщина и... Граня. Увидев Михаила, она побледнела, вскочила и вихрем промчалась мимо к открытой двери.

— Куда, Грунька?— закричала ей вслед полупьяная растрепанная старуха.— Вернись, стерва!

Михаил растерянно оглядывался. Он ничего не понимал. Почему сюда попала Граня и почему эта гнусная ведьма называет ее Грунькой?..

— Вам чего надо, позвольте вас спросить?— из-за стола, шатаясь, поднялся невысокий взлохмаченный человек в драной рубахе без пояса и, грозно сверкая глазами, приблизился к незваным гостям.

— Наше вам, папаша! Сорок с кисточкой!— сказал Костя, но не отступил ни на шаг.

— Я тебе не папаша. Я сапожник. Сегодня не работаю. Гуляю!

Пьяная старуха отстранила его и заговорила заплетающимся языком:

— Ничего, ничего... Милок! У вас починка? Завтра приходите. Сегодня у нас смотрины. Дочку замуж выдаем. Убежала, непутевая!

У Михаила закружилась голова. Он хотел немедленно выбежать на улицу, но Костя весело подмигнул:

— Ловко! Попали на смотрины. Угадали в точку. А где женишок?

— Вон сидит... Петр Лукич... Чайная своя... Человек самостоятельный...

Михаил разглядел коренастого широкоплечего мужчину с двойным подбородком и короткими, будто обрубленными пальцами. Он был под сильным градусом, но гордо держал подстриженную ежиком голову. Добродушное широкое лицо его лоснилось от пота.

— Налей им по стакану!— подобрел вдруг сапожник и протянул Петру Лукичу сороковку.

— И то верно!— обрадовалась старуха.— Зачем обижать? Пожалуйте к столу. Лизка, дай табуретку.

Молодая женщина с напудренным лицом, похожая на Граню, поставила табуретку Михаилу. Костя сел на-

против на пустой стул, на котором сидела только что убежавшая Граня.

Петр Лукич налил доверху два стакана, а старуха пододвинула селедку, щедро политую подсолнечным маслом и посыпанную луком.

— Выпивайте, выпивайте! Лизка, ты бы Груньку разыскала.

— Не пойду!— мрачно ответила молодая женщина.

Михаил уже все понял. Отец Грани — самый обыкновенный сапожник, грязная растрепанная старуха — ее мать, напудренная молодая женщина — сестра. Зачем же она выдала нищего сапожника за богатого чиновника, «надворного советника»? И сама она никогда в гимназии не училась и сейчас на курсах стенографии не учится. Все это ложь. А он, дурак, верил каждому ее слову и гордился знакомством с благородной, образованной барышней.

— Ну, давайте, давайте,— ласково поторапливала старуха.— Водка остынуть может!

Михаил взял стакан.

— За жениха и невесту... Где ее черт носит? Ты бы разыскала, Лизка...

Но Лиза, не спускавшая глаз с руки Михаила, вдруг воскликнула:

— Мое кольцо! Мое! Вы — Миша!

— Ладно тебе!— рассердилась мать.— Сестренка замуж выходит, а ты — Миша! Дура! Понятие иметь надо!

— Врешь! Вовсе не замуж... Продаете вы ее. Чего врать-то? У него жена есть... Убогая... В полюбовницы берет!

— Замолчи!

— Не буду молчать! Это очень хорошо, что вы пришли, Миша... Я все знаю. Она вас любит. Вы хороший. А этот... Одну жену уморил...

Лиза неожиданно извернулась и плеснула из стакана в лицо жениху. Добродушный Петр Лукич побагровел. Вытираясь носовым платком, он глухим голосом крикнул:

— Это как же прикажете понимать, Алексей Трофимович? Я никому не навязывался. Вы сами, Ольга Семеновна, ко мне пришли с предложением. Я думал, порядочные люди. Пять рублей дал задатку...

— Интересная свадьба!— Костя оскалил зубы.

— А вы чего смеетесь!— сапожник грозно сдвинул

брови.— Вас, как людей, хотели угостить по-хорошему, а вы начинаете изголяться. Вон, чтоб духу вашего не было!

— Не уходите!— отчаянно завизжала Лиза.

— А ты заткни рот!— мать старалась перекричать дочку.

— Не буду молчать! В полицию пойду...

Сапожник потемнел:

— Погоди, я ее сейчас шпандырем наверну!

Шатаясь, он двинулся к своему верстаку, стоявшему в углу.

Но Костя вскочил и преградил дорогу:

— Папаша! Рукам волю не давайте, по крайней мере в моем присутствии.

— А ты кто такой здесь?

— Кто бы ни был, а драться не нужно.

Петр Лукич с решительным видом вышел из-за стола:

— Молодые люди, давайте по-хорошему. На улице воздух чистый, солнышко!

— Не уходите!— умоляюще простонала Лиза.

Мать ласково сказала, хватая жениха за рукав:

— Петр Лукич, выбросьте их за дверь. Христом-богом прошу! Люди не понимают, когда по-хорошему просят.

Петр Лукич, не торопясь, скинул двубортный пиджак и повесил его на спинку стула. Сжав кулаки и чуть склонив голову, он с угрожающим видом пошел на Костю.

— Уходи, щенок!

Костя тоже вобрал голову в плечи и приготовился отразить нападение. Но он опоздал. Сильным ударом Петр Лукич сшиб его с ног. Михаил кинулся на выручку и в ту же секунду отлетел в другой угол. Костя поднялся и снова упал, сраженный вторым ударом. Петр Лукич, несмотря на тучность, был ловок и поворотлив. Костя никак не мог вытащить из кармана кастет. А вся надежда оставалась только на него. Он увидел, как Петр Лукич поднял Михаила, словно котенка, за шиворот и выбросил за дверь.

Сапожник с женой прижались в углу и молча наблюдали за дракой. Их симпатии были на стороне жениха. Глаза Лизы беспокойно бегали. Она уже держала наготове бутылку и примеривалась стукнуть Петра Лукича по затылку.

— Бей!— вдруг взвизгнула она и ударила.

Жених зашатался. Этим моментом и воспользовался Костя, успевший вооружиться кастетом. Он нанес короткий прямой удар в лицо. Петр Лукич грузно рухнул на пол. В комнате сразу стало тихо. Никто не заметил, как вошел Михаил, прикрывая ладонью глаз.

— Господи, помилуй! Святая богородица... Убили!— всхлипнула мать, с ужасом глядя на упавшего Петра Лукича.

Костя побледнел и опустился на стул. Голова у него гудела. Он ощупывал челюсть и зубы.

— Уходите! Скорей!— шепнула Лиза.— Я все на себя возьму.

— Нет, подождите!— запротестовал сапожник.— Я в ответе быть не желаю. Квартира моя...

Но Костя, не обращая внимания, опустился на колени возле жениха и приложил ухо к груди. Сердце билось.

— Живой! Ну и буйвол!— с оттенком изумления в голосе воскликнул он.— Кажется, шею мне повредил. Повернуть не могу.

Михаил вздохнул облегченно. А когда Петр Лукич застонал, он обрадовался: не убили... Слава богу...

— Курите, кавалер!— предложила Лиза, раскрывая перед Костей коробку «Кадо».

— Сполоснуть его надо,— посоветовал Костя.— Еще кто-нибудь забредет.

— Сам умоется!— ответила Лиза.— Не хочу о такую гадину руки марать.

Михаил ощупывал синяки, особенно беспокоил его заплывающий правый глаз. Он думал об одном: как бы скорее уйти. Ни одной минуты ему не хотелось оставаться в грязном подвале «надворного советника». Он искоса смотрел на Лизу. Хороша жена морского офицера! Бежать, скорей бежать!

— Пойдем, Костя!— сказал Михаил.

— Боишься, как бы папаша не очухался? Еще прибавит шишек-банок? Резон! Пошли. Счастливо оставаться!

Лиза вышла с ними во двор. Прощаясь, задержала руку Михаила.

— Я про все знаю, Миша, и про пирожные, и про кольцо, и что вы стишки складываете. Грунька мне читала их. Я гулящая, это верно, а про нее дурного не думайте. Живем-то, видите как? Отец алкоголик, мать тоже. От такой жизни только в петлю...

От Лизы пахло водкой. Михаил слушал, стиснув зубы. Ему хотелось бежать без оглядки.

— Прощайте!— он брезгливо вырвал руку и быстро зашагал к воротам. Костя еле поспевал за ним.

Они вышли на Лиговку и увидели Раю возле ворот.

— Здравствуйте!— певуче протянула она.— Сколько лет, сколько зим! Как попали в наши края? Где были?

— В бане были, Раечка. С легким паром можете поздравить. Мишка, брось синяк прикрывать. Он тебе красоту придает.

— Дрались?— испуганно прошептала Рая.

— Объяснялись!— Костя скалил зубы.— Вот шею повернуть не могу. Кулак с полки упал.

— А Граню видели?

— Чуть-чуть!

— Это я писала вам письмо!— вдруг созналась Рая.

— Да что вы? А мы никак догадаться не могли!

— Пойдемте куда-нибудь, где народу нет. Я вам все расскажу.

— Пойдемте.

Рая шла рядом с Костей, сзади плелся Михаил, прикрывая ладонью безобразно запухший глаз. Девушка вывела их на Пушкинскую улицу в небольшой сквер, где стоял памятник поэту. Здесь нашлась свободная скамейка. Раечка села посередине между Костей и Михаилом. Она уже догадалась, чем кончились смотрины, и чувствовала себя виноватой.

— Иначе я поступить не могла,— оправдывалась девушка.— Семья у них ужасная. Отец — горький пьяница, мать еще почище. Видали, как живут? Лиза по ночам на Лиговку выходит. А Граня туфли для покойников шьет. На Александровский рынок. С утра до вечера сидит, а зарабатывает гроши. Она, конечно, стесняется такой жизни и скрывает от всех. Себя за благородную барышню выдает, а какое тут благородство,— одна юбка шерстяная приличная и кофточка маркизетовая. Да и те Лиза ей купила. Жакетка зимняя тоже Лизина. Она ей иногда поносить дает. Вы, может быть, мне не верите, а, ей-богу, правда. Я бы этого ничего вам не сказала, но вы все своими глазами видели. Девчонка она хорошая, но дурочка. Книжек много читала и себя этим испортила. Все ей хочется другую жизнь увидеть, богатую и благородную. А Петру Лукичу она приглянулась. У него жена душевнобольная... Не совсем сумасшедшая,

а тихопомешанная. Мать и договорилась за тридцать рублей Граню замуж отдать. А какое это замужество? Одна насмешка! Будет у него в чайной бесплатно работать. За харчи!

— Понятно,— сказал Костя.— По-научному это называется эксплуатация женского пролетариата!

— Вы на меня не сердитесь!— продолжала Раечка.— Я когда письмо посылала, знала: Миша придет, и скандал, конечно, получится большой. Но чтобы Петр Лукич стал так ужасно драться, этого я не ожидала. Я думала, он побоится лишнего свидетеля и убежит. У него чайная своя, люди его уважают. Ему скандалить интереса никакого нет. Он любит, чтобы все тихо было.

— Это хорошо,— одобрил Костя.— Значит, жаловаться не побежит. Мы ему фонарей тоже наставили.

— А с Граней разговаривали?

— Не пришлось. Она сразу тю-тю!

— Видно, у соседей спряталась. Переживает сейчас! Мы с ней давно дружим. Жили на одном дворе, когда маленькими были.

Михаил сидел подавленный и почти ничего не слышал из рассказа Раечки. ...Все случившееся ему казалось дурным сном. Ощупывая синяки на лице, он думал о матери. Как она встретит его в таком виде? Придется объяснять, где ему подбили глаз. Скорей бы ушла Раечка, при ней неудобно разговаривать с Костей. И чего она разболталась, как сорока! Неужели не понимает, что ему до Грани сейчас никакого дела нет. Она водила его за нос, как дурачка.

— Нам пора, Костя!— решительно сказал он.

— А куда спешить?

— Мне надо...

— Если надо, так топай. А мы с Раей еще посидим. Верно?

Девушка улыбнулась:

— Я не спешу.

— Сидите,— сказал Михаил и поднялся.

Он постоял в нерешительности минуту, попрощался и, прикрывая глаз, пошел из сквера.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Было стыдно возвращаться домой с изуродованным лицом. Мать потребует объяснений. Михаил пожалел, что не договорился с Костей, как лучше обмануть Анну Петровну. Да и не только ее, завтра на заводе и ребята будут допытываться. Придется «заболеть» и дня три на работу не выходить. Но что сказать дома?

Михаил дошел по Пушкинской улице до Невского и все же вернулся в сквер. Надо условиться с Костей, что говорить дома и на заводе. Но ни товарища, ни Раи он на скамейке не нашел, они успели уйти.

Домой он решил сразу не возвращаться. Лучше всего дойти пешком до Финляндского вокзала, сесть в поезд и проехать в Шувалово, на озеро. Там можно посидеть на берегу и прикладывать холодные компрессы к заплывшему глазу. Может быть, опухоль спадет. Говорят, это помогает.

Михаил так и сделал. Часа через два он уже шагал берегом озера в поисках безлюдного места.

Ему показалось, стало легче, когда он приложил к синяку носовой платок, смоченный в холодной воде.

По озеру скользили лодки, слышались женские голоса. Молодежь, приехавшая из Питера на лоно природы, веселилась. Гимназисты играли на поляне в футбол. Михаил одним глазом наблюдал, как взлетал, а затем стремительно падал мяч и как на него с охотничьим азартом набрасывалась ватага молодых игроков.

Все радовались погожему июньскому дню, яркому солнцу, чистому небу, а Михаил предавался горестным размышлениям. Он думал о Гране и о своей любви. Зачем она его обманула? Не все ли ему равно, кто ее отец и как она зарабатывает кусок хлеба? Придумала какого-то «надворного советника»! Будущая «стенографистка»! Дура набитая!

Михаил вспомнил, что в день знакомства он тоже представился ей чертежником. И он хорош, ничуть не умнее ее!

Закрыв глаза и лежа на спине, он перебирал в памяти свои встречи с Граней. Лиза сказала, что она его любит. Думать об этом было приятно. Он вздохнул. Нет, Граня — хорошая девчонка. Очень жаль, что она живет в такой семье. Сестра — проститутка. Хуже ничего быть не может.

Холодные компрессы принесли некоторое облегчение,

однако опухоль под глазом не уменьшалась. Болели шея и правое ухо, но все это казалось пустяком по сравнению с тем, что его ожидало дома. Чем позже он вернется, тем меньше останется у матери времени ругать его. Можно будет пораньше лечь спать, сославшись на головную боль.

Вернулся Михаил домой поздно, когда уже стемнело. Мать открыла дверь и, увидев изуродованное лицо сына, ужаснулась:

— Мишка! Кто это тебя так измордовал?

— Хулиганы.

— Господи, помилуй! Слепым сделать могли.

Михаил понял, что мать не видела Костю. Он почувствовал облегчение и рассказал историю о нападении четырех пьяных парней.

— А ну, дыхни!

— Пожалуйста!

Анна Петровна поверила: совсем трезвый.

— Примочку тебе, что ли, сделать? Аптека-то, поди, закрыта. Ничего сейчас не достанешь...

— Если закрыта, я с заднего крыльца, мама!

Не успела Анна Петровна рот раскрыть, как Михаил выскочил за дверь и, прыгая через две-три ступеньки, скатился по лестнице. Он бежал не в аптеку, а к Косте. Надо было договориться, какие хулиганы и где именно напали на них.

Костя во дворе при свете керосиновой лампы играл в подкидного дурака. Он передал свои карты одному из зрителей и подошел к товарищу. Вдвоем они сочинили трогательную историю стычки с хулиганами, придумав для большей достоверности некоторые подробности.

— Что же ты теперь думаешь делать?— Костя испытующе смотрел на своего друга.

Михаил помолчал.

— Спасать поехал, а сейчас на попятный? В кусты?

— Подумать надо. Конечно, ее жалко. Только она сама виновата.

— В чем?

— Придумала всякой ерунды... Курсы стенографии! «Надворный советник»! Насмешку какую-то устроила.

— Это к делу не относится!— строго произнес Костя.— Мне вон Рая сказала, она после всей этой истории может удавиться. Кто тогда виноват будет?

— Но я тут при чем?

— Ты стишки сочинял, голову ей задурил.

Михаил не знал, что ответить.

— Ведь она все-таки человек, а не кошка. Да и кошку зря мучить зачем?

Костя никогда так сердито не говорил с другом.

— Что же мне, на Лиговку ехать?

— Вообще говоря, надо. Но пока обожди. Рая обещала все разузнать.

Михаил шел домой, низко опустив голову. А что если Граня вправду, на самом деле...

На другой день в назначенное время Рая подъехала к заводу и дождалась Костю в условленном месте, на разъезде, где останавливалась конка. Сюда же подошел и Михаил. По встревоженным глазам девушки и ее взволнованному лицу он догадался: плохие вести.

— Граня пропала!— тихо сказала она испуганным голосом.— Как при вас убежала, так до сих пор и не возвращалась. Я вчера вечером к ним заходила и сегодня была перед тем, как к вам поехать.

— Где же она может быть?— хмуро спросил Костя.

— Прямо ума не приложу. Я заходила к соседям, с которыми она дружит, те тоже ничего не знают.

— А что родители говорят?

— Ничего. Пьяные оба. Они и не волнуются нисколько.

— А сестра?

— Лиза тоже ничего не знает.

На глазах Раи показались слезы. У Михаила защемило сердце: «Повесилась!»

Девушка торопилась. Договорились так: как Граня объявится, Рая немедленно приедет на Удельную и сообщит Косте.

Громыхая колесами и звеня колокольчиками, подошла к разъезду конка. Девушка поднялась на империал и, пока не подоспел встречный вагон, стояла у перил и грустными глазами смотрела на Михаила.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Шли дни за днями, а Рая не приезжала. Михаил мучился, был молчалив, после работы сидел дома. Однажды Костя зашел за ним, чтобы пойти на занятие кружка к Егору Николаевичу. Он отказался.

— Не пойду.
— Почему?
— Не хочу.

Даже Анна Петровна, недолюбливавшая Костю, забеспокоилась:

— Вы что, поругались?
— Нет.
— То водой не разольешь, только и бегал к нему. А теперь... Друзья-товарищи называется...

Михаил отмалчивался. После ужина он доставал бумагу, садился за стол и писал. Анна Петровна искоса наблюдала. Строчки были длинные, во всю ширину страницы: не стихи. Очень часто сын с ожесточением рвал написанное и садился на подоконник открытого окна. Лицо его было в эти минуты таким безрадостным, что мать в тревоге спрашивала:

— У тебя что болит?

Сын не отвечал. Анна Петровна думала: «Уж лучше бы с Костькой дружил».

Встретив случайно на улице Костю, она спросила:

— Ты что, с моим Мишкой повздорил, видать?
— А что нам с ним делить? Ничуть.

Анна Петровна стала искать тайный смысл в его словах и нашла. «Делить!» Парни молодые, одну девчонку полюбили, а делить как ее? Ни один уступить не хочет. Вот дурни! Впрочем, и умные в таком деле глупеют! Как бы греха не вышло. И чего это Мишка все пишет? Родной сын, единственный, а матери показать не хочет. В тайне держит. А раз в тайне, значит, что-то неладно! Недаром он прячет написанное под замок, нарочно приделал его к шкафчику. Замочек маленький, но не будешь же его ломать. Обидится!

Анна Петровна грешила на девчонку до тех пор, пока на имя сына не пришло письмо. Конверт был плохо заклеен, она его подержала над носиком чайника и легко распечатала. Письмо было непонятное. Редакция «Правды» приглашала Михаила на собрание поэтов в «Народный дом» Паниной на Лиговке в ближайшее воскресенье к двум часам дня.

Вот, оказывается, в чем дело! В первую минуту она испытала чувство гордости за сына, а потом легкая тревога вошла в ее сердце. За последнее время забирают по ночам айвазовских рабочих и — на выселок. Дворник из соседнего дома объяснил: все это за «Правду».

Анна Петровна аккуратно заклеила конверт и поло-

жила на комод. Вечером Михаил прочитал письмо и обрадовался. Показал его матери с нескрываемой гордостью.

— А почему они тебя зовут? Ты же литейщик.

— Раз пишу стихи, значит, поэт!

В этот вечер после ужина Михаил пошел к Косте и показал товарищу письмо.

— Поедешь, конечно?

— Обязательно.

Потом они поговорили о Гране. Костя уверенно сказал: ничего страшного с ней не произошло. Если бы она кончила жизнь самоубийством, Рая обязательно узнала бы и приехала. Михаил почувствовал душевное облегчение. Конечно, это так! Он ухватился за догадку товарища. Граня жива, но где-то прячется от родных и от Петра Лукича.

В воскресенье после обеда Михаил поехал в город. Поплутав за Лиговкой в грязных кварталах, он нашел на Прилукской улице «Народный дом» графини Паниной. Большое двухэтажное здание, по высоте ничуть не уступавшее соседнему четырехэтажному дому, привлекало глаза прохожих простотой архитектурной отделки. Вывешенные у входа афиши извещали о лекции профессора Водовозова и о предстоящем спектакле Передвижного театра П. Гайдебурова и Н. Скарской, приготовивших пьесу Ибсена для показа рабочим зрителям.

Михаил открыл тяжелую дверь и вошел в светлый вестибюль. Здесь он увидел Ивана Ерошина без обычного зеленого сундучка за спиной. На поэте топорщилась новая розовая косоворотка с голубыми стеклянными пуговицами, похожими на леденцы.

— А я тебя здесь караулю!— поймал его за рукав Ерошин.— Знал, придешь. Дяде Косте твой адрес дал. Пойдем в буфет, там наши помаленьку собираются.

Но пока они дошли до буфета, Ерошин успел познакомить Михаила с двумя поэтами — с Машировым и Одинцовым.

Они заняли свободный столик.

— Стихи пишет!— сказал Ерошин, кивая на Михаила.— «Правда» поместила его большую корреспонденцию с завода. Рассказ он сочиняет... Не только поэт, но и прозаик.

Узнав, что Михаил живет далеко, в Удельной, Одинцов покачал головой:

— Сюда добираться из Удельной трудно. Тебе лучше записаться в Сампсониевское общество, на Выборгской стороне...

Но Маширов решительно запротестовал:

— Наш Лиговский дом — это народный университет! Второго такого во всей России не сыщешь!

И он принялся с жаром рассказывать Михаилу о «Народном доме».

Ровно три месяца назад Лиговский дом, построенный и оборудованный графиней Паниной, торжественно отпраздновал свой десятилетний юбилей. Маширов во время празднества выступал с приветствием от имени учащихся вечерних классов. Он произнес речь, написанную белыми стихами, в которых сравнивал «Народный дом» со «светлым кораблем, развернувшим белые мощные паруса... Впереди была вечная цель, вечное плавание!.. Но куда же, к каким берегам направил свой бег светлый корабль?»

В первом ряду, окруженная малышами, сидела Софья Владимировна Панина, как всегда одетая монашенкой — в черное закрытое платье с высоким воротником. Это она снарядила в путь «светлый корабль», который за десять лет плавания недешево обошелся щедрому «кораблестроителю». Пассажиры насчитывались тысячами. Они посещали вечерние классы для взрослых, учебные мастерские для подростков, женскую вечернюю школу, детский сад, детский приют, народную столовую, театр, библиотеку, лекционный зал, даже обсерваторию, единственную в Петербурге. Все это стоило сотни тысяч рублей.

Слушая выступление Маширова, вряд ли подозревала либеральная графиня, «к каким берегам направил свой бег светлый корабль». Хотя Панина, конечно, понимала: в ее «вечерних классах», где собрана рабочая молодежь, растут социал-демократы, социалисты-революционеры, даже анархисты. Она боялась только всякой «нелегальщины».

Маширов посещал вечерние классы четыре года. Панина знала: он печатает стихи в «Правде» под псевдонимом Самобытника, замечала его неуемную жажду знаний и выделяла из среды учащихся как наиболее талантливого.

— Алексей Иванович, — говорила она доверительно, — меня совершенно не интересует, кто во что верует. Я способна уважать любое мнение, было бы оно только

искренним. Но от подполья всяческого — боже избавь! Наш дом нужен рабочим, их женам и, главное, детям. Если жандармы здесь найдут прокламации, дом могут закрыть.

— Не беспокойтесь, Софья Владимировна!

Маширов избегал смотреть в глаза Паниной. За кулисами театра он принимал нелегальных большевиков, приезжавших к нему по явкам из других городов. Об этом догадывался режиссер Передвижного театра Павел Павлович Гайдебуров, но виду не подавал..

Каждый день в лиговский «Народный дом» приходило двести детей, родители которых ютились в углах и подвалах. Панина в течение десяти лет бесплатно кормила их в своей детской столовой. Когда Маширов неожиданно увидел ее в переднике, помогавшей официанткам обслуживать детей, он остолбенел от изумления. Пролетарский поэт, слушавший лекции по политической экономии из уст марксистов, никак не мог понять Софью Владимировну. Он делил весь мир на два класса: эксплуататоров и эксплуатируемых. То, что капиталисты угнетают рабочих, заставляют работать их по одиннадцать часов, было ему понятно,— такова природа капитализма. Но почему миллионерша учит рабочих — он никак не мог взять в толк. С одной стороны, графиня была врагом рабочего класса, с другой — всячески помогала пролетариям духовно расти, привлекая на лекции профессоров-марксистов. Вся ее деятельность плохо укладывалась в голове бывшего рабочего, с десятилетнего возраста испытавшего каторжный труд на фабрике.

Один студент-марксист попытался ему объяснить:

— Русская буржуазия заинтересована в создании крупной отечественной промышленности. Заводчикам и фабрикантам необходимы квалифицированные рабочие, умеющие самостоятельно разобраться в чертежах и делать расчеты. А для этого требуется грамота и общее развитие. Вот она и создала вечерние курсы.

— Но у Паниной своего завода нет.

— Это не важно. Все равно она сознательно или бессознательно защищает интересы своего класса. Вообще говоря, такие люди, как добренькая графиня Панина,— явление крайне вредное. Ее филантропия в конечном итоге путает все карты последовательным марксистам и приносит только вред для правильного развития классовой борьбы. Мир должен быть четко разделен на две

половины: угнетенных и угнетателей, на рабочий класс и буржуазию.

Туманное объяснение студента все же насторожило Маширова.

...Рассказывая Михаилу о лиговском «Народном доме», он старался не упоминать имени его создательницы.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

В буфете «Народного дома» уже понемногу собирались рабочие поэты. Ерошин показывал Михаилу своих друзей и знакомых за соседними столиками. Вон сидят Иван Логинов с Ильей Садофьевым и о чем-то спорят. Говорят они тихо, но спор идет горячий. Логинов приехал в Питер восемь лет назад, как раз в разгар революции. Тогда он ходил с «точилкой» по дворам, точил ножи, ножницы, правил бритвы. Теперь работает слесарем на Обуховском заводе, аккуратно посещает вечерние классы. А Илья Садофьев служил дворником, сейчас он хороший фрезеровщик. В «Правде» стихи печатает под именем Аксень-Ачкасова. Что означает этот чудной псевдоним, Ерошин не смог объяснить. А вон за тем столиком, около окна, сидит поэт Владимир Кириллов. Мальчишкой он работал в сапожной мастерской, плавал юнгой на корабле Черноморского флота, матросом объездил все моря и океаны, в Америке был, в Африке, в Турции, в Италии, Франции. Поглядел человек белый свет.

Михаил вспомнил, как он в детстве, начитавшись романов Фенимора Купера и Майн Рида об индейцах, неудачно бегал с Васькой-гимназистом в Америку. Не надо было путаться с глупым гимназистом! Зависть кольнула его сердце. Не подозревал он по наивности, сколько голода и лишений хлебнул Кириллов, скитаясь на чужбине.

В буфете неожиданно появилась в обществе молодой женщины Конкордия Николаевна Самойлова — ответственный секретарь «Правды».

Кто-то предложил подождать Демьяна Бедного. Михаил обрадовался: ему очень хотелось увидеть популярного баснописца, чьими фельетонами восхищались читатели «Правды». Но Бедный не пришел. Вместо него в буфете появился лесновский пропагандист Егор Нико-

лаевич. Он деловито поздоровался с Машировым и Конкордией Николаевной. Ерошин его видел впервые. Потом подошел поэт Михаил Артамонов, его стихи часто печатались в «Правде».

В другую комнату переходить не имело смысла, народу пришло меньше, чем ожидали устроители. Решили остаться в буфете и закрыли дверь. Конкордия Николаевна постучала карандашом по графину и открыла собрание. Рабочие поэты пересели за столики поближе к оратору.

— Наши читатели ищут обычно в «Правде» прежде всего стихи,—заговорила Самойлова.— Особым успехом пользуются басни Демьяна Бедного. Такое читательское отношение обязывает поэтов отнестись к своей творческой работе с большим вниманием. Мы, разумеется, поправим у начинающего автора неудачную строчку. Но сейчас уже определились довольно сильные поэты, которые в такой помощи не нуждаются Они даже сами могут помочь менее опытным добрыми советами...

Михаил с жадным вниманием слушал Самойлову. Он ждал, вот сейчас она начнет излагать правила стихосложения, и даже приготовил карандаш и записную книжку.

Конкордия Николаевна продолжала:

— Мы стараемся помещать самые лучшие стихи, но, к сожалению, часто к нам поступают такие плохие, что их приходится бросать в корзину. Вот вчера один из наших поэтов прислал стихотворение «Трамвай». В нем рассказывается, как человек хотел вскочить на подножку и угодил под колеса вагона. Я запомнила только две строчки:

Он руками зацепился,
А ногами не попал...

Поэты весело рассмеялись.

Самойлова умела говорить в любой аудитории, ее везде слушали с интересом.

— И на таком уровне написано все стихотворение. Я спрашиваю, товарищи: разве это стихи?

— Чепуха!—крикнул с места Ерошин.

— Вероятно, автор обидится, что мы их не напечатаем. Но было бы куда хуже, появись такие стихи в газете. Свои же товарищи на смех бы подняли. И еще запомните: в первую очередь мы даем место произведе-

ниям, которые по своей тематике ближе всего подходят к идейному направлению нашей газеты...

— А если «Правда» стихи не берет, можно их в «Луч» отнести?— раздался голос из левого угла. — Это ведь тоже рабочая газета.

Конкордия Николаевна укоризненно покачала головой.

— Мне очень грустно слышать такой вопрос на собрании рабочих-литераторов. Товарищ, задавший его, видимо, не особенно внимательно читает «Правду». «Луч» — газета меньшевиков, с ними мы ведем борьбу на страницах «Правды», защищая марксизм от нападок ликвидаторов. Но если об этом уже зашел разговор, я укажу на печальные факты. Есть поэты, согласные печататься одновременно в трех газетах. Один товарищ мне объяснил: «Луч» платит за строчку дороже, чем «Правда». Я не хотела этому поверить, но вот вы,— она повернула лицо в левый угол, где одиноко сидел юноша и грыз ногти,— поместили свои стихи в «Луче». Почему?

— Я — поэт, товарищ Самойлова, и где хочу, там печатаюсь!— поднялся молодой человек с бледным лицом и жидкими курчавыми волосами.

Все посмотрели на него неодобрительно, а сидевшая позади Михаила худенькая женщина невысокого роста с гладко зачесанными на пробор волосами встала и, глядя в упор на молодого поэта, медленно произнесла:

— Выходит, за строчки продаете свою совесть! Вам что же, не известно, что газета «Луч» — это буржуазная содержанка? Она издается на деньги буржуев! Где же ваше пролетарское достоинство, если вы себя считаете рабочим поэтом?

Худенькая женщина села. Многих покоробила ее резкость, а Конкордия Николаевна сказала:

— Товарищ Слуцкая права, и, я надеюсь, наши поэты подумают над ее словами, совершенно справедливыми по существу.

Самойлова еще что-то хотела прибавить, но вскочил с места Иван Ерошин и заговорил, размахивая руками, словно боясь, что его прервут:

— Товарищи, нас, пролетарских поэтов, собрали в первый раз. Для чего? Чтоб говорить, как прекрасна поэзия и как нужна она рабочему люду!.. Но о чем мы здесь толкуем? О строчках! Я только недавно узнал, что на свете ямб существует, что рифмы бывают хорошими

и плохими. Я даже понятия не имел, что за строчку деньги платят. Теперь о марксизме. Первое мое стихотворение «Правда» напечатала, и я ей благодарен. Зачем же я побегу со стихами в другую редакцию, к ликвидаторам? Это все равно, если бы, скажем, певчий из православной церкви побежал петь в католический костел или в синагогу. Раз мы «правдисты», значит, все! Должны держаться одной линии и стараться писать стихи настоящие. Чтобы они трогали душу! Рабочих людей на борьбу звали!

Глаза поэта блестели, губы дрожали. Михаил впервые видел таким Ерошина.

Потом говорили другие поэты. Михаил слушал, но не все понимал: иногда звучали непонятные слова, имена писателей, которых он совсем не знал. Он чувствовал, что попал в другой мир, хотя кругом были такие же рабочие, как он сам.

Когда закончилось собрание, Михаил хотел подойти к Егору Николаевичу, но тот вполголоса разговаривал в сторонке с Верой Слуцкой на иностранном языке. Михаил не знал, что они встречались в Париже, где слесарь Васильев работал на заводах Рено.

Поэты стали расходиться. Михаил решил дождаться Ерошина у выхода. Тот спускался с лестницы вместе с поэтом Михаилом Артамоновым и дядей Костей — так звали Константина Степановича Еремеева, заведующего отделом рабочей хроники в «Правде». На собрание он пришел с опозданием и Михаил его не заметил.

Вчетвером они вышли на Лиговку и остановились в раздумье. Было жарко, и Артамонов предложил зайти в пивную. Еремеев задумчиво посмотрел на часы, прикинул что-то и не отказался. Михаил стал прощаться. У него не было денег, но Ерошин взял его под руку и, незаметно показав глазами на дядю Костю, курившего трубку, шепнул:

— Пойдем с нами! В «Капернаум»!

В трактире было много публики, но Михаила Артамонова хорошо знали. Услужливый официант нашел свободный столик и быстро выполнил заказ — принес дюжину бутылок холодного пива.

Выступления в «Народном доме» Веры Слуцкой и Конкордии Николаевны, видимо, сильно взволновали Ерошина. Он и в пивной продолжал возмущаться непристойным поведением молодого поэта, который печатался

в «Правде» и в погоне за лишним пятаком поместил стихи в меньшевистском «Луче».

Михаил Артамонов молчал. Он зарабатывал кусок хлеба литературным трудом и не мог существовать на крайне скудный и неверный гонорар рабочей газеты. Ему приходилось печататься иногда и в бульварных изданиях. Все знали об этом, но его не осуждали. Для «Правды» он был ценным работником, писал не только стихи. Дядя Костя с ним дружил и покровительствовал ему.

Артамонов налил Михаилу пива и сказал дружески:

— Пейте, товарищ!

В прохладном трактире было приятно сидеть, а еще приятнее — слушать разговор новых друзей, с увлечением говоривших о стихах.

Неведомо откуда появился Лушников, как всегда опухший, заросший бородой, грязный. Он схватил стул и подставил к столу, где сидели поэты.

Не все из них знали, что старый журналист сейчас опустился, перестал писать, заделался постоянным зицредактором, Лушников был неразборчив в погоне за заработком, не делал различия между либеральными изданиями и черносотенными, но к рабочим поэтам почему-то льнул, и они его не сторонились,— любили слушать его необыкновенные рассказы.

— Здорово, пролетарские соловьи, трубадуры классовой борьбы!

Дядя Костя поежился и слегка отодвинулся. Он подозвал официанта, рассчитался за пиво и, кивнув на прощание, ушел.

— Налейте-ка, друзья... В этот стакан, неважно... Я не такой брезгливый, как он. Что у вас нового? Говорят, собрание было в доме Паниной?

Артамонов рассказал о выступлениях Веры Слуцкой и Конкордии Николаевны. Лушников возмутился:

— Вот чистоплюи принципиальные! Книжники и фарисеи! Им не газету издавать, а молитвенники для институток. Этого нельзя, того нельзя! Подумаешь, напечатал стишки в другой газете. Кошмар! Партийный принцип нарушил! В наше время на такую ерунду никто внимания не обращал. Где деньги платили, туда журналист и шел. Чехов в «Новом Времени» у Суворина печатался! И на всех плевал с высокого дерева. Да что Чехов! Я сам в двух газетах под разными именами сотрудничал. В либеральной и черносотенной. Такую полемику развел

сам с собой, дым шел! Самого себя ругал последними словами. И в обеих редакциях великолепно об этом знали. И никому в голову не приходило протестовать. Пиши на здоровье, раз читатель кушает. Многие журналисты даже завидовали... Такое придумать не всякий сумеет! Игра воображения должна быть!

Лушников долго шарил по карманам, разыскивая папиросы.

— Ну, кто даст закурить?.. Почему вы такую дрянь курите? Да, друзья, раньше в газете принципов не было, но зато журналист солидный вес имел. Боялись его — все одно как пристава. Почти во всех ресторанах нашему брату-репортеру семьдесят процентов скидки полагалось. Это, так сказать, законных. А вообще говоря, можно и совсем было не платить. Боялись газеты, трепетали перед ней. Помню, в Курске такой случай был со мной. Купец первой гильдии, гласный думы, облюбовал себе певичку в оперетте. Шуры-амуры, все как положено, но грешит сиволапый втихую, никто не знает. А я узнал. Первоклассный газетчик был, нюх — собачий! Хорошо. Прихожу в типографию номер выпускать, даю наборщику статейку набрать. Оттиск сделал... Набор, конечно, тут же рассыпал, а с оттиском к купцу прямо на квартиру. Посылаю визитную карточку. Принял немедленно. Даю ему статейку набранную: полюбопытствуйте, дескать, вот что завтра в номере появится. Читает и трясется. Три «катеньки» из бумажника тут же выложил. Смотрит на меня умоляющими глазами. Руки дрожат... «Устройте, ради всего святого, чтобы не появилось!» Струсил ужасно. Ему в тот момент любой скандал опасен был: он жену недавно похоронил и жениться выгодно собирался. Я с гордым видом денежки обратно: «Позвольте! Как вы смеете!» А он чуть не на колени готов упасть. «Пощадите! Я никак не полагал!» Я ему внушительно басом: «Как же вы не знаете, что наш редактор менее пятисот не берет!»

С радостью добавил и даже просиял от восторга... Да, жизнь была! Чудесные нравы! Знаменитые журналисты рождались и процветали, а все потому, что не знали принципиального фарисейства.

Лушников помолчал и заключил:

— За папиросами надо сходить. Только ты мне, Артамонов, восемь копеек дай. Ни гроша в кармане нет.

Он нахлобучил кепку на лохматую голову и, сунув в карман деньги, исчез так же быстро, как и появился.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

В субботу вечером прибежал Костя и вызвал Михаила на улицу. За углом прогуливалась Рая в новом нарядном платье и широкополой соломенной шляпке. Девушка привезла весть о Гране.

— Ушла от родителей и не сказала, куда. Живет отдельно, снимает койку, а где — неизвестно. Работает на фабрике, а на какой, тоже никто не знает. Мне ее сестра Лиза рассказала. Она ей юбку послала и кофточку маркизетовую. Лиза ее один раз видела — худущая стала, прямо не узнать. А одета совсем плохо. И даже родной сестре никакого адреса не дала.

Рая рассказывала торопливо, лицо ее пылало от возбуждения. Михаил жадно слушал. Все страхи и сомнения, мучившие его последние дни, исчезли.

— Ну, в парк, что ли, пошли,— предложил Костя.— Чего здесь по переулку ходить, пыль глотать?

Михаил сначала согласился, но, посмотрев на нарядную Раю, понял: не ради него она надела новое платье, соломенную шляпу и взяла шелковый красивый зонтик, обшитый кружевами.

— Идите, я не могу,— отказался он, хотя ему и хотелось пойти с ними.— Провожу вас до шлагбаума.

Михаил подметил: оба они остались довольны его отказом.

Итак, Граня жива, ушла от родителей и работает на фабрике. Это было чудесно! Михаил понимал душевное состояние девушки: она не хочет ни с кем встречаться.

На другой день утром Михаил, ничего не сказав Косте, поехал в город. Он решил завернуть к Ерошину и посоветоваться с ним. Неподалеку от Сенной площади Михаил нашел дом и квартиру, где поэт вместе с товарищем снимал крохотную каморку.

Ерошин не ожидал столь раннего гостя и удивился:

— Что случилось, Миша?

— Дело есть.

— Рассказ сочинил новый?

Ерошин разговаривал, а сам одевался. Он понял: Михаил хочет поговорить с ним без посторонних.

— Ну, пошли!

Над столицей плыл веселый колокольный звон — в соборе шла обедня. Переулки, примыкавшие к Сенной площади, были запружены народом, в ларьках и на улицах

шла бойкая торговля. С трудом через шумную толпу проезжали извозчики.

— Куда же мы пойдем?

— Куда хочешь,— сказал Михаил.

— Тогда пойдем на Фонтанку. Там тише. Тут оглохнуть можно.

Михаил рассказал всю историю с Граней, ничего не утаив. Ерошин слушал внимательно.

— Вот ведь ненормальная!—покачал он головой.— Жениться думаешь?

— Сейчас я ничего не думаю. Мне ее просто жалко.

— Раз жалко, значит, любишь,—определил Ерошин.— У нас в деревне не говорят: он ее любит. Всегда скажут: он жалеет.

— Мне надо обязательно повидать ее сестру. А в квартиру я не хочу показываться. Может быть, ты зайдешь и вызовешь Лизу? Я к тебе ради этого и приехал. Помоги, пожалуйста.

Он умоляюще смотрел на Ерошина.

— Вызвать не трудно. Дело нехитрое. Когда ты хочешь?

— Да хоть сейчас! Ее утром легче найти.

— С ящиком идти сподручнее. Давай вернемся назад.

Ерошин повесил свой зеленый сундучок за спину, наполовину освободив его от флаконов, и они тронулись в путь. Михаил довел друга до дома, где жили Гранины родители, и рассказал, как разыскать квартиру сапожника.

— Я буду ждать тебя на той стороне!

Ерошин скрылся в воротах. Он зашел в первую попавшуюся квартиру. От его предложения «уморить всех крыс немедленно и навсегда» жильцы отказались. Он заглянул еще в две квартиры и направился в подвал к сапожнику. Дверь оказалась незапертой. «Надворный советник» не боялся жуликов: воровать у него было нечего. В большой полутемной комнате кто-то лежал, завернувшись в драное одеяло, а за лоханкой стояла босоногая, непричесанная, в грязной рваной кофте молодая женщина.

— Простите, вас зовут Лизой?— как можно вежливее и тише спросил поэт, скосив глаза на кровать.

— А тебе какое дело, как меня зовут?— женщина метнула злобный взгляд на непрошеного гостя.— Чего надо?

— У меня к вам дело есть!— совсем шепотом сказал Ерошин.

Заскрипела колченогая кровать, и раздался хриплый пьяный голос:

— Это что, нищий? Гони его к черту. Самим жрать нечего.

Ерошин показал глазами на дверь. Лиза поняла и огрызнулась в сторону кровати:

— Спи, пьяный черт!

Ерошин хотел, чтобы Лиза вышла за дверь, но она сказала вполголоса:

— Говори здесь. Пьяный. Ничего не слышит.

— Я от Михаила. Он хочет с вами поговорить.

— Где он?

— На улице ждет. На той стороне.

— Вы идите. Я живо. Приоденусь только.

Ерошин выскользнул за дверь.

Михаил терпеливо ждал, прогуливаясь на противоположном тротуаре и внимательно вглядываясь в каждого человека, выходившего из ворот.

Лиза не заставила себя долго ждать, прибежала взволнованная, схватила Михаила за руки:

— Здравствуйте, Миша. Я знала, вы обязательно придете! У меня душа изболелась за нее. Вначале думала —руки она на себя наложила. Ей-богу!

— Вы знаете, где она живет?

— Не хочу врать, знаю... Только она очень просила никому не говорить. Особенно вам. Я ей честное слово дала и побожилась.

— Где она работает?

— На «Треугольнике». Галошницей.

— Значит, вы не хотите, чтобы я с ней встретился?— Михаил пытливо смотрел на Лизу.

— Ой, что вы! Очень даже хочу. Я знаю, она вас любит, и вы ее любите. Обязательно вам надо увидеться. Только как? Я прямо не знаю.

— Без адреса я ее не найду.

— Это я понимаю.

Лиза долго колебалась и наконец назвала улицу, номер дома и квартиры.

— Рассердится она страшно,—сказала Лиза.— Ну, а потом простит. Она не злая.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

На Обводном канале Михаил разыскал квартиру, где жила Граня. На кухне черненькая девушка, разжигавшая керосинку, сказала ему, что она дома. Он попросил вызвать Граню, а сам вышел на площадку лестницы. Ждал очень долго. Выходили девушки, чистили жакетки и юбки, с любопытством разглядывали его и убегали. За дверью раздавались девичьи голоса и смех. Черненькая девушка вышла опять, лукаво улыбнулась.

— Сейчас придет. Долго она вас заставила ждать. Мы ее на веревке хотели вытащить.

Черненькая вернулась в квартиру, а через минуту, после шумной возни за дверью, на площадку лестницы вышла смущенная Граня.

Она была в простеньком платье из синего ситца белыми горошинками, гладко причесана на пробор. На бледном, сильно похудевшем лице выделялись веснушки. На прежнюю нарядную Граню она походила мало: была невзрачной, серенькой, и Михаилу даже показалось, что девушка стала ниже ростом.

— Зачем вы пришли? — спросила она злым голосом.— Я вас не звала.

— Надо поговорить.

— Уходите, Миша... Сейчас же уходите!

Граня повернулась, хотела уйти, но дверь оказалась закрытой на крючок. Она поняла: назад ее девушки не пустят.

— На смех меня подняли. Как вам не стыдно?

— Пойдемте!— сказал Михаил.

— Куда?

— Не стоять же здесь на лестнице!

Он схватил ее за руку и, сбегая по ступенькам, потащил за собой. Она не сопротивлялась. Только на предпоследней площадке попросила:

— Отпустите меня. Кто-то поднимается навстречу.

Михаил отпустил, и они, выйдя во двор, пошли мимо сложенных поленницами дров.

— Зачем вы пришли, Миша? — спросила Граня, и в голосе ее прозвучали слезы.— Мне стыдно. Неужели вы этого не понимаете?

Они дошли до ворот и остановились.

— Поедемте за город.

— Это куда же?

— В Шувалово. Там озеро хорошее.

Девушка задумчиво опустила глаза. Она разглядывала свои самодельные туфли. Для покойника они были слишком прочны, для молоденькой барышни, вышедшей на улицу, не особенно нарядны.

— Не знаю,— смущенно сказала Граня.

Но Михаил не хотел отступать. Он уговорил ее сесть в трамвай и довез до Финляндского вокзала. Дачные поезда шли переполненными, но они успели втиснуться на площадку и поехали в тамбуре. На бледных щеках девушки заиграл румянец, она снова стала похожа не прежнюю Граню.

Хотелось уйти подальше от людей! Но в этот воскресный день из Питера приехало в Шувалово столько гуляющих, что от вокзала они двигались сплошной толпой, как из ворот большого завода по окончании работы. Михаил попытался взять девушку под руку, как обычно при прежних встречах, но Граня уклонилась.

Выйдя к озеру, они стали бродить по берегу, смотрели на купающихся, ходили на кладбище, поднимались на гору Парнас. Отсюда в легкой голубоватой дымке был виден золотой купол Исаакиевского собора. К заходу солнца гуляющие потянулись на вокзал, и на озере стало просторнее и прохладнее. Граня не торопилась возвращаться.

— Я устала,— сказала она.— Хорошо бы посидеть.

И Михаил повел ее на то место, где два с лишним месяца назад лечил подбитый глаз. Здесь никого не было, они опустились на траву и стали смотреть на солнечный закат. Небо меняло свой цвет, и вода в озере становилась густой и темной. Граня сидела, обняв руками колени. Лицо ее снова поблекло, и Михаил заметил на глазах девушки блеснувшие слезинки.

— Миша!— сказала она тихо.— Что вы обо мне думаете?

— Думаю, что вы очень хорошая. Лучше всех.

— Это неправда, Миша. Я очень плохая и глупая,— она неожиданно повернулась:— Миша!— и схватив его руку, прижала к груди.

— Если бы вы только знали, Миша, какая у меня ужасная жизнь! Мне кажется, ни у кого такой не было. Отец — пьяница, мать — пьяница. Из-за них Лиза погибла. Меня к себе тетка взяла, пожалела. Добрая женщина, учить меня стала. Потом она умерла от холеры в один день. Утром в лавку за керосином ходила — ве-

чером в покойницкую отвезли. Пришлось мне к своим возвращаться. Вы видели, как мы живем. Надо было на работу идти. А куда? В горничные или официантки — стыдно, у меня все-таки пять классов, я грамотная. В оптический магазин к Мильку на Невском продавщица требовалась. Я пошла, а управляющий,— такой важный, цилиндр носит,— говорит: «Хорошо, я возьму, только мы с вами завтра в баню сходим».— «А зачем в баню?—спрашиваю.—Я чистая». Он меня цыпленком назвал и засмеялся. Я пришла и Лизе рассказала. Она мне все объяснила и говорит: «Я бы показала ему баню! Плюнь в рожу и больше не ходи!» Вы знаете, Миша, какое несчастье для девчонки, если она нуждается. Я билась, билась, все на службу хотела поступить — и стала матери помогать шить туфли на покойников. Когда научилась, сама мать перестала шить и только ходила на Александровский рынок на толкучку продавать мою работу. Иногда продаст и всю выручку пропьет.

Граня достала носовой платок и стала вытирать слезы.

— От такой жизни впору повеситься. Меня только книги спасали. Читать я любила! И обязательно про красивую жизнь! Терпеть не могу книг, где про нищих и нужду написано. Мне отдохнуть хотелось и помечтать. Иную книжку прочитаю и, как во сне, себя графиней представлю. И никакого подвала нет, кажется, во дворце живу...

Она помолчала немного.

— Мне одна книга попалась, растрепанная, без начала и конца. Ужасно интересная. Про красивую девушку. Отец у нее — надворный советник, мать — важная барыня. Ее хотят выдать замуж за богатого старика, а она любит красивого молодого офицера. Потом она поступает на курсы стенографии. Стенография — очень трудная наука! Память нужно огромную иметь, там каждое слово — значок, а слов многие тысячи, и все значки в голове нужно держать. От этого она заболела чахоткой... Замечательная книга!

Граня вытерла слезы.

— Я даже плакала. Когда вы про моего отца спросили, я вам сказала — он надворный советник. И про себя сочинила. Вы поверили, Миша?

— Поверил.

— А когда узнала, что вы чертежник, всю ночь заснуть не могла. Поняла: я вам не пара...

— Да я никогда чертежником не был,— с трудом выдавил Михаил.

— Не были?! Как же это?— Граня растерянно и обрадованно смотрела на Михаила.— А я тогда подумала, уж лучше вы были бы простым рабочим. И решила с вами больше никогда не встречаться. Особенно когда стихи ваши прочитала. А тут мать пристала с ножом к горлу: выходи за Петра Лукича! Я согласилась, подумала: замуж выйду, значит, отрежу себя от вас навсегда. Про жену его я не знала тогда ничего.

Она проглотила слезы и вздохнула.

Михаил долго молчал.

Граня поежилась и предложила:

— Пойдемте, Миша. Холодно мне!

Михаил подал ей руку и притянул к себе. Он попытался ее обнять, но девушка воспротивилась:

— Не надо, Миша!

— Я же люблю вас.

— Вы любили стенографистку, а я сейчас галошница,— сурово сказала она.— Я много пережила за это время и много передумала. Люди должны быть честными, не надо себя обманывать и других. Книжки, Миша,— одно, а жизнь — другое. Если вы на меня не сердитесь, все у нас должно начаться сначала. Я теперь другая.

Молча они дошли до вокзала, думая каждый о своем. Через полчаса пришел поезд из Белоострова, они сели в вагон и поехали в Петербург.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Воспользовавшись отсутствием Черномазова, Конкордия Николаевна, чтобы никто не мешал, в его кабинете писала очередное письмо Ленину.

«14 августа 1913 года.

Газета наша, что называется, на ладан дышит и переживает какую-то агонию, но духом мы все же не падаем и сдаваться не думаем. Хотя газета ежедневно конфискуется, но все-таки расходится среди петербургских пролетариев в 21 и более тысячах; № 10 (не конфискованный) разошелся в количестве 36 000, № 11—35 500. Тираж, во всяком случае, не падает, и только конфискации сокращают его почти наполовину. Что касается

убытков, которые несет газета, то хотя они очень велики, но зато очень велики и пожертвования. Никогда еще рабочая газета не встречала такого сочувствия и материальной поддержки, как теперь.

Деньги и приветствия сыплются как из рога изобилия; бывает, что за один день, за какие-нибудь 2—3 часа приносят 240—300 рублей пожертвований. Сейчас я пишу Вам письмо, а тут все время приносят и приносят деньги. Такое отношение, естественно, вселяет в нас бодрость и готовность бороться во что бы то ни стало. Рабочие так свыклись и срослись с газетой, что она стала для них неотложной и необходимой потребностью, потеря газеты для них равносильна была бы самоубийству. Убытков благодаря пожертвованиям мы не терпим и существовать пока можем, а это только и требуется. До Думы как-нибудь протянем, а там и дальше надеемся существовать».

Заклеив конверт, Конкордия Николаевна вышла в редакционную, где в ожидании ответственного секретаря толпились авторы. Среди них находился и Михаил, он нарочно пережидал других, желая подойти последним, когда все уйдут. Самойлова давно подметила эту манеру молодых начинающих авторов: они предпочитали разговаривать о своей рукописи без посторонних.

Когда Конкордия Николаевна осталась одна, Михаил подошел к ее столу. Она дружелюбно улыбнулась ему, как старому знакомому.

— Ну, что принесли?

— Рассказ.

— Рассказ? Это хорошо

Михаил протянул рукопись. Конкордия Николаевна бегло полистала ее, посмотрела конец, потом снова вернулась к началу. Михаил с замиранием сердца следил за глазами Самойловой. Она прочитала рассказ за несколько минут.

— Неплохо. Напечатаем обязательно.

— Когда?— задохнулся от радости Михаил.

— Постараемся поскорее.

— Спасибо. До свиданья!

— Проза вам лучше удается,— сказала на прощание

Конкордия Николаевна, убирая рукопись в стол.— Приносите еще.

Конкордия Николаевна стала перечитывать рукопись и, по привычке, сразу начала править. Прикинув, сколько строк он займет в газете, она на первой страничке рассказа, в левом верхнем углу, написала: «*В набор*».

Будто на крыльях, спускался Михаил по лестнице к выходу. Он не обратил внимания на извозчика, стоявшего около парадного подъезда вместо роскошного лихача. Рассказ обещали напечатать! Значит, у него есть способности! Он может стать писателем. Стихи писать не надо, ну их совсем! Сколько он мучился, подыскивая рифмы... А рассказ написал легко, за один вчерашний вечер. Мать рассказала про бабку Степаниду. Внук ее попал в мастерской под машину и через день умер в больнице. И бабке сейчас плохо: мальчуган был ее единственным кормильцем. Степаниду Михаил видел, она торговала жареными семечками возле бани. Сидела на приступочке крыльца с маленькой корзинкой и на копейку насыпала доверху деревянную цветную чашечку. И внука ее Михаил знал — тихий мальчишка с задумчивыми глазами. С ребятами он не водился — бабка была строгая.

Вот про этого тихого мальчика и его строгую бабушку Михаил вчера вечером за один присест написал рассказ. А сегодня, закончив работу, отвез его в «Правду».

* * *

Черномазову не нравилось, что ответственный секретарь слишком много возится с рабочими поэтами. Сам он потихоньку писал стихи для себя и никому об этом не говорил. В них было много откровенной мистики. О стихах знала Вера Слуцкая, дружившая с детства с Мироном, а от нее узнала и Конкордия Николаевна. Черномазов был требователен к себе, и его раздражали неуклюжие стихотворные строчки малограмотных авторов.

— У нас газета, а не «Задушевное слово» — говорил он Самойловой, когда она давала ему лирические стихи.— Рабочих надо учить писать острые публицистические статейки, на этом надо их воспитывать, а не поощрять вульгарное стихоплетство.

Сам Черномазов писал для газеты очень хлесткие статьи. Выправляя попадавшие к нему рукописи, он всегда прибавлял «недостающую политическую остроту».

Раньше, до его появления в «Правде», все работники редакции заботились, как бы не проскользнула в газете излишне резкая фраза, из-за которой могли конфисковать номер. Из предосторожности они сами превращались в ревностных цензоров. Такая практика постепенно сделалась неписаным законом. Мирон Ефимович сначала придерживался общей линии, но, укрепив свое положение в газете, стал постепенно ее менять. На «Правду» посыпались конфискации и штрафы. С каждой неделей они увеличивались.

— Если будем слишком считаться с цензурой,— говорил он сотрудникам,— потеряем свое лицо большевистской газеты. Тогда рабочий не отличит «Правду» от кадетской «Современки».

Не все сотрудники соглашались с его мнением, но Конкордия Николаевна вместе с Еремеевым поддержали Мирона. Сегодня Самойлова, зная, с каким вниманием Владимир Ильич следит за материальным положением «Правды», в письме к нему написала успокоительные строчки о высоком тираже газеты и огромных пожертвованиях в «Железный фонд». Но где-то в душе рождалась тревога. Рано или поздно должен наступить день, когда расходы. вызванные конфискацией газеты, превысят поступления от рабочих взносов. И Конкордия Николаевна, отправив днем письмо Ленину, вечером решила поговорить с Черномазовым. Он выслушал ее опасения с рассеянным видом.

— А что делать? Снижать взятого тона, который вызывает конфискации, мы не будем. Мне известно мнение Цека по этому поводу.

Последний аргумент для Конкордии Николаевны был наиболее убедительным. Центральный Комитет и Ленин были для нее неотделимы, сливались воедино. И когда Мирон Ефимович с такой твердой уверенностью сослался на Цека, Конкордия Николаевна замолчала.

— Я знаю,— говорил Мирон Ефимович,— некоторые сотрудники не согласны со мною. Это их дело. Но наша партия тем и сильна, что никогда не отступает от основных принципов революционной борьбы. Мы — не меньшевики, не соглашатели, никаких уступок царской цензуре делать не станем. Принципиальная линия в газете меняться не будет. Принцип важнее убытков! «Правда» не преследует коммерческих целей, у нас другие задачи. Конфискации приносят больше пользы нашему делу,

чем вреда. Они открывают глаза читателям «Правды»— вот в каких тисках находится рабочая печать!

И Черномазов прочитал целую лекцию вкрадчивым, журчащим голосом.

Все, что он говорил, было совершенно правильно, возражать не приходилось. Но Конкордию Николаевну не убедили до конца слова Мирона Ефимовича.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Поезд шел в Россию. Бадаев снял ботинки, потушил свет и легко вскочил на верхнюю полку, где проводник уже расстелил постель. В купе мягкого вагона с ним ехал один спутник. Поначалу он показался подозрительным, но Алексей Егорович не опасался жандармов. Год назад его бы схватили на границе, а сейчас он — депутат Государственной Думы, лицо неприкосновенное для охранки.

Спутник крепко спал и тихонько храпел. Алексей Егорович разделся и закутался одеялом. В вагоне плохо топили, откуда-то дуло, октябрьская ночь дышала холодом. Бадаев еще в отрочестве, будучи пастушонком, приметил: если снег выпадает вскоре после покрова, небо бывает чистым, светит полный месяц и обязательно ударит небольшой морозец.

Он вспомнил, что именно после покрова ему пришлось совершить первое путешествие по железной дороге из Брянска в Москву. Тогда тоже за окном вагона лежал первый в том году чистый снег, светила яркая луна и было холодно. Когда это было? Ровно двенадцать лет назад, и ехал он не так, как сейчас,— в отдельном купе мягкого вагона,— а «зайцем». Бывалый кондуктор довез восемнадцатилетнего парнишку до Москвы за целковый.

Под равномерный стук колес поезда Алексей Егорович думал о том, как свершилось чудо, превратившее его, простого малограмотного чернорабочего, в депутата Государственной Думы.

Он мысленно перебирал свою сиротскую жизнь — вспоминал нищую деревеньку Юрьево в Карачаевском уезде, когда ржавая селедка на столе была роскошью. Хлеба хватало только до зимнего Николы, после рождества мужское население отправлялось на отхожие промыслы, чаще всего в Брянск, на железную дорогу. Мальчишкой Бадаев ворочал шпалы на ремонте пути, а когда

мимо проносился дальний поезд, с завистью смотрел из-под ладони на пассажиров, ехавших в неведомую Москву.

Москва! Паренька, приехавшего в домотканом деревенском армяке, шумный город встретил неприветливо. Дальний родич, ломовой извозчик, приютил Алексея и даже помог ему тоже стать извозчиком. И остался бы он навсегда ломовиком, если бы не старший брат Роман, служивший в Петербурге швейцаром. Это он перетянул его в столицу.

Здесь, на Александровском заводе, за Невской заставой, Бадаев нашел свое счастье, здесь произошло с ним то удивительное чудо, которое и сам Алексей Егорович не мог сразу понять. В Корниловской школе, в «Смоленских классах», куда бегал Бадаев, отработав одиннадцать часов на заводе, молодая учительница, высокая стройная девушка с упрямым ртом, дала ему тоненькую, сильно потрепанную брошюрку с загадочным названием «Хитрая механика». Вот она-то и открыла глаза Бадаеву, и он понял, почему за одиннадцать часов тяжелой работы чернорабочему платят шестьдесят пять копеек.

Монотонно стучат колеса. Спит весь вагон, а Алексей Егорович, закинув руки под голову, предается воспоминаниям.

По обычаю всех учащихся Корниловской школы, прозванных «холодными студентами», Бадаев сменил сапоги бутылками на городские штиблеты, вместо дешевой фуражки стал носить широкополую шляпу и, подражая настоящим студентам, завел длинный плащ «под Гарибальди».

Когда Алексей Егорович сдал пробу на слесаря, он в ту же осень вступил в Российскую социал-демократическую партию.

Нелегальную партийную работу он постиг в кружке товарища Абрама, от которого получал прокламации для распространения на заводе.

На всю жизнь осталась в памяти первая русская революция. Тогда рабочий люд узнал, что такое баррикады, расстрелы, восстания, виселицы. И даже из родной деревни пришли вести: земляки Алексея Егоровича запустили «красного петуха» в соседнюю помещичью усадьбу, оставив от барского дома лишь холодные головешки.

В бурные месяцы первой русской революции прошел

слесарь Бадаев боевую школу большевика, а потом, в годы реакции,— другую, не менее важную,— в профессиональном союзе металлистов. На рабочих собраниях и митингах овладел он ораторским искусством. Это сыграло свою роль, когда надо было посылать от рабочей курии депутата в Государственную Думу.

В российском парламенте оратору, поднявшемуся на трибуну, строго запрещено было читать свою речь по бумажке. И Конкордия Николаевна Самойлова, член Центральной Избирательной Комиссии, нелегально созданной Петербургским Комитетом партии большевиков, первая подала свой голос за кандидатуру Бадаева: он умеет говорить на митингах, ему не потребуется шпаргалка и на трибуне парламента, где придется выступать против черносотенных и либеральных ораторов, знаменитых профессоров — членов кадетской партии.

Теперь все ясно Алексею Егоровичу. Если бы не было партии, не стал бы он, бывший чернорабочий и ломовой извозчик, в двадцать девять лет членом Государственной Думы.

В тот год, когда к Бадаеву после его первых речей в Думе пришла всероссийская известность, он познакомился с Лениным. Накануне рождества Алексей Егорович выехал в Австрию. Встретил его на пути в Краков товарищ Абрам, тот самый, в кружке которого Бадаев изучил азбуку нелегальной работы. Только здесь, за границей, Алексей Егорович узнал подлинное имя своего первого наставника: Николай Васильевич Крыленко. Уважаемый в городе преподаватель Люблинской гимназии, Крыленко занимался здесь не только педагогикой, он помогал профессиональным революционерам переправляться через границу.

Целую неделю длилось Краковское совещание. Бадаев рассказывал о нелегальной работе в столице. Ленин слушал, не сводя с питерского депутата прищуренных глаз, и одобрительно покачивал головой. Вот тогда, после Нового года, Алексей Егорович вернулся в Петербург официальным издателем газеты «Правда».

Никогда не подозревал Бадаев, что должность издателя рабочей газеты потребует от него так много хлопот и трудов. Надо было доставать средства, бумагу, заботиться о тираже.

И вот теперь, через девять месяцев, он снова поехал к Ленину, на этот раз — в Поронино.

В этой небольшой деревушке в предгорьях Татр жили

преимущественно дачники. Сюда должны были приехать из Петербурга пять депутатов Государственной Думы и партийные работники из России и Польши.

Депутаты ехали к Ленину открыто, хотя им хорошо было известно: охранка следит за каждым их шагом. Первыми приехали Бадаев и Петровский. Дачный поезд довез их до станции Поронино. Они сошли и огляделись. За вокзалом слева тянулись горы, прямо — зеленела роща, сквозь деревья виднелись крыши домиков. Не у кого было спросить даже, в какую сторону идти.

— Раз там дома, значит, там и деревня!— сказал Бадаев.— Пошли туда, язык до Киева доведет.

И они действительно вышли к деревне и тихонько двинулись по пустынной улице, стараясь угадать, какой же дом принадлежит Терезе Скупень, хозяйке дачи, где жил Ленин. Но так они и не угадали. Местный житель, горец в белых суконных штанах и белой расшитой накидке, показал им на конец проселочной дороги. Они дошли чуть ли не до соседней деревни. Здесь, на границе селений Поронино и Черный Дунаец, в домике крестьянки Терезы, и жил Ленин вместе с Надеждой Константиновной Крупской и ее матерью Елизаветой Васильевной.

Ленин, живший на литературный заработок, снимал в Поронино две больших комнаты, кухню и мансарду.

Засучив рукава поношенной спортивной куртки, Владимир Ильич чинил во дворе велосипед. Он встретил петербургских гостей приветливо, но гаечный ключ не отложил в сторону.

Бадаев из вежливости предложил свою помощь.

— Ничего, я сам отлично справлюсь с этим делом...

Во двор вышла Надежда Константиновна, уже немолодая женщина с гладко зачесанными, чуть седоватыми волосами, в простом коричневом платье. Она поздоровалась с гостями, поинтересовалась, как они доехали. Завязался непринужденный разговор. Владимир Ильич убрал инструменты в треугольный подсумок, с юношеской легкостью вскочил на велосипед, махнул рукой и крикнул:

— Я только до почты! За газетами! Скоро вернусь!

Оставив чемоданы, Бадаев и Петровский с Надеждой Константиновной отправились смотреть Поронино. Они дошли до конца, где находился базар, за ним проходила пограничная линия, отделявшая Россию от Австро-Венгрии. На базар свободно съезжались крестьяне как с одной стороны границы, так и с другой.

Рассматривая длинные ряды грабарок с тугими меш-

ками пшеницы, заполнившие всю площадь, Крупская сказала:

— Вот отсюда я обычно отправляю корреспонденцию Владимира Ильича в «Правду». Придешь на базар и попросишь какую-нибудь крестьянку опустить письмо в почтовый ящик на той стороне границы. Люди здесь хорошие, честные... Все статьи доходили благополучно.

— Даже не верится!— изумился Бадаев.— Такая простая техника.

— Очень простая! Жандармам и в голову не приходит, что письма Владимира Ильича так легко отправляются в Россию. По глупости они ищут самые хитроумные конспиративные связи. А муж решил: конспирация как раз и должна заключаться в наибольшей простоте...

Десять суток провели депутаты в Поронино. В домике Терезы Скупень решались важнейшие вопросы, которые должны были определить линию партии в связи с подъемом революционного движения в России.

Во время одной из вечерних прогулок Ленин хотел поговорить с «тремя номерами»: так для конспирации назывались депутаты Думы: Бадаев — номер один, Малиновский — номер три, Петровский — номер шесть. Но Малиновский неожиданно отстал и исчез неведомо куда. Ленин, взяв под руки Бадаева и Петровского, заговорил с ними о «Правде».

— Полтора месяца назад я получил письмо от секретаря редакции. Она писала, что газета дышит на ладан.

— Цензура конфискациями душит!

— Что за глупость!— вдруг рассердился Ленин.— «Правда»— легальная газета и волей-неволей обязана считаться с цензурой. От этого никуда не уйдешь. Тон надо изменить! Не давайте повода цензуре конфисковать газету. Пользуйтесь лучше эзоповским языком, но, конечно, так, чтобы читатель понял, о чем речь.

Ленин ждал, что скажут его спутники, но они молчали, будто чувствовали себя виноватыми.

— Вот вы говорили на совещании, что тираж снова падает. Выходит, газету стали меньше читать? Может быть, мы пишем не совсем понятно для рабочих? Я имею в виду первую полосу.

— Кому непонятно, тот ее и не читает,— ответил Петровский.

— Надо изучать читательские интересы. Вам на месте это виднее, а мы живем за границей. Здесь у рабочего и психология другая.

Бадаев сказал нерешительно:

— Сознательные рабочие просят почаще помещать в «Правде» стихи и хорошие рассказы. Массовый читатель в «Копейке» «Антоном Кречетом» зачитывается. Газета распространенная. Она копейку стоит, а «Правда»— две.

— Тоже верно! В бюджете рабочего лишняя копейка — большое дело.

А Петровский прибавил:

— Я давно подметил — рабочий «Правду» купит и первым делом стихи в ней ищет. А почему? Не понимаю!

— Я сам, если вижу стихи Демьяна Бедного,— усмехнулся Ленин,— с них начинаю газету читать. Вот по-настоящему великолепный агитатор-пропагандист! С него пример надо брать!

— Рабочие поэты так сочинять еще не могут. Образования нет.

— Надо учиться!

Ленин заговорил о необходимости объединить около «Правды» рабочих поэтов и прозаиков, и, слушая его, Бадаев почему-то вспомнил белозубого парня, носившего за спиной зеленый ящик. Конкордия Николаевна говорила, что он морит крыс и пишет хорошие стихи.

— Горький должен вот-вот выехать в Россию. Болезнь задерживает его. Он попал под амнистию, препятствий к его возвращению нет. Когда приедет в Питер, он вам поможет собрать начинающих писателей из рабочих вокруг «Правды». Я писал об этом, и он дал согласие. А вас я попрошу поговорить с товарищами из редакции... Не забудьте!

Прогулка была хорошая, но когда все вернулись домой, Надежда Константиновна сказала Ленину:

— Малиновский, говорят, напился.

Ленин нахмурился, ничего не сказал и прошел в свою комнату.

...Бадаев долго не мог заснуть, под стук колес он думал о своей жизни, которая так удивительно изменилась с тех пор, как он вступил в партию. Алексей Егорович думал о Ленине, о своих товарищах по Думе и никак не мог отделаться от неприятных мыслей о Малиновском. «Номер третий» напивался в Поронино каждый вечер, ничуть не стесняясь ни хозяев дома, ни своих друзей.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Вернувшись из-за границы, Бадаев на другой день заехал в редакцию «Правды» нарочно вечером, зная, что Конкордия Николаевна уходит обычно позже других сотрудников.

— С приездом!— Самойлова посмотрела на него усталыми глазами и отложила в сторону рукопись.— Как съездили, Алексей Егорович?

— Благополучно.

— Что Ленин говорил о «Правде»?

Конкордия Николаевна знала: в Поронино на совещании должны были говорить о легальной печати.

Бадаев показал глазами на дверь:

— Мирон здесь?

— Нет.

— Сердился. Цензура есть цензура. Надо избегать конфискаций. Писать осторожней, чтоб штрафами не давили. Без денег газету выпускать нельзя. Много говорили о денежных сборах на газету. Ленин настоял, в постановление записали, что сборы на «Правду» являются партийными членскими взносами.

— Это очень правильно.

— Владимир Ильич внимательно читает в «Правде» стихи и рассказы,— продолжал Бадаев.— Просил меня передать вам: Горький должен скоро приехать в Питер. Необходимо будет поговорить с ним насчет рабочих писателей и поэтов. Алексей Максимович обещал Ленину помочь организовать вокруг «Правды» начинающих литераторов. Но об этом нужно уже сейчас подумать.

Конкордия Николаевна оживилась. Кроме нее, Малышева и Еремеева, никто в редакции не принимал всерьез поэтов-самоучек, приносивших малограмотные стихи.

— Подумаем и все сделаем,— сказала она.— Будем ждать, когда приедет Горький.

На этом и закончилась беседа.

Прошло несколько дней, и «Правда» опубликовала статью, посвященную Поронинскому совещанию. Чья это была статья, Конкордия Николаевна не знала. Черномазов отправил ее в набор, не показав никому из сотрудников. Ночью он дежурил в типографии и сам поставил в номер.

— Кто автор?— спросила Самойлова Мирона Ефимовича, просматривая утром в его присутствии газету и

удивляясь, что статья «Совещание марксистов» прошла мимо ее рук.

— Будем считать, что это пока тайна!— полушутя-полусерьезно ответил Черномазов, давая понять, что она принадлежит перу такого автора, имя которого до поры до времени он не имеет права разглашать.

А спустя несколько дней в редакцию пришло письмо из Поронино. Ленин выражал свое крайнее недовольство статьей «Совещание марксистов».

> «По-моему, это было верхом неразумия, и если автор «увлекся» по непонятным причинам, то вам-то на месте нельзя не видеть невозможности этой статьи. Ради бога, не допускайте таких неосторожностей: вы дьявольски помогаете этим всем нашим врагам».

— Да, это действительно неосторожно с моей стороны,— сознался Мирон Ефимович и виновато улыбнулся, оглядев сотрудников.— Ленин прав, тысячу раз прав! Ошибка моя!

Вечером Конкордия Николаевна перед сном разговаривала с мужем. Она рассказала ему о полученном с последней почтой письме Ленина.

— Мирон очень неосторожен,— ответил Аркадий Александрович.— Действительно, «увлекся». Что делать, это профессиональное. Настоящий журналист...

«Мы все журналисты»,— хотела возразить Самойлова, но ничего не сказала. Она всегда защищала Мирона Ефимовича от нападок сотрудников, считая его отличным работником, очень ценным и нужным для газеты. Но тут, после письма Ленина, Конкордия Николаевна насторожилась. Однако вскоре ее захватила обычная лихорадочная работа, вечная спешка. Забылись и статья Черномазова и негодующее письмо Ленина. Надо было создавать около «Правды» объединение пролетарских писателей, которых обещал поддержать Максим Горький.

Идея Ленина была очень заманчива и для Конкордии Николаевны и для Малышева. Черномазов отнесся к ней равнодушно. По его мнению, из этого начинания вряд ли могло получиться что-либо путное. Но Самойлова привела пример: в «Народном доме» Паниной, на Лиговских курсах, уже существует и работает кружок пролетарских писателей, созданный Машировым-Самобытником.

— Не надо забывать,— говорила Конкордия Николаевна,— после пятого года появилась интеллигенция из

рабочих, вполне закономерно и появление своих поэтов. Пролетариат в России вырос.

Мирон Ефимович поморщился:

— Не нужно громких фраз! С тех пор как жил Пушкин, население России увеличилось в десять раз, но десяти Пушкиных у нас сейчас нет. Увеличилось число графоманов. Между прочим, поэты не рождаются на Лиговских курсах.

Даже к Демьяну Бедному, чьи басни уже печатались в толстых журналах, у Черномазова было скептическое отношение. Прочитывая перед сдачей в набор его маленькие фельетоны, остро отточенные по форме, Мирон Ефимович испытывал досаду оттого, что невозможно придраться. По привычке потирая руки, он говорил Самойловой:

— Почему же вы Демьяна считаете пролетарским поэтом? Он ведь закончил филологический факультет. А фабричного дыма никогда и не нюхал.

В редакции «Правды» все чаще появлялись начинающие писатели из рабочих. Это была заслуга поэтов Маширова-Самобытника и Дмитрия Одинцова. Если человек с завода или фабрики написал хотя бы одно стихотворение, пусть даже совершенно беспомощное, они, ликуя, вели его к Малышеву или Самойловой, зная: у них он найдет ласковый прием, какой в свое время нашел удельнинский литейщик с завода Вегмана.

Незаметно для себя и других Михаил вошел в тесную семью начинающих писателей, сгруппировавшихся вокруг «Правды». Душой этой семьи был Маширов-Самобытник, «студент» Лиговских вечерних классов. Живой, энергичный, с настойчивым характером, умеющий добиваться цели, он привлекал молодых литераторов в «Народный дом» Паниной на лекции, посвященные литературе.

Предстоящий приезд Горького в Россию вызвал среди рабочих интерес к его имени,— оно мелькало на страницах почти всех газет. Рабочая и демократическая печать приветствовала его желание вернуться на родину, а правая буржуазная пресса начала травлю пролетарского писателя. Поводом для нее послужила нашумевшая инсценировка романа Достоевского «Бесы» в Московском Художественном Театре. Узнав, что артисты одного из лучших театров мира решили показать зрителям реакционное произведение, Горький выступил против социально вредной проповеди Достоевского. Артисты театра в от-

крытом письме в «Русских Ведомостях» дружно заступились за автора «Бесов», и, словно по команде, на Горького яростно ополчились видные либеральные и реакционные писатели под предлогом защиты «чистого искусства».

Петербургский Комитет партии не прошел мимо развернувшейся литературной борьбы, во всех культурно-просветительных обществах, находившихся под влиянием большевиков, проходили вечера, посвященные Горькому.

Михаил попал на такое собрание в «Народный дом» Паниной вместе с Ерошиным и Артамоновым. Они пришли с опозданием. За кафедрой стояла Конкордия Николаевна, на щеках ее пылал румянец, и она, как на митинге, говорила:

— Товарищи! Сейчас на Достоевском столкнулись два мира: пролетарский, представителем которого является наш любимый писатель Максим Горький, и буржуазный, реакционный мир! Горький, протестуя против «Бесов», осуждает реакцию, неблагородство человеческой души, антисемитизм. Писатели, защищающие «Бесов» пышными фразами о «чистом искусстве», уже показали на деле свою готовность поддерживать мракобесие.

Конкордия Николаевна назвала имена писателей, выступающих против Горького: Мережковский, Сологуб, Ясинский, Ремизов. Михаилу эти имена были совершенно неизвестны. Скосив глаза, он взглянул на Ерошина и Артамонова, стараясь прочесть по их лицам знают ли они их? Должно быть, знают. Михаил вздохнул с завистью.

В конце собрания выступил Самобытник и предложил заготовленное заранее приветствие Максиму Горькому. Звонким голосом он читал:

> «Горячий привет шлем мы любимому писателю рабочей демократии за его мужественное, честное слово.
>
> Мы, рабочие — учащиеся Лиговских вечерних курсов, обсудив Ваше выступление против постановки «Бесов» на сцене Художественного театра, искренне присоединяемся к Вашему протесту. Под видом служения искусству позорно проповедовать мракобесие, позорно служить реакции».

Когда закончилось собрание, Артамонов взял Михаила за руку:

— Не уходи! Дело есть. Идем в «Капернаум». Там наши собираются.

Они вышли на улицу. Ерошин с Артамоновым говорили о Горьком и Достоевском, а Михаил думал, переживая свою малограмотность: вот его друзья спорят о двух писателях, выясняя, чей талант выше, а он знал только, что Максим Горький работал маляром, пекарем, грузчиком, батраком. И только сейчас услышал от Артамонова, что Достоевский был приговорен к смертной казни и отбывал каторгу.

В «Капернауме» за обычным «своим» столиком уже сидели рабочие поэты, поджидавшие Маширова, который должен был сообщить важную новость, и вели разговор о рукописном сборнике стихов пролетарских поэтов. С этой мыслью носились давно. Кто-то доказывал: можно отпечатать на шапирографе сто четких экземпляров; кто-то возражал против пустой затеи — что такое сто экземпляров? Споры закончились, когда пришел Маширов. Новость он принес интересную: в Петербург должен скоро приехать бельгийский писатель Эмиль Верхарн.

— Огромный поэт!— говорил Маширов.— Певец рабочего класса, вроде нашего Горького. Я прочитал его книжку «Стихи о современности». Валерий Брюсов переводил. Какие стихи!

— А где книжку взял?

— Из библиотеки.

— Мне дашь?— у Ерошина загорелись глаза.

И здесь, в «Капернауме», возникла мысль отобрать лучшие стихи пролетарских поэтов, напечатать отдельным сборником и, когда Верхарн приедет в Петербург, поднести ему в подарок.

— А где деньги?

— Деньги! Мать честная! Много надо? Сложимся.

Ерошин первым положил новенький полтинник на стол. Артамонов освободил тарелку из-под хлеба, бросил на нее со звоном ерошинскую монету и набрал из кармана серебряной мелочи на рубль. У Михаила нашлось шестьдесят три копейки. Он оставил гривенник на трамвай, остальные положил на тарелку. Когда сбор кончился, Одинцов подсчитал: тридцать четыре рубля сорок две с половиной копейки.

— Кто-то даже последний грош пожертвовал!— заметил Маширов, высыпая серебряную мелочь в кошелек. Тяжелые медные монеты он завязал в носовой платок. Ему и поручили составить сборник и напечатать тиражом хотя бы в сто экземпляров.

Через несколько дней от Ерошина Михаил узнал:

в Петербурге ни один владелец типографии не согласился печатать сборник пролетарских поэтов. Неутомимый Маширов нашел человека, решившего попытать счастья в Москве. Адвокат, сочувствующий большевикам, оказал содействие, и московское издательство «Трудовые силы» выпустило сборник «Наши песни». Цензура немедленно наложила на него запрет, но почти весь тираж удалось спасти от конфискации и доставить в столицу.

Михаил очень горевал, что ему не довелось попасть в редакцию «Правды» в тот день, когда ее посетил знаменитый бельгийский поэт. Конкордия Николаевна успела заблаговременно предупредить только Артамонова и Маширова. От имени русских пролетарских поэтов они поднесли Эмилю Верхарну тоненькую книжечку стихотворений с надписью: *«Посвящается Эмилю Верхарну».*

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

Мирон Ефимович с упорством маньяка продолжал свою линию в газете, не считаясь ни с конфискациями, ни с убытками, ни с мнением сотрудников. Напрасно приходила к нему Конкордия Николаевна и заводила принципиальные разговоры.

— Конфискации опустошают кассу редакции. «Железный фонд» тает. Мы не успеваем менять названия газеты. Нам уже нечем платить гонорар. Сегодня Ленин прислал письмо,— Розенфельд поставил ультиматум: пока «Правда» не вышлет ему деньги, он не пришлет ни одной статьи. Ленин считает, что мы поступаем с ним безобразно.

Мирон Ефимович поморщился, он ждал — Самойлова выговорится и удалится. Но она не собиралась уходить.

— Потом я хочу вам сказать: ответственность за помещаемые в «Правде» материалы несет вся редакционная коллегия в целом...

— Вот как! А я не знал!— в голосе Черномазова звучала издевка.

— Вы отправили в набор статью Церашвили и никому ее не показали.

— Да какая же это статья? Просто письмо в редакцию...

— Неважно. Я не понимаю, как вы могли напечатать такую путаную, неграмотную вещь...

Черномазов поднялся и, отчеканивая каждое слово, сказал:

— Товарищ Самойлова, я прекрасно знаю, что делаю. Пожалуйста, не учите меня. Очень прошу, не надо!

Конкордия Николаевна едва удержалась, чтобы не ответить грубостью, и поспешно вышла из кабинета.

Работа валилась из рук. Надо было успокоиться. И Конкордия Николаевна решила немедленно ответить на последнее письмо из Кракова. Когда она писала Ленину, ей вспомнился Париж, школа, созданная Ковалевским, и беседы с Владимиром Ильичем.

> «Все пока идет по-старому, никакой коллегиальности в работе нет, хотя я прямо и определенно заявляла тов. Мирону, что хочу читать статьи и участвовать в их обсуждении. Он продолжает с этим не считаться и сегодня опять поместил «Письмо в редакцию» грузинских марксистов, не показав даже этого письма мне. Кроме того, это письмо он снабдил огромным примечанием лично от себя, так как опять-таки я его увидела только в газете. А между тем примечание это пущено *от редакции,* следовательно и я несу за него, так же как и за помещенное у нас письмо «грузинских марксистов», большую долю ответственности. Сегодня опять заявила свой протест по поводу единоличного ведения газеты, если это не подействует, то решайте сами, что делать.
>
> Мы решили с Вашего согласия пригласить к нам Николая Алексеевича, может быть, при его помощи нам удастся наладить как-нибудь коллегиальную работу, а иначе положение дел становится невозможным».

Но «Правду» душило не только безденежье и единоличное ведение газеты Черномазовым. Нажим шел и с другой стороны.

Теперь в типографию приходил околоточный, не страдавший либерализмом, а вместе с ним являлся чиновник из Управления по делам печати. Конфискованный номер газеты стало труднее сберечь и распространить. Прошли золотые времена, когда полицейский чин удовлетворялся двумястами экземплярами задержанной газеты. Городовые, получив от начальства нагоняй за нерадивость, отбирали у газетчиков не только запрещенный номер, но даже и разрешенный к продаже.

Тщательно разработанная техника сокрытия и распространения конфискованной газеты, оправдывавшая себя на протяжении двух с лишним лет, еще со времен «Звезды», вдруг начала давать большие перебои. Первое подозрение пало на сотрудников ночной редакции «Земщины». Они в типографии трудились рядом, многое видели, о многом догадывались и, конечно, могли дать полиции добрые советы, как вернее задушить революционную газету. Заядлый черносотенец, редактор-издатель Глинка-Янчевский, громивший «Правду» на страницах своей газеты и изредка заглядывавший по ночам в типографию Березина, при встрече с выпускающим «Правды» брезгливо отворачивался. Этот озлобленный старик был способен на любой донос.

И Мирон Ефимович сказал:

— Русская пословица гласит: не купи дом, купи соседа. Пожалуй, есть смысл искать другую типографию с более приличным соседом.

На катастрофическое положение обратили внимание в Цека. Ленин прислал письмо, адресованное Самойловой. Заканчивая его, он писал о «Северной Правде»:

> К чему выпускать ежедневно, не понимаю. Советую перейти на еженедельную. Какой убыток в день? Какой тираж?
>
> Привет и лучшие пожелания! Ваш *Ленин*».

Конкордия Николаевна понесла письмо Мирону Ефимовичу. Он прочитал и обрадовался:

— А ведь действительно пора подумать над предложением Ленина. Надо выпускать газету раз в неделю! Пожалуй, это сейчас будет очень целесообразно.

Лицо Конкордии Николаевны покрылось розовыми пятнами:

— Что угодно, только не это! Мы радовались, когда сумели поставить ежедневную «Правду». И теперь переходить на еженедельный выпуск? Это недопустимо!

— Но что же делать?— Мирон Ефимович поднял близорукие глаза.— Без денег издавать газету нельзя.

— Надо вернуться к прежней практике сугубой осторожности, не давать повода цензуре штрафовать и конфисковать газету по пустякам. Другого пути нет.

— Это не большевистский подход!— Черномазов нахмурил брови.— Осторожность, да еще сугубая, никогда не была девизом революционеров.

— Я имею в виду разумную осторожность...

— Разумная осторожность присуща ликвидаторам... Нашим врагам! Мы не можем им подражать. «Правда» — боевой орган партии.

А еще через несколько дней после этого разговора пришло письмо от Ленина. Он писал в постскриптуме:

> «Мне кажется, что вы делаете гигантскую ошибку, плывя бессознательно по течению и не меняя тона газеты. Все указывает на то, что надо изменить и тон и содержание части хроники. Надо добиться легальности, цензурности. Можно и должно ее добиться. Иначе вы зря губите дело, за которое взялись. Обдумайте это серьезно».

Вот тут-то и разыгрался в редакции «Правды» совершенно неслыханный скандал, открывший глаза Конкордии Николаевне. Многое, что ей было до сих пор непонятным, вдруг приобрело законченную ясность.

К концу дня она зашла в типографию и, просматривая гранки, случайно обнаружила незнакомую ей статью, отправленную в набор непосредственно Мироном. Черномазов, минуя ответственного секретаря, самостоятельно засылал рукописи, ни с кем не советуясь. Самойлова не удивилась, прочитав инициалы М. Ф. Мирон Ефимович печатался под псевдонимом М. Фирин.

Конкордия Николаевна прочитала два раза гранки и пошла звонить по телефону Черномазову.

— Я хочу снять статью Фирина из номера.

— Напрасно.

— Ее нельзя печатать!

— Это почему же?

— Неужели вы не понимаете?

После небольшой паузы Мирон сказал скучным голосом:

— Приходите. Поспорим.

В кабинете Черномазова вместо спора произошло яростное столкновение ответственного секретаря с Мироном. Они кричали друг на друга, но ни до чего не договорились.

— Ни одной буквы в своей статье я не исправлю! Кстати, я очень не люблю, когда меня начинают учить. Я знаю, что делаю.

Конкордия Николаевна хлопнула дверью и, сунув гранки в сумочку, поехала разыскивать Бадаева.

Она была у него дома на Шпалерной, ездила во фрак-

цию, еще по двум адресам, где он бывал, но так и не нашла.

Сильно взволнованная, она вернулась домой. Хотелось как можно скорей увидеть мужа и поговорить с ним.

— Что-нибудь случилось?— Аркадий Александрович глядел на бледное, расстроенное лицо жены.— Неприятности?

— Сегодня у меня произошла схватка с Мироном. Мы наговорили друг другу дерзостей. Ты не можешь себе представить, как это противно.

— Успокойся и расскажи по порядку.

Конкордия Николаевна дрожащими пальцами раскрыла сумочку и вытащила две корректурных гранки.

— Это его статья. В завтрашнем номере идет под заголовком «Для того она и существует». Никто в редакции ее не читал. Он никому не показал, сам отправил в набор. Без меня. Я искала Бадаева, но не могла найти его. Ольминского тоже не нашла.

Аркадий Александрович читал и хмурил брови.

— После этой статьи газету прихлопнут!— сказала Конкордия Николаевна.— И все названия, которые имеются в запасе, потеряют свою силу. Он раскрывает полную преемственность всех закрытых газет.

— Статья чересчур неосторожная,— согласился Аркадий Александрович, откладывая гранки.— Не понимаю, как Мирону, опытному газетчику, это не ясно?..

— Ты только вдумайся, о чем он пишет!..

Конкордия Николаевна нашла строчки, которые ее больше всего возмутили, и прочитала вслух:

> — «Тернист был путь «Пролетарской Правды». Она родилась уже на исходе того страшного года, который принес с собой неисчислимые испытания рабочей газете. Их пять погибло во мраке безвремения. Их родоначальник — первая в России рабочая газета, созданная руками самих пролетариев,— «Правда», была настолько крупным явлением русской действительности, что никакие тучи, никакие грозы не могли затмить тот светлый след, который она оставила в глубинах рабочей жизни.
>
> За нею последовала «Рабочая Правда», «Северная Правда», «Правда Труда», «За Правду», «Пролетарская Правда». Это все один и тот же идейный организм, несмотря на то, что в отдель-

ности они принадлежали не одному лицу, несмотря на то, что так часто сменялись их названия. Идейно «Правда» не менялась в своих продолжательницах. Как не менялся тот рабочий класс, который вскормил ее и поставил на ноги».

Аркадий Александрович как юрист отлично понимал: у цензора после опубликования этой статьи будут все формальные основания запретить газету на очень продолжительное время. Будет крайне удивительно, если Управление по делам печати проморгает такой благоприятный повод.

— Ничего не понимаю,— сказал Аркадий Александрович,— решительно ничего.

— И в городе, как назло, нет ни Бадаева, ни Малиновского. Они могли бы вмешаться и снять статью.

Конкордия Николаевна нервничала весь вечер и легла спать с головной болью.

На другой день «Путь Правды» вышел со статьей Мирона Ефимовича «Для того она и существует» на первой полосе.

Необычно рано в это утро пришел запыхавшийся от быстрой ходьбы Ольминский, один из создателей «Звезды» и «Правды». Он подсел к столу Самойловой и сердито сдвинул брови:

— Что вы натворили? Вы знаете, чем пахнет статья Фирина?

— Представляю, Михаил Степанович, но я ни при чем. Я протестовала, а он настоял. Все мои попытки вас разыскать вчера вечером ни к чему не привели.

Ольминский наклонился и сказал очень тихо.

— Вы знаете, о чем я подумал, когда прочитал эту статью? Черномазов — либо окончательный дурак, либо провокатор. В том и в другом случае его надо прогнать.

— Михаил Степанович! Вы думаете, что говорите?

— Поверьте мне, старому литератору, это именно так!

— И вам не стыдно бросать подобные подозрения, не имея никаких оснований?

— В том-то и дело, голубушка, что основания есть! Он разорил газету, растратил все деньги, которые были накоплены до него. Сейчас «Правда» дышит на ладан. Вы это лучше моего знаете. Я раньше думал, что он просто дурак. А сейчас пришел к мысли, что он провокатор...

Да, да, да! И вы не смотрите на меня так!

— Если у вас есть такие данные, вы обязаны их выложить партии. Иначе ваши слова будут названы клеветой.

На лице Ольминского промелькнула кривая усмешка. Он поднялся:

— Я бы очень хотел ошибиться, товарищ Самойлова, но... Думаю, вы сейчас ошибаетесь, не веря мне.

— Не верю, не верю, не верю!— Конкордия Николаевна стучала кулаком по столу.

Ольминский ушел, а Самойлова вернулась к работе. Она делала то, что ей приходилось делать каждый день. просматривала почту, принимала посетителей, разговаривала с авторами. Пришел Иван Ерошин с зеленым сундучком за спиной, принес стихи, что-то рассказывал о творческих замыслах. Она плохо слушала его. В ушах звенело страшное слово: провокатор!

«Старик выжил из ума!— мысленно выругала она Михаила Степановича.— Придумать такую мерзость!».

Пришла Вера Слуцкая. По поручению районного комитета партии, она устраивала концерт, весь сбор с которого должен был пойти в «Железный фонд» «Правды». Она что-то говорила об артистах, кем-то возмущалась. Конкордия Николаевна делала вид, что внимательно слушает, а сама думала, стоит ли рассказать ей про нелепые, оскорбительные подозрения Ольминского. У нее не повернулся язык говорить о Мироне.

Прошло четыре дня.

Конкордия Николаевна просматривала рукописи, отбирала пригодные для печати. Читала рассказ Михаила «Смерть Агаши». В конце дня села за письмо к Владимиру Ильичу:

> «Сообщаю печальную новость: нас опять закрыли, закрыли «Пролетарскую Правду», и теперь ожидаем со дня на день закрытия новой газеты. Вы уже знаете, что Петровского привлекли к ответственности за статью Мирона «Для того она и существует». В статье этой действительно в очень неосторожной форме было сказано, что все «Правды» представляют «один идейный организм», и эта статья подала повод к установлению преемственности между новой и старой газетой, так что и новой теперь дни сочтены...»

Спустя неделю, к концу рабочего дня, Мирон Ефимович вызвал к себе ответственного секретаря. Она вошла в его кабинет, чувствуя, как бьется от непонятного волнения ее сердце. Мелькнула мысль: «А что, если ему сказать прямо в лицо, спросить, глядя в глаза?..»

— Вот что, товарищ Самойлова, с завтрашнего дня я ухожу в отпуск. Приеду через месяц. Снова вам придется вести газету до моего возвращения.

Конкордия Николаевна молчала.

— Ну как?

— Хорошо!— после большой паузы ответила она.

— Вам нездоровится?— участливо спросил Мирон Ефимович.— У вас неважный вид.

— Нет ничего.

Они расстались сухо, даже не попрощались. Мирон Ефимович расценил это по-своему: обозлилась, не может забыть ссоры.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Мирон Ефимович, получив отпуск на месяц, поехал к друзьям на Кавказ. Через несколько дней после его отъезда пришло письмо от Ленина, адресованное работникам редакции газеты «Путь Правды».

> «Уважаемые коллеги! Получил письмо секретаря о печальной статье, подвергшей опасности газету. Жаль, жаль, что печаталась (по коллегиальному ли решению?) эта печальная статья, в которой ухитрились усмотреть указание на связь газет...»

Прочитав несколько раз эти строки, Конкордия Николаевна поняла, что Черномазов своими письмами создавал в Кракове неверное представление о внутриредакционной обстановке в «Правде». Неужели такую «печальную статью» могла бы напечатать редакционная коллегия, если бы она ее обсуждала?..

В отсутствие Черномазова Конкордия Николаевна, следуя совету Ольминского, вновь создала в редакции прежнюю атмосферу благоразумной осторожности. Сотрудники тщательно проверяли рукописи, направляемые в набор, убирали все, к чему мог бы прицепиться цензор. Выпускающий и ночной корректор, прочитывая полосы, не столько ловили опечатки, сколько выискивали риско-

ванные слова и фразы, которые могли быть двусмысленно истолкованы. Газета стала выходить без конфискаций, поправились финансовые дела «Правды».

Мирон Ефимович, когда вернулся и ознакомился с положением дел в редакции, ничего не сказал. Но уже через два дня очередной номер газеты подвергся конфискации за его собственную статью. Неприятностей можно было бы легко избежать, если бы автор послушал совета Конкордии Николаевны и убрал одну фразу, без которой его произведение ничуть не пострадало бы.

— Вот видите!— не скрывая раздражения, сказала Конкордия Николаевна.— Я же вас предупреждала, что цензор привяжется.

— Все это пустяки!—отмахнулся Мирон Ефимович.— Ничего страшного, все закономерно. Было бы удивительно, если бы нас не преследовали. Лучшее доказательство того, что мы стоим на правильном пути.

Кривая усмешка на его лице заставила побледнеть Конкордию Николаевну. Она молча вышла из кабинета.

«Либо дурак, либо провокатор!» Слова Ольминского не давали ей покоя все это время.

«Нет, он, конечно, не дурак!— рассуждала она сама с собой.— Он умный. В чем-чем, а в уме и таланте ему не откажешь».

«Правда» для Самойловой была святыней. В «Железный фонд» газеты поступали со всей России рабочие гроши, они только для маскировки назывались пожертвованиями, на самом деле, после решения Цека на Поронинском совещании, это были членские взносы в партию. Каждая копейка была полита рабочим потом. Как же можно было относиться к этим деньгам с таким преступным легкомыслием?

Конкордия Николаевна завела разговор с мужем о своих сомнениях.

— Я долго не допускала этой мысли. Но сейчас, как хочешь, я начинаю верить Ольминскому.

Аркадий Александрович ходил по комнате из угла в угол, ероша густые курчавые волосы. Он внимательно слушал жену, перечислявшую все подозрительные факты. Когда она кончила, сказал:

— На все твои доводы я легко могу привести контрдоводы. Они будут не менее убедительны. А подозревать

можно кого угодно. Охранка постаралась сделать все, чтобы отравить нашу среду взаимным недоверием. Во имя пользы партии каждый начинает думать о своем соседе — а не сотрудничает ли тот в охранке. Этот психоз сознательно раздувают ликвидаторы, им важно любыми средствами отпугнуть рабочих от подполья. Гнусная отрыжка азефовщины!

Аркадию Александровичу неприятен был разговор, затеянный женой. Он закончил с раздражением:

— Если у тебя нет прямых доказательств, не порочь человека. А если есть, поставь вопрос в комитете.

Конкордия Николаевна замолчала. Но мучительные сомнения на этом не кончились. Она приходила в редакцию, разговаривала с Мироном Ефимовичем о статьях. Он отвечал тихим, ироническим голосом, по привычке потирая руки. Они ей казались липкими и не совсем чистыми. Она слушала, как Черномазов говорил о непримиримости в борьбе с ликвидаторами, о единственно принципиальной и прямой линии «Правды». Все это были совершенно правильные слова, но теперь она чувствовала за ними скрытую фальшь.

У нее мелькало желание рассказать о своих сомнениях Вере Клементьевне, однако она удержалась от соблазна при мысли о том, что Слуцкая может предупредить Мирона по старой дружбе.

После долгих раздумий Конкордия Николаевна решила написать Ленину.

Письмо в Краков, написанное шифрованным языком, она отправила окольным путем и была уверена — Владимир Ильич все поймет.

Однако дни шли за днями, а никакого отклика из-за границы не было. Неужели письмо не дошло? Она подумывала: не послать ли второе, такого же содержания?.. С этой мыслью она пришла утром в редакцию и начала свой рабочий день с просмотра свежего номера газеты, остро пахнущего типографской краской. Наметанным глазом она искала в нем промахи и ошибки.

На первой полосе были напечатаны две статьи Ленина: «К истории национальной программы в Австрии и в России» и «Сиятельный либеральный помещик о «новой земской России». Обе они занимали половину газетной страницы, под первой стояла одна буква «М», вторая шла без подписи.

Конкордия Николаевна прочитала их особенно вни-

мательно,— она знала, как Ленин не любил опечаток,— и осталась довольна: ни одной ошибки не обнаружила, если не считать, что в слове «пропаганде», набранном петитом, вторая буква «п» походила на «ц» со сбитым хвостиком. Придирчивый глаз Ленина, конечно, заметит это, но такую опечатку он, опытный журналист, поймет и простит.

На второй полосе под крупным заголовком «К женскому дню» была заверстана статья «Новый рабочий журнал» самой Конкордии Николаевны. По привычке всех авторов, она перечитала ее. И новый журнал «Работница» и проведение женского дня были ее кровным делом. Подвалом на второй полосе шел рассказ «Смерть Агаши», написанный Михаилом.

Просмотрев весь номер, Самойлова отложила его в сторону, достала неразобранные рукописи. Она чувствовала себя разбитой. Тяжелая, нездоровая атмосфера в редакции, напоминавшая предгрозье, выматывала нервы, а дома тоже было беспокойно.

Мирон Ефимович, ни с кем не поздоровавшись, прошел мимо ее стола к себе в кабинет. Так рано он обычно не приходил.

Конкордия Николаевна направилась к нему с рукописями. Черномазов был чем-то расстроен, слушал рассеянно и отвечал невпопад, рассматривая номер свежей газеты.

— А как у вас дела с «Работницей»?— неожиданно спросил он, остановив взгляд на статье Самойловой.

— Немного задерживается, но, я надеюсь, сегодняшняя газета привлечет внимание на фабриках.

— Женский день не за горами. Напрасно вы с Куделли связались. Надо было выпустить первый номер нашим аппаратом «Правды».

Мирон Ефимович оживился, рассеянность его пропала. Но через минуту взгляд его снова потух.

— А впрочем, все это ерунда!— неожиданно сказал в заключение Черномазов.

Конкордия Николаевна вернулась к своему столу и принялась за работу. В это время в редакцию приехали Бадаев, Ольминский и Скрыпник. Они быстро прошли в кабинет Мирона. Никого это не удивило: Бадаев частенько приезжал вместе с Ольминским. Сейчас с ними был еще Николай Алексеевич Скрыпник, его знали меньше. Несколько месяцев назад он вернулся в Питер из

якутской ссылки и теперь редактировал журнал «Вопросы страхования».

Через несколько минут в кабинет Черномазова позвали Конкордию Николаевну. Мирон Ефимович сидел за столом и бестолково перебирал бумаги.

Бадаев сказал сухо, обращаясь ко всем:

— Центральный Комитет решил освободить товарища Черномазова от работы. Создается новая редакционная коллегия. В нее войдут товарищи Скрыпник, Ольминский и Самойлова.

Мирон пожал плечами и, потирая руки, сказал:

— Цека знает, что делает.

Скрыпник поправил свисающие усы и повернулся к Конкордии Николаевне:

— Считаете ли вы необходимым произвести передачу газеты по описи?

— Я вас не совсем понимаю,— удивилась Самойлова.— Денежная сторона касается конторы, а у нас здесь одни ценности — рукописи.

— Контору надо проверить, особенно денежные документы.

Черномазов плотно сжал губы.

«Цека не хочет его держать в газете ни одного лишнего дня,— подумала Конкордия Николаевна.— Ленин получил письмо!»

Скрыпник выжидающе смотрел на Мирона Ефимовича и молчал. Черномазов, нервно потирая руки, сказал:

— Когда меня назначали, я никаких документов не проверял.

— Я думаю, все ясно,— бросил Ольминский и, отойдя к окну, стал внимательно смотреть на улицу.

Бадаев подошел к нему и закурил папиросу. Скрыпник заговорил с Конкордией Николаевной. Создалась неловкая пауза. Все ждали, когда Черномазов уйдет. Мирон Ефимович ссутулился, но потом вдруг поднял высоко голову и сказал:

— В таком случае — до свиданья!

Он ушел, осторожно прикрыв за собой дверь. Бадаев понимающе посмотрел на Конкордию Николаевну и пояснил:

— Ленин просил немедленно отстранить его от работы.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Михаил мальчиком перечитал все сказки в земской библиотеке, в отрочестве увлекся приключенческими романами и запоем читал исторические повести, расширяя скудные познания, приобретенные в городском училище.

В юности он записался в хорошую библиотеку и стал читать классиков и современных русских писателей. Необычная биография Максима Горького показалась ему, как и многим в то время, невероятной и выдуманной. Человек всего две зимы ходил в школу, работал поденщиком на пристани, жил среди босяков и жуликов, был поваром, маляром, певчим, пекарем, чернорабочим и вдруг стал самым знаменитым писателем России. Михаил не поверил, но все книги Горького покупал для своей полки. «Песню о Соколе» и «Буревестнике» он читал так часто, что знал наизусть. По ранним произведениям Горького он старался представить себе облик автора на берегу Черного моря с одним из героев будущего рассказа. И всегда известный писатель «из босяков» рисовался ему в образе босого человека, каким в его сознание вошел и Лев Толстой, написанный Репиным.

Два портрета в рамочках, выпиленных из фанеры, висели над диваном, где, за неимением кровати, спал Михаил. На одном изображен был седобородый Толстой в холщовой рубахе, на другом — молодой Горький с зачесанными назад длинными волосами, в косоворотке, вышитой крестиком.

— Какой он босяк!— говорила Анна Петровна сыну, когда заходила речь о Максиме Горьком.— Беглый студент! Об этом все знают. А если маляром был, значит, сильно пьющий. Маляры хуже сапожников пьют!

Благодаря «Правде» Михаил вошел в среду начинающих писателей, где имя Алексея Максимовича произносилось некоторыми с благоговением и — всеми!— с гордостью: «Наш Горький!».

Он помнил вечер в «Народном доме» Паниной, когда рабочие, посещавшие Лиговские вечерние классы, пришли поддержать протест Алексея Максимовича против постановки «Бесов» в Московском театре. Тогда он впервые увидел, как любят Горького простые рабочие.

В Петербурге устраивались концерты, на них выступали писатели и поэты с крупными именами. Они привлекали главным образом студенческую молодежь. За

тридцать копеек. Михаил попал однажды на «поэзоконцерт» Игоря Северянина, самого модного поэта-эгофутуриста, читавшего нараспев свои вычурные стихи. Курсистки млели, сходили с ума от них, устраивали автору овации. Михаил смотрел на бесновавшихся барышень с недоумением, он не мог понять этих восторгов и не верил в их искренность.

Кроме Игоря Северянина он слышал со сцены Театра музыкальной драмы Леонида Андреева, Блока, Куприна, Евгения Чирикова, Федора Сологуба. Слушатели принимали их восторженно: они видели живых писателей!

Михаил, возвращаясь с этого концерта, устроенного с благотворительной целью, мечтательно сказал Ерошину:

— Максима Горького я бы хотел посмотреть! Хотя бы издали.

— Он не любит выступать перед публикой!

И вот совершенно неожиданно Михаилу удалось увидеть Горького.

Как-то поздно вечером, часов в одиннадцать, из города на Удельную приехал взволнованный Иван Ерошин. Он вызвал Михаила в коридор.

— Завтра вечером Максим Горький хочет встретиться у себя дома с пролетарскими писателями,— сказал он шепотом.— Самобытник велел предупредить тебя. Будет серьезный разговор. Только смотри, никому ни слова! Конспирация!

— А при чем тут я?

— Чудак! Твои рассказы в «Правде» напечатаны. Конкордия Николаевна сказала Самобытнику о тебе. Понимаешь? Сборник пролетарских писателей хотят выпустить. Горький интересуется.

Ерошин еще что-то говорил, но Михаил плохо его понимал.

— Завтра встречаемся на Кронверском проспекте. В половине восьмого! На остановке трамвая у Монетного переулка. Не опаздывай.

Михаил подождал, пока Ерошин спустился с лестницы, и вернулся в квартиру, осторожно притворив за собой дверь.

Анна Петровна подняла голову с подушки.

— Кто это там?

— Товарищ.

— Днем времени не хватает! Полуночники!

Как хотелось Михаилу поделиться с матерью своей

радостью! Несмотря на предупреждение Ерошина, он вот сейчас, немедленно, и рассказал бы ей о предстоящей встрече с Горьким, но... А вдруг что-нибудь изменится? Тогда мать назовет его хвастунишкой. Нет, уж лучше промолчать!

. Михаил долго ворочался в постели, а ночью ему снились босоногий Толстой, согнувшийся над плугом, Максим Горький, красивший крышу ершовского дома, а где-то внизу стоял широкоплечий гигант в рабочем фартуке. Лицо его было страшно знакомо, Михаил старался припомнить, где он его встречал. И вспомнил: да ведь это тот самый штукатур, которого он видел при первом посещении «Правды». Гигант развернул огромную рукопись — шпалерную бумагу, исписанную печатными буквами. И тут появилась Конкордия Николаевна. Она стала свертывать рукопись валиком, а бумага бесконечно крутилась и крутилась в ее руках, превращаясь в толстый рулон...

— Мишенька, вставай!

Михаил открыл глаза, увидел мать и подумал: «Вот ведь приснится же!..»

Весь день у него было праздничное настроение — и на улице, когда он шел на завод, и в цехе на работе. Он мысленно отсчитывал время.

Сколько еще осталось до восьми часов? Косте он тоже ничего не сказал. У него уже был опыт: никогда не надо заранее радоваться предстоящей удаче, чтобы не спугнуть ее. Если ничего не изменится, завтра он подробно расскажет матери, а потом Косте и Гране о своем счастье.

...Живя на Удельной и редко бывая в «Народном доме» Паниной он не знал, что неутомимому Самобытнику уже удалось через редакцию «Правды» добиться предварительного согласия выпустить в издательстве «Прибой» сборник пролетарских писателей. Алексей Максимович выразил желание встретиться с его авторами у себя дома, но во избежание возможных неприятностей,— за Горьким следила охранка,— встречу решили провести конспиративно.

Ровно в назначенный час Михаил увидел Ерошина на остановке трамвая.

— Ну, пойдем!

Они разыскали на Кронверском проспекте двадцать третий дом и седьмую квартиру. Ерошин позвонил. Дверь открыла горничная, за ее спиной стоял Самобытник.

— Раздевайтесь, товарищи! И проходите... Прямо в столовую.

Михаил повесил свое пальто на переполненную вешалку и, робея, на цыпочках прошел через коридор в большую комнату. Среди собравшихся он увидел Малышева, Одинцова, Поморского, Артамонова, Садофьева и, совсем неожиданно, Егора Николаевича. Они пришли к Горькому в праздничной одежде, как ходили на собрания поэтов в Лиговский «Народный дом» Паниной. Одинцов надел даже крахмальный воротничок.

Михаил сел в стороне и огляделся. Чувствовалось, хозяин недавно переехал в квартиру. Завернутая в бумагу большая картина стояла у стены, ее еще не успели повесить. Мебели было мало: длинный стол посредине комнаты, маленький — в углу, десятка два венских стульев и полупустой застекленный книжный шкаф.

В прихожей снова раздался звонок. Самобытник вышел и через минуту вернулся с новыми гостями. Лица пришедших были Михаилу знакомы, он видел их или в редакции «Правды» или в «Народном доме» Паниной.

— А это кто такой?— шепотом спросил Михаил Ерошина, показав глазами на хорошо одетого господина с крупными чертами красивого лица.

— Серебров,— так же шепотом ответил Ерошин.

В эту минуту на пороге неожиданно появился Горький с пачкой рукописей в руке. Все встали, с любопытством глядя на хорошо знакомое им по портретам лицо.

— Здравствуйте, товарищи!

Высокий и тонкий, сутулясь, он легкой походкой прошел к маленькому столику в углу, на котором горела лампа под зеленым абажуром, и положил рукописи. Расправив пушистые рыжеватые усы, Горький внимательно оглядел своих гостей. На какое-то мгновение он задержал взгляд на лице Михаила. Тот засмущался.

Самобытник хотел выступить с приветственным словом от имени присутствующих, но Горький предвосхитил его намерение — поспешно поднял ладонь:

— Не надо, не надо! Меня уже приветствовали, даже больше, чем нужно. Мы же свои люди, товарищи... Давайте лучше знакомиться. «Правду» я читаю, стихи и беллетристику — обязательно. Возможно, кого-нибудь здесь и знаю. Заочно, разумеется.

Гости по очереди представились хозяину, называя свои фамилии. Михаил был как во сне, и хотя слышал,

но не понял, что сказал Алексей Максимович, протянувший ему свою крепкую, широкую руку.

— Александр Николаевич!— Горький опустился на стул и повернулся к Сереброву.— Приступим к делу, ради которого мы здесь собрались.

Он склонился над рукописями, словно о чем-то раздумывая, и вдруг поднял длинные ресницы. Все заметили — глаза у Горького голубые. А когда он улыбнулся, Михаил подумал, что так улыбаются дети.

— Подвигайте сюда стулья, товарищи... Поближе... В кружок... Вот так. И, пожалуй, верхний свет можно выключить. Нас немного, как-то уютнее будет.

И всем стало просто и хорошо и от мягкого зеленого света настольной лампы, и от доброй улыбки приветливого хозяина дома. А он заговорил тихим, подкупающим голосом, как бы советуясь с гостями.

— Вот видите, товарищи, все это поступило для сборника. Здесь только часть. А всего,— Александр Николаевич подсчитал,— пришло свыше четырехсот рукописей — и стихов и прозы. Если говорить о качестве, вещи далеко не равноценные... Я, профессиональный литератор, может быть, более резко вижу недостатки ваших произведений, но мне кажется, смысл книжки, которую мы затеваем с вами, вы должны почувствовать острее меня... Мне понятно, для писателя-рабочего написать крохотный рассказик труднее, чем для профессионального литератора большой роман. Человек работает на заводе, свободного времени нет, кроме того, мешает малое умение пользоваться пером — инструментом писателя.

Авторам этих рукописей не хватает нужных слов. Они не могут выбрать самое простое, сильное и красивое, чтобы выразить свою мысль ярко и точно, то есть художественно.

Горький сделал паузу и посмотрел на своих слушателей, жадно ловивших каждое его слово. И Михаилу показалось, что внимательные глаза снова на мгновение остановились на нем. Он невольно наклонился.

А Горький продолжал мягким грудным голосом, выделяя, как все волжане, букву «о», и это придавало его речи особую народную простоту.

— Я глубоко убежден, что пролетариат может создать свою художественную литературу, как он создал свою ежедневную газету «Правду»! Ни одна страна Европы не дает такого количества писателей-самоучек, как

Россия. Это очень интересно, товарищи! И заставляет задуматься: откуда у рабочих стремление к писательству, к литературе? Мне кажется, несмотря на ужасные условия жизни русского рабочего, он постепенно создает свою интеллигенцию. Выделяя часть своей физической энергии, он претворяет ее в энергию психическую, духовную...

Горький, увлекаясь, заговорил горячо, размахивая руками. Кисти рук его с длинными пальцами чертили в воздухе замысловатые линии, и это придавало особую выразительность словам. Речь Алексея Максимовича была проста и понятна слушателям. Но когда он заговорил об исторической и политической юности русского пролетариата, сослался на «юный идеализм», о котором писал Карл Каутский в своей статье «Русский и американский рабочий», мысли Михаила стали путаться, и ему сделалось стыдно, что он ничего не понимает. Такое ощущение было и у других гостей. Это не ускользнуло от Горького. Он вновь стал говорить о технике литературного труда.

— Писать рассказы о людях — не значит просто рассказывать. Нужно рисовать людей словами, как рисуют их кистью или карандашом художники. Необходимо найти наиболее устойчивые черты характера вашего героя. Как-то мне пришлось жить в станционном поселке вблизи железнодорожного депо. И вот на что я обратил внимание: даже дети машинистов узнавали по гудку паровоз, на котором к станции подъезжал их отец... Гудок этот для них звучал по-особому. Если можно так выразиться, паровозный гудок тоже имел свои «черты характера». А в ином произведении посмотришь,— все люди так изображены, что их невозможно отличить друг от друга. А ведь человек — это не паровозный гудок!

Михаил, случайно повернув голову, увидел Артамонова. Тот записывал слова Алексея Максимовича. Как это он сам не догадался поступить так же — взять тетрадку и карандаш?!

Горький давал советы начинающим писателям, но делал это очень деликатно, без поучительного тона, который ему всегда был неприятен.

— Может быть, вам, товарищи, мои рассуждения покажутся излишними. Дескать, условия жизни писателя-рабочего таковы, что мои требования неприменимы к нему. Не соглашусь с этим: чем требовательнее мы будем друг к другу, чем скорее вооружим себя необходимыми

знаниями, тем быстрее придем к созданию своей художественной пролетарской литературы. Если бы здесь случайно сидел сторонник так называемого «свободного искусства», «искусства для искусства», он бы наверняка подумал: «Фантазия! Такой литературы никогда и нигде не было!»

Лоб Горького прорезала глубокая морщинка, он неожиданно поднялся и стал ходить по комнате большими легкими шагами, не глядя на своих слушателей.

Михаил заметил, как сильно писатель сутулит спину, какой он тонкий, худой и какая у него впалая грудь.

— «Фантазия!»— сердито повторил Горький.— Много го не было! Но ведь раньше и рабочий класс был другой, не такой, как сейчас. Если бы человек не верил в силу своего разума и воли, он не летал бы в воздухе птицей. А в наши дни летает! И это только начало, а что будет через десять, двадцать лет!..

Горький перешел на свою любимую тему о всемогущем Человеке — творце Будущего. Он говорил с увлечением, и Михаил видел, как вспыхивали глаза писателя. Но вдруг они погасли. Алексей Максимович остановился, тяжело вздохнул и громко закашлялся. Поспешно достав носовой платок, он приложил его к губам.

Из соседней комнаты неслышно вышла красивая женщина. Она быстро налила из графина стакан воды и усадила Алексея Максимовича в кресло.

— Гнилой климат в Петербурге,— тяжело дыша, проворчал Горький, когда кончился приступ, и вытер пот со лба.

Отдавая женщине стакан, он сказал:

— Может быть, мы продолжим беседу за чаем, Мария Федоровна?

— Да, разумеется,— она кивнула и тут же вышла. Горький проводил ее внимательным взглядом, а когда она закрыла за собой дверь, вынул коротенькую трубку и достал коробку с золотистым табаком.

— Можно курить, товарищи! Пожалуйста!

Кто-то полез за папиросами, но Самобытник метнул предостерегающий взгляд.

— Мы покурим там, в коридоре,— Артамонов поднялся первым.

— Зачем же в коридоре?— спросил Серебров.

Старый друг Горького, он чувствовал себя здесь своим человеком.

— Идемте сюда!

Михаил вышел следом за курильщиками в соседнюю комнату, узкую и длинную, где лежали нераспакованные вещи и связки книг. Серебров вернулся к Горькому.

— Но какой же это огромный писатель!— восхищенно воскликнул Одинцов.

— Великий художник!— отозвался Артамонов.

— И не только художник! Ведь это же сейчас первый человек на земле!

— А рассказывает как! Заслушаешься!

— Посмотрел белый свет и людей повидал. Есть о чем рассказывать.

— Да и читал побольше твоего в тысячу раз.

— А это его женка, должно быть?

— Конечно! Знаменитая артистка Андреева. В Московском театре играет!— пояснил Малышев.

— Если Андреева, значит, не жена.

— Почему не жена?

Вошел Самобытник и покачал головой:

— Нашли курилку! Много не дымите.

— Дверь ведь закрыта.

— Чахотка у него!

Курильщики стали тушить окурки.

— Семь лет жил за границей, а вылечить тамошние врачи не сумели.

— У меня теща чахоткой болела. Фельдшер собачьим салом лечил. Помогло. Поправилась!

— Твоя теща в тюрьме не сидела, а тут человек столько в изгнании находился!

— Это правильно! Ссылка — не дача, тюрьма — не больница.

— А я смотрю, напрасно он приехал. Здесь снова посадят.

— Могут,— уверенно сказал Малышев.

— Я и не мечтал, что к самому Горькому попаду.

— Говорили, он будет наши стихи критиковать.

— Не только стихи, но и прозу!

— Просто отберет самое грамотное, что годится.

— Сборник — не газета. Тут другие требования.

— Верно! Газета один день живет, а книжка, если в шкафу аккуратно стоять будет, сто лет простоит.

— А мне кажется, Серебров уже отобрал что надо.

— Ну ладно! Пошли!— Самобытник, кивнул на закрытую дверь.

Все последовали за ним.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

В столовой был накрыт чай, и Мария Федоровна уже сидела за томпаковым самоваром старинной тульской работы.

— Проходите, товарищи! Присаживайтесь! Прошу!

Голос у Андреевой мягкий, певучий, на лице приветливая улыбка. Гости рассаживаются, раздвигая стулья, только один Михаил остановился и смотрит на Марию Федоровну с каким-то удивлением. В те минуты, когда Горький задыхался от кашля, он не успел разглядеть ее как следует. А сейчас, при ярком свете люстры, он видит красивую женщину с необыкновенными—ореховыми глазами и пышными темно-рыжими волосами.

Мария Федоровна замечает растерянное лицо Михаила и дружески кивает на свободный стул рядом с собой.

— Ну что вы стоите, товарищ? Садитесь!

Михаил оглядывается: все сидят, кроме него. Он смущенно краснеет за свою неловкость и неуклюже отодвигает стул. Он не знает, куда ему деть руки, и готов провалиться сквозь землю от стыда. Михаилу кажется: все на него смотрят с осуждением. Через минуту он незаметно косит глаза и облегченно вздыхает: никому нет до него никакого дела. Все слушают разговор Горького с Ерошиным, начатый еще когда поэты курили в соседней комнате.

— Американский философ Вильям Джонс не верил, что в России есть поэты, вышедшие из народа!— говорил Горький.— Это было непостижимо для него. Он допускал, что в нашей стране могут быть анархисты, даже разбойники, но лирический поэт-крестьянин был для него загадкой.

— А Кольцов? А Никитин? А Суриков? — Ерошин азартно встряхивал кудрями.— Жить в Америке и писать про Россию — это пустое дело, Алексей Максимович! Нутро крестьянское надо знать, душу мужика!

— Ну ладно, Ерошин! Мы с вами еще поговорим... А теперь, я думаю, мы продолжим нашу общую беседу.

— Беседа — беседой, но пейте же, товарищи, чай!— вмешалась Мария Федоровна, привыкшая к роли гостеприимной, радушной хозяйки: за столом Горького часто собиралось большое «семейство» литераторов.— Бутерброды, печенье... Прошу вас!

Гости послушно зазвенели ложечками, размешивая в стаканах крепкий чай с лимоном. Горький вытащил из

пачки рукописей помятую ученическую тетрадь и, не называя автора, заговорил, перелистывая страницы:

— Иногда товарищи увлекаются деепричастиями и причастиями. Написано в общем неплохо. Но когда читаешь: «выпивши», «прикинувший», «повиснувший», «покрасневший» или «просящий», «уходящий», «славословящий», то мне кажется,— это очень скверно. То «вши», то «щи»... Лучше избегать. Проще надо, проще...

Горький отложил в сторону ученическую тетрадь и взял две странички большого формата, исписанные крупным прямым почерком.

— Вот я читаю стихотворение Кичуйского «Поэт». Автора знаю, он мне на Капри присылал свои стихи. Сейчас он находится в местах отдаленных. Одно из его стихотворений я направил в редакцию журнала «Просвещение». У Кичуйского, безусловно, есть способности. Я не употребляю слово «талант». Без труда, крепко запомните это, товарищи, таланта не бывает. Но вот упорной, кропотливой работы над рукописью у Кичуйского я не заметил. Стихотворение большое. Многословное. А это никуда не годится! Я вижу, почти половина здесь— металлисты. Все знают, как трудно металл поддается обработке. Слово же крепче металла. Лишнее сострогать необходимо. Стружку убрать прочь...

Горький прочитал стихотворение и остановился на последних строчках:

Я поэт пламенеющих гневом очей,
Я поэт рокового прибоя,
Острие запылавших во мраке огней,
Рядовой пролетарского строя!

— «Роковой прибой»... Надо поискать что-то другое... А вот последняя строчка неплохая — «Рядовой пролетарского строя»! Да, мы все тут рядовые пролетарского строя! Это верно!

Алексей Максимович отложил стихотворение Кичуйского и вытащил из пачки тоненькую рукопись.

— Илья Дозоров... Рассказ «Утренняя смена». Кажется, автор здесь?

— Да, здесь!— отозвался Егор Николаевич, и все посмотрели в его сторону.

Горький взглянул на айвазовского слесаря, полистал рукопись и заговорил глуховатым голосом:

— Рассказ мне понравился. Дело происходит в девятьсот пятом году, когда на некоторых заводах и фабриках существовали комитеты рабочих, а в цехах были

выборные старосты. Взрослые рабочие о себе позаботились, а про учеников, подростков, забыли. Ребята решили тоже организоваться для защиты своих прав. В укромном месте ученики закрываются и проводят собрание. У них свои требования, они готовы отстаивать их вплоть до забастовки. Взрослым это не очень по душе, они ворчат: молодежь, дескать, распустилась, с ней сладу нет. Старые рабочие забыли, что и они прошли тяжелую школу ученичества и в свое время узнали, почем фунт лиха...

Пересказывая произведение Егора Николаевича, Горький мастерски прочитал небольшой диалог, сопровождая его выразительными жестами. Он словно рисовал перед своими слушателями то выпившего рабочего, то вихрастого заводского парнишку. Начинающие писатели увидели оживших героев гастевского рассказа.

Горький остановил взгляд на Егоре Николаевиче:

— Я чувствую, автор далеко не новичок в литературе. У него зоркий глаз, он умеет видеть и запоминать. Герои его рассказа говорят настоящим рабочим языком. Подкупает любовь писателя к заводу, где все для него свое, я бы даже сказал — родное, хотя, разумеется, завод принадлежит хозяину. Автор убежден: рабочий — это не просто работник. Он — творец! Это его руками созданы станки, моторы, машины. Когда он пишет о заводе, чувствуется: перед нами поэт. Вот послушайте, товарищи!

Алексей Максимович потянулся к стакану, отпил глоток и стал читать:

> «Тихо и ровно гудят моторы, воют валы. Осторожно, крадучись, шлепают ремни.
>
> А утро разгорается. Вспыхнула летняя алая заря и глядит в громадные заводские окна. Одно из них она заполнила все целиком и посыпала в мастерскую сквозь закопченные стекла волны розового света. На другом радостно бьется тень дерева, качающегося под утренним ветром.
>
> Все ярче, светлее становятся окна, и вдруг в самом верху их прорываются лучи солнца и пыльными струнами протягиваются поперек мастерской над станками. На шкивах засияли яркие ослепительные точки. А внизу все стало темнее. Электричество, заливавшее ночью завод, кажется теперь слабым и ненужным».

Горький читал так же хорошо, как и рассказывал. Все слушали, не сводя с него глаз, и только Михаил украдкой смотрел на Марию Федоровну. Он видел ее задумчивое лицо, большие ореховые глаза, устремленные из-под длинных ресниц на Горького. И почему-то вдруг юноша вспомнил недавнюю экскурсию в музей и кучку зрителей перед портретом неизвестной красавицы. Студент-политехник рассматривал ее почему-то через неплотно сложенный кулак. И Михаил, следуя примеру студента, тоже поглядел на полотно через кулак, и,— странно,— красавица на портрете показалась ему еще прекраснее.

Алексей Максимович отложил рукопись и, повернувшись в сторону автора, сказал:

— Я вижу, товарищ Дозоров не идет легкой дорожкой подражательства. У него есть стремление выработать свой язык, свой стиль. И это понятно: он певец труда, а о труде так мало пишут! Тема же эта — самая значительная, потому что выше труда ничего в мире нет.

Алексей Максимович отложил рассказ Гастева и вынул чье-то стихотворение.

— Прочитаем стихи Дмитрия Одинцова «Вперед». Автор здесь?

— Да.

Давно синеет и сверкает
Бездонной ночи глубина.
Мою каморку осеняет
Мой друг полночный — тишина...
Шуршит последняя страница,
В груди горит огонь живой...

— Я не считаю себя знатоком поэзии... Прошу вас послушать, как я исправил это стихотворение. Автор может согласиться со мной или нет, его дело... Хочу только сказать, что высказанная им идея «Вперед — к культуре мировой!» меня глубоко взволновала. Ведь ни в одной стране пролетариат не ставил перед собой такой грандиозной задачи классовой борьбы, как в России. Дело идет о культурной революции! Рабочий, стоящий за станком, думает о книге, о творчестве... Это же замечательно, товарищи! Мне показалась не очень удачной пятая строфа:

И там под рокотом и воем,
В дыму, в пылающем огне,
Как звенья цепи, мерным строем
В уме улягутся оне.

Хочу взамен этой строфы предложить такую:

В пыли, во тьме и горьком дыме
Я сохраню мои огни,
Всю жизнь я спаян буду с ними,
И день, и ночь со мной они!

Конец стихотворения мне нравится:

Итак, навстречу светлой дали
Неся в груди огонь живой.
Под рев гудка и грохот стали
Вперед — к культуре мировой!

Есть большая мысль. «К культуре мировой!» Хорошее стихотворение. Выражает великую жажду знания, которая владеет рабочим. Ну как, товарищ Одинцов, вы не против замены строфы?

— Что вы, Алексей Максимович! — воскликнул Одинцов.— Напротив, я очень благодарен вам!

— Отлично. Между прочим, по вашим рассказам, опубликованным в «Правде», я подметил в вас юмористическую жилку. Советую почитать Джером К. Джерома. Полезно. Есть у него хорошая повесть «Трое в одной лодке, не считая собаки».

Горький долго разбирал рукописи. Перед ним сидели начинающие писатели, и Алексей Максимович не забывал об этом: его суждения были осторожны. Один совет Горький давал неукоснительно всем, и Михаил хорошо его запомнил: писатель должен всю жизнь учиться!

Кто-то сказал:

— Понятно, учиться надо, Алексей Максимович! Без этого невозможно. Я сейчас слесарь, а был учеником. Здесь все ученики, а вы — великий мастер. Мы вам очень благодарны за эту встречу. Но второй раз вы нас вот так всех ведь не позовете...

— Почему же нет? Может, и позову! — Горький спрятал в пушистых усах улыбку.

— Если позовете — придем. Я, конечно, за себя говорю. Мы понимаем, ваши книги во всем мире читают. Ваше время принадлежит миллионам. Вот мы у вас целый вечер отняли, а вы, глядишь, замечательный рассказ написали бы. К чему это говорю, Алексей Максимович? Может быть, книжки существуют такие, по которым можно научиться, как сочинять?..

— Мысль дельная! — сказал Горький.— Я вот сейчас подумал: а ведь хорошо бы в самом деле издавать журнал или какое-нибудь пособие для писателей-самоучек. Печатать там статьи, которые помогли бы людям изучить

литературную технику. Рассказать о стиле, о языке, как построить рассказ, повесть! Познакомить поэтов с законами стихосложения. Такой журнал мог бы стать в какой-то степени своеобразной школой...

Разговор затянулся до поздней ночи.

После семи лет эмиграции Горький только недавно, в канун Нового 1914 года, приехал в Петербург. Он жил в Финляндии на даче родственников актрисы Андреевой, гостил в имении издателя Ивана Дмитриевича Сытина под Москвой. Его окружали артисты, художники, журналисты. Но он хотел увидеть «рабочую интеллигенцию», о которой ему рассказывали друзья, приезжавшие на Капри из России. И вот он увидел ее сейчас за своим столом. Иногда он задавал не совсем понятные для собеседников вопросы, стараясь уяснить что-то для себя из того, что его волновало еще до приезда из Италии. Как вырос рабочий класс в России!

Сергей Васильевич Малышев стал рассказывать Горькому, в какой трудной обстановке приходится работать редакции, о чем пишут рабочие с фабрик и заводов. Он перечислил начинающих писателей, которые вначале приносили в газету заметки, а сейчас пишут рассказы. Среди них он назвал и Михаила, приписав ему по ошибке чужой рассказ.

Михаил хотел поправить Малышева, но никто из присутствующих не обратил внимания на его ошибку, и Михаил промолчал. Он боялся, что Горький заговорит с ним. Если это произойдет, он не сумеет отвечать как надо, и Горький, конечно, сразу поймет, что он никакой не писатель и никогда писателем не будет.

Алексей Максимович выслушал Малышева, а потом заговорил, набивая трубку золотистым табаком:

— Самый ценный, самый внимательный и строгий читатель — это рабочий и грамотный мужик, наш кормилец. Он требует ответа на все недоуменные вопросы, которые его волнуют. Он хочет знать, где правда, где справедливость, где искать друзей, кто ему враг. Задача писателя почетна и ответственна! Он — борец и не имеет права смотреть на литературу как на отхожий промысел. Ей надо отдать всю душу! Правда, такого борца преследуют, если он обличает. Но чем ближе мы будем друг к другу, тем трудней нас обидеть. А обижать писателей — всегда охотников много!

— Чересчур даже много!— подтвердил Самобытник.

Горький раскурил трубку и сказал задумчиво:

— Вот я приехал в Россию и не узнал ее. Все изменилось! Смотрю на страну — не та страна, смотрю на рабочего — не тот рабочий! И на вас смотрю — не те писатели-самоучки, каких я видел! У вас — будущее есть!

Алексей Максимович аккуратно собрал рукописи в папку и заключил:

— Многое здесь придется отложить для основательной доработки. Сборник, правда, получится небольшой. Но... кто знает будущее? Возможно, об этой книжечке со временем упомянут как об одном из первых шагов русского пролетариата к созданию своей художественной литературы... Все может быть!

...Было поздно, когда гости писателя постепенно стали расходиться.

Каждому уходящему Горький крепко жал руку и внимательно смотрел в лицо, словно стараясь его как следует запомнить.

Самобытнику, Одинцову и Поморскому он сказал на прощанье:

— А вам, товарищи, стоит подумать о небольших сборничках стихов. Нужно отобрать самые лучшие. Я помогу вам издать их.

Михаил вышел вместе со всеми. Ему предстояло идти домой верст двенадцать пешком.

На пустынной улице, вблизи парадного подъезда, мерзли два филера. Хотя таял снег, оба они были тепло одеты и обуты — в финских шапках-ушанках, валенках и блестящих галошах. С Невы дул пронизывающий ветер. Филера стояли к нему спиной, пряча лица в поднятые воротники.

— Этих прохвостов при Николае Первом называли «воро́тниками»,— сказал Гастев, шагавший рядом.— Я вначале недоумевал: почему? Думал, потому, что воротники поднимают. Оказывается, нет,— обычно они под воротами стояли. Отсюда и прозвище «воро́тники».

Михаил слушал рассеянно. Он весь находился во власти непонятного очарования горьковского «окающего» голоса и его слов. Он вспоминал характерные жесты Алексея Максимовича, его привычку трогать усы, пристально вглядываться в лица своих слушателей. Особенно запомнился кашель писателя — трудный, тяжелый, и бисеринки пота на лбу. И Михаил подумал: как хорошо, что любимый писатель, певец революции, здесь, дома, в России, вместе со своей красавицей-женой, у которой такие необыкновенные глаза...

— А верно, что жена у Горького — актриса?— спросил Михаил, думая о Марии Федоровне.

— Да! И настоящая революционерка. Член партии... Вместе с Горьким ездила в Америку для сбора денег на революцию!..

Гастев стал рассказывать об Андреевой, что знал о ней со слов своих друзей в эмиграции.

Михаил слушал с интересом и недоверием. Ему было понятно, что Гордеич, Гастев, Калинин и все «сознательные рабочие» с великим нетерпением ждут новой революции. Но в голове Михаила никак не укладывалось, почему красивая, нарядная, с таким обаятельным лицом актриса вдруг тоже оказалась членом партии...

Он долго думал и наконец решил: жена Максима Горького. У него иной жены и быть не может.

Мартовская ночь была тиха и светла. Высоко в небе плыла ущербная луна, ее свет заливал безлюдный проспект. На перекрестке выделялся четкий силуэт городового на посту, мимо него медленно ехал ночной извозчик, потерявший надежду найти седока в уснувшем городе.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

О встрече с Максимом Горьким Михаил в ту же ночь рассказал матери. Она спросонок многого не поняла, но, заметив, что сын ее витает на седьмом небе, порадовалась за него. Днем на заводе, выслушав Михаила, Костя задумался и сказал:

— Ну что же, Мишка, дела у тебя идут правильно. Горький на дом к себе зря не позовет. Выходит, у тебя в голове что-то есть. Крой дальше по этой же дорожке!

А вечером Михаил поспешил к Гране. Она слушала его взволнованный рассказ о Горьком, об актрисе Андреевой и тихо повторяла:

— Как это хорошо, Миша! Как хорошо... Как хорошо...

Синие глаза ее сияли счастьем, а у Михаила гулко билось сердце.

Он понимал, все это случилось благодаря Конкордии Николаевне: она напечатала его первый рассказ. Какая она хорошая и добрая! Надо будет съездить в «Правду» и поблагодарить ее. Если бы она не сказала Самобытнику о нем, не увидел бы он Горького! Чтобы не ехать в

редакцию с пустыми руками, Михаил решил написать рассказ «Галошница». Граня ему рассказывала, как работают и живут ее подружки. Он просидел два вечера в муках. Переделывал много раз, уничтожал написанное, рвал и снова писал, но рассказ, кажется, не стал лучше. Он все же решил отвезти его и поехал в ближайшую субботу в «Правду».

Конкордии Николаевны он не нашел на обычном месте. За ее столом сидел товарищ Володя, маленький аккуратный студентик в короткой тужурке.

— Я к товарищу Самойловой,— сказал Михаил.

— Ее нет и не будет. Она больше не работает.

Михаил растерялся.

— А я рассказ принес.

— Давайте.

Товарищ Володя деловито взял рукопись и не стал ее смотреть.

— Хорошо, почитаем.

Михаил потоптался на месте. Холодный прием озадачил его. Он хотел было уже идти, но из соседней комнаты вышел с неизменной трубкой в зубах Константин Степанович Еремеев. Заведующий рабочей хроникой увидел Михаила и кивнул ему.

Михаил подошел к его столу.

— Что, рукопись принес?

— Принес. Не знаю только, что получилось. Я думал, Конкордия Николаевна прочитает, но сказали, что ее не будет.

— Она теперь не прочитает...— Дядя Костя тихо добавил:— Арестована.

— И надолго?

— Ну, брат! Ты такие наивные вопросы задаешь. Вышлют, конечно, из Питера. Дадут пятьдесят семь пунктов.

Еремеев говорил спокойно, будто дело было самое обыкновенное. Поинтересовался, что еще пишет Михаил, и попросил рассказать о встрече у Горького.

Раздался телефонный звонок, и дядя Костя, продолжая листать рукопись, стал слушать, держа трубку левой рукой. Невозмутимость его слетела в одно мгновение.

— Что?! Что?!— закричал он.— Громче! Алло! Алло! Фу, дьявол!.. Я слушаю. Да-да! Говорите! Когда? В какие часы? Сколько человек?

В редакции стало тихо. Все поняли: произошло что-то важное. Дядя Костя быстро набрасывал на листе бума-

ги отдельные слова, услышанные по телефону. В комнату вошел Артамонов. Он тронул Михаила за рукав, намереваясь отвести его в сторону. Но в это время Еремеев кончил телефонный разговор и сказал:

— Товарищи, страшная вещь! На «Треугольнике» произошли массовые отравления работниц. Такие же, как недавно были в Риге на «Проводнике».

И Артамонову:

— Очень хорошо, что ты зашел. Поезжай немедленно на Обводной канал. У тебя есть наше удостоверение, но я сейчас выпишу еще специальное. Завтра в номер надо дать сто — сто двадцать строк о событиях на «Треугольнике». Выручай!

Михаил забеспокоился о Гране и решил поехать вместе с Артамоновым.

Константин Степанович написал на бланке редакции удостоверение и, торопя Артамонова, давал ему последние наставления:

— Как будет под рукой телефон, сразу звони! Держи меня в курсе всех событий. Я сейчас попробую соединиться с Бадаевым. Он, конечно, туда поедет. Держись поближе к нему.

Еремеев позвонил во фракцию Государственной Думы. Ему ответили, что о событиях на «Треугольнике» уже известно, а Бадаева сейчас разыскивают.

— Езжай скорее! Бери извозчика. Расходы оплатим.

Михаил и Артамонов вышли на улицу. У подъезда, как обычно, стоял «лихач».

— На Обводной канал! Фабрика «Треугольник»!

— Занят!

— Заплачу хорошо.

— Говорят, занят!

— Черт бы тебя драл!— выругался Артамонов.

Чуть не бегом они кинулись к свободному извозчику, выехавшему из-за угла на Ивановскую.

— На Обводной канал! На «Треугольник»!

— Полтинничек!

— Пошел быстрее!— приказал Артамонов, вскакивая в пролетку.

Видавшая виды извозчичья коляска запрыгала по булыжной мостовой. Лошадь была не из резвых, и Артамонов нервничал, часто поглядывая на часы. Он пообещал гривенник на чай, и извозчик зачмокал, замахал кнутом, но ходу мерин не прибавил.

— Почему ты решил поехать со мной?— Артамонов поднял на Михаила глаза.

— Знакомая работает на «Треугольнике».

— А-а... Кем она там?

— Галошница.

— Постараемся разыскать ее. Она нам все расскажет.

Извозчик выехал на Обводной канал и свистнул от изумления.

— Что же это такое творится? Народищу-то...

На набережной, перед глухой каменной стеной, за которой высились многоэтажные фабричные корпуса, гудела и волновалась огромная толпа возбужденных женщин. Артамонов и Михаил вошли в нее и ощутили жаркий накал разыгравшихся страстей.

Михаил слышал обрывки фраз, проклятия, ругань.

— Им бы только рабочую кровь сосать!

— Пауки!

— Разве это галошная мазь? Никогда такой не было!

— Это не мазь, а самая что ни на есть настоящая отрава!— возмущалась женщина.— Дуньку замертво увезли! Аж посинела вся!

— Посинеешь на этой каторге!

— Наша Лизавета в обморок упала, так до сих пор и не очнется.

— В обморок барышни падают,— рассудительно поправил рабочий.— Это тебе не обморок, отрава смертельная. Химики по ошибке перепутали состав — и мазь получилась не та!

— Ничего не ошибка! Нарочно, сволочи, рабочий народ травят!

— Что верно, то верно! Кто на фабрике директора? На́ук, Краузкопф, Гейзе... Жиды!

— Мериканцы!

— Им русского человека не жаль!

— Приемный покой забили до отказу, класть отравленных негде.

— В столовой лазарет устроили!

— Какой к чертям лазарет. На пол валят, как поленья!

Артамонов, поговорив с работницами, узнал, что отравления произошли в галошных мастерских «Старый лагерь». Михаил вспомнил, Граня называла их «Сахалином». Здесь работало свыше тысячи галошниц. Сколько из них отравилось, никто не мог сказать.

Двенадцать тысяч работниц покинули фабрику и вышли на набережную Обводного канала. Никто не уходил домой. Возбужденные женщины хотели узнать имена пострадавших на «Сахалине». Кто-то пустил слух — сейчас выйдет представитель дирекции и все объяснит. Но массивные железные ворота фабрики оставались закрытыми наглухо. Никто не показывался и не хотел разговаривать с работницами. В толпе были мужья и родственники пострадавших. Они стремились проникнуть на фабрику, но их не пускали.

Артамонов с Михаилом пробились к воротам, где стоял отряд полиции во главе со щеголеватым приставом в белых перчатках.

Здесь они увидели Бадаева. Он требовал пропустить его на территорию фабрики.

— Это владение Российско-Американской компании,— говорил пристав, глядя в сторону.— Я здесь распоряжаюсь только на набережной.

— Как член Государственной Думы я прошу вас оказать мне законное содействие!

Пристав посмотрел на депутатскую карточку, вежливо козырнул и скрылся в проходной будке. Через несколько минут он вышел и сказал:

— Господин Бадаев, можете пройти к директору.

Артамонов кинулся следом за ним:

— Господин пристав, я корреспондент «Правды»... Мне тоже необходимо поговорить с администрацией.

— Не могу!

Артамонов оказался первым из журналистов, прибывших на «Треугольник». Вскоре стали приезжать представители других столичных газет. Пристав вежливо отказывал всем без исключения.

— Поймите, господа, я могу распоряжаться только за пределами фабричной территории.

Но, не выдержав бурного натиска корреспондентов, он сделал вначале исключение для «Нового Времени», затем для черносотенной «Земщины» и «Биржовки», а потом пропустил всех журналистов, кроме Артамонова.

— Позвольте! Это произвол! Почему не пропускаете меня, представителя рабочей печати?!

— Потому и не пропускаю, что вы из рабочей газеты и будете писать в вашей «Правде» всякие небылицы.

— Господин пристав, я просил бы вас...

— Отойдите, молодой человек, мне некогда с вами разговаривать.

Неподалеку от ворот над толпой вдруг поднялся рабочий, а возможно и студент — уж слишком гладко повел он речь,— и закричал, стараясь покрыть шум.

— Товарищи! В то время, как в Государственной Думе... продажные министры... старались оправдать ленскую бойню... алчные русские и американские акулы... учинили над вами страшное злодеяние... Проклятые капиталисты под охранкой царской полиции... решили, что им можно пить... рабочую кровь, как воду... Товарищи!..

Пристав скрылся в проходной, городовые обнажили сабли. Над толпой вдруг вспыхнул красным маком женский платочек, привязанный к тросточке. Совсем рядом раздался звонкий сильный голос:

Вы жертвою пали в борьбе роковой...

Михаил увидел большой отряд конных городовых во главе с полицейским офицером, мчавшийся по набережной прямо на толпу. Песня оборвалась. Работницы мигом очистили набережную, побежали вниз с откоса к каналу, куда не могли спуститься лошади. В городовых полетели камни и кирпичи. Пристав в проходной будке крутил ручку телефона, но и без его вызова уже появился второй отряд конной полиции. Прогремели сухие залпы. Городовые стреляли в воздух, но люди падали и ползли по земле. Истошный голос звенел над толпой:

— Палачи! Убивают!

Набережная против кирпичной ограды фабрики опустела. Городовые закрыли проезд и выставили пикеты. Галошницы переулками медленно расходились по домам.

Артамонов зашел в ближайшую аптеку позвонить в редакцию по телефону. Он заговорил о событиях возле «Треугольника». Владелец аптеки насторожился и прервал:

— Я вижу, вы хроникер? Скажите, от какой газеты? Кому вы звоните?

— В «Правду».

— Тогда повесьте трубку! Если вы думаете, что я люблю иметь неприятности с полицией, то вы ошибаетесь. У меня и без того болит голова.

Артамонов яростно швырнул трубку на рычаг, тихо выругался и бросил Михаилу:

— Пойдем!

На улице они расстались. Артамонов заметил свободного извозчика и кинулся к нему, а Михаил отправился

на квартиру Грани. Во дворе он увидел знакомое лицо черненькой девушки, той самой, что вызывала ему Граню при первом посещении. Она остановила Михаила сама:

— Вы к Гране? А она в больнице. Сильно отравилась. Ужас прямо! Помереть может... Ей-богу!

— В какой больнице?

— Не знаю.

Словоохотливая черненькая девушка что-то говорила, Михаил не сводил с нее глаз, слушал и ничего не понимал. Не попрощавшись, он вышел на улицу.

Здесь кучками толпился возбужденный народ, обсуждая события на «Треугольнике» и расстрел рабочих во время демонстрации. В другое время Михаил обязательно бы остановился и послушал, о чем говорят люди. Но сейчас все его мысли были о Гране. Слова черненькой девушки «помереть может» только сейчас дошли до его сердца. За что ее отравили?

— Сволочи!— с ненавистью прошептал Михаил.

Гримаса страдания исказила его лицо, он проглотил слезы и больно укусил себе руку, чтобы не расплакаться от жалости и горя.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

За два года до отмены крепостного права в России приехал в Петербург гамбургский купец Фердинанд Краузкопф, торговавший американскими галошами. Шагая по Невскому в дождливую погоду, он видел на ногах петербуржцев свой товар, совершивший далекое путешествие из-за океана в Германию, а из Германии в Россию. В кармане Фердинанда Краузкопфа лежало изобретение, запатентованное в Соединенных Штатах. Гамбургский купец предлагал фабрикантам выпускать галоши с утолщенным задником и со «шпорой», чтобы можно было легче надевать их и снимать.

Идея Краузкопфа не поглянулась американцам. В Германии не было ни одной резиновой фабрики. Карликовые мастерские, где вручную работало полтора десятка рабочих, не могли конкурировать с крупными фирмами.

Фердинанд Краузкопф верил в утолщенный задник со «шпорой». Недаром он ездил в Америку изучать технологию резинового производства, он хотел наладить его у се-

бя, в Германии. Американцы держали в строгом секрете всю рецептуру, но ловкий немец сумел найти знающего и предприимчивого техника Роберта Стори и заключил с ним тайное соглашение о выдаче ему секрета изготовления резиновых галош.

И патент на утолщенный задник, и подробная инструкция сейчас лежали у него в кармане. Не было только денег, но и они вскоре нашлись. Фердинанд Краузкопф умел уговаривать нужных ему людей.

— Семьдесят миллионов населения! Не сегодня — завтра отменят крепостное право. Дешевый труд рабочих! Будут расти города! Плохие мостовые... Отсутствие конкурентов. В Петербурге только один кустарь Кирштейн делает галоши. Но,— Gott im Himmel! — какой это товар! Без задника! Без «шпоры»! Их приходится надевать и снимать руками! Кирштейн прогорит через год! А таможенная политика! Она в нашу пользу. Сырой каучук облагается пошлиной наравне с перцем: три рубля с пуда! А готовые изделия из каучука наравне с какао: по четыре с полтиной! Мы выдержим любую конкуренцию с американцами и англичанами!

Фердинанд Краузкопф рисовал картины сказочного обогащения. Его слушали гамбургский земляк Линдерт Шмидт, петербургский купец Людвиг Гейзе и нарвский купец Христиан Дирсен. Четыре немца действовали осторожно, осмотрительно, много раз проверяли расчеты Краузкопфа и наконец поверили ему. Так составился начальный капитал на паях в сто тысяч рублей. Американский техник Роберт Стори смог внести наличными только пять тысяч, но без него нельзя было начинать дело. Это был единственный специалист, хорошо знавший технологию резинового производства!

Из уважения к нему четыре немца предложили назвать затеянное предприятие «Товариществом Российско-Американской резиновой мануфактуры «Треугольник».

Александр Второй, утверждая устав, поморщился.

— Почему же среди этих «товарищей» нет ни одного русского?

— Людвиг Гейзе — подданный Вашего Величества!

На Обводном канале, там, где стояла дача графа Строганова, «товарищество» приобрело пятнадцать десятин земли и принялось строить фабричное здание.

Летом шестидесятого года, меньше чем через год по приезде в Петербург Краузкопфа, появилась в России первая крупная резиновая фабрика. На ней работало

пятьдесят восемь рабочих, почти половина из них — женщины. Они выпускали по полторы тысячи пар галош в день. Через десять месяцев на выставке в Петербурге «товарищество» получило серебряную медаль, а еще через год в Лондоне — две медали. Утолщенный прочный задник со «шпорой» себя оправдал.

Фердинанд Краузкопф предложил «не опубликовывать годового баланса, поскольку побуждают к этому соображения целесообразности». Соображения были понятны: неслыханная прибыль товарищества могла привлечь к резиновой промышленности внимание других капиталистов.

Через год Краузкопф доконал своего единственного конкурента Кирштейна, снизив цены на галоши на четыре копейки. Кирштейн закрыл свою мастерскую и дал обязательство «не принимать участия ни в каком другом резиновом или гуттаперчевом предприятии в России». Его приняли пайщиком, а цены на галоши повысили на двадцать одну копейку.

Фердинанд Краузкопф, несомненно, был превосходным организатором и человеком дела. На Обводном канале резиновую обувь делали прочнее и красивее, чем в Америке и Германии. С конца семидесятых годов иностранные фирмы были навсегда вытеснены с русского рынка, и началось наступление Краузкопфа на иностранный рынок. В Вене, Филадельфии и Париже на международных выставках «Треугольник» получает золотые медали. За полтора десятка лет фабрика на Обводном успела занять одно из первых мест среди резиновых предприятий мира и наводнить галошами Германию, Швецию и Норвегию, а затем проникнуть во Францию и Бельгию.

Дела идут великолепно. Галош не хватает. Компаньоны «Треугольника» делят ежегодно прибыль, самую крупную в России, и вновь дают клятву друг другу молчать о баснословных доходах. Эта клятва записывается даже в протокол.

> «Присутствующие пайщики заверяют своим словом и подтверждают своей подписью ничего не сообщать третьим лицам относительно нашего годового дохода и размеров наших дивидендов и дают правлению полномочие в будущем не опубликовывать нашего баланса».

Сколько стоила пара галош, не знали не только рабочие, но даже техники. Правда, газеты писали о чудо-

вищных прибылях на «Треугольнике», но никто точно не знал их истинных размеров. Все поражались быстрому расширению производства: «Треугольник» никогда не производил займов, не приглашал со стороны новых пайщиков и не выпускал в продажу своих акций.

О, Фердинанд Краузкопф был дальновидным человеком! Еще в Гамбурге, в дни молодости, когда ему приходилось таскать на голове корзину с американскими галошами, он уже знал, как нужно «воспитывать» рабочего человека. Когда рабочий одинок, он мягок, как воск. Если их десять и они дружны, то это — твердый камень! Лучшее средство разъединить людей — дать лишний грош. И Фердинанд Краузкопф создал свою систему оплаты труда. Тысячу рублей в месяц получали в царской России далеко не все губернаторы. Краузкопф платил эту сумму инженерам и даже техникам, своим землякам из Германии. Оттуда же приезжали и мастера. Им платили двести пятьдесят — триста рублей. Служащим «Треугольника» завидовали опытнейшие бухгалтеры крупных банков. Хорошо зарабатывали мастерицы-галошницы.

Работники в «белых халатах»,— их носили мастера,— служили хозяевам с великим усердием, были внутренней жандармерией на фабрике! Недаром кроме жалования все они получали к праздникам наградные. Каждый из них боялся потерять выгодное место. Так благодаря подачкам с хозяйского стола на «Треугольнике» выросли кадры рабочей аристократии.

При поступлении на фабрику новому рабочему назначалась плата шестьдесят копеек в день. Бородачам платили на гривенник больше, чем бритым. Мастера-немцы набили глаз: если с бородой, значит, приехал из деревни и наверняка семейный — будет стараться.

Но те девушки и женщины, чьи золотые руки без всякой помощи машин делали знаменитые галоши, зарабатывали гроши — им платили по три копейки с пары. Почти поголовно неграмотные, забитые, изможденные непосильным трудом, они проводили на фабрике по тринадцать часов. Жизнь их на берегах Невы была не лучше жизни негров, добывавших драгоценное сырье на берегах Конго.

Когда возник «Треугольник», каучук привозили американцы в грушевидных слитках — их называли «индийскими бутылками». Потом европейцы стали ввозить каучук из Африки. Слитки были круглой формы. Фер-

динанд Краузкопф именовал их в шутку «головами негров».

За первые сорок лет существования «Треугольника» компаньоны ввезли более двух миллионов пудов «индийских бутылок» и «негритянских голов» на сто десять миллионов рублей золотом.

Сын основателя фабрики Краузкопфа, тоже Фердинанд, унаследовал от покойного отца не только миллионы, но и неутолимую жажду наживы. Вот он-то и подал мысль компаньонам создать собственные каучуковые плантации на тропических островах Борнео и Суматра. Фердинанд Краузкопф-младший выехал в Голландскую Индию и через подставное лицо приобрел у туземного царька на восточном берегу Суматры двадцать тысяч гектаров земли. Но для того, чтобы превратить их в плантации каучуконосов, нужно было согнать с земли туземцев. Требовалась военная сила. У Фердинанда Краузкопфа ее не было. Зато была она у англичан, которым не нужен был русский немец на Суматре. Незадачливый «колонизатор» вернулся в Петербург.

— Не будем завидовать счастью англичан и голландцев!— сказал он.— У них есть Бразилия, Конго, Индонезия. Источник нашего счастья — на Обводном канале! Это труд наших голошниц!

Заработная плата галошниц на «Треугольнике» была уменьшена на четыре копейки в день.

Молодой Фердинанд Краузкопф, хотя и провалился с затеей собственных колоний на острове Суматра, всегда отличался пониманием политики кнута и пряника. Заменив на посту главного директора скончавшегося в 1881 году отца, он создал на фабрике ясли на триста гнезд, школу на двести пятьдесят детей, дом отдыха,— единственный в России!— и даже установил пенсии для престарелых рабочих: девять рублей шестьдесят шесть копеек в месяц. В те времена это было неслыханным. Служащие и мастера, проработавшие на «Тругольнике» двадцать пять лет, получали шестьдесят рублей наградных в год. После смерти особо заслуженных мастеров и мастериц, отдавших всю жизнь «Треугольнику», внуки их неожиданно находили наследство — скопленные на черный день пять — шесть тысяч рублей, о чем с восторгом писали газеты.

Хитро разработанная приманка действовала безотказно. Но акционеры манили всех рабочих, а прикармливали с барского стола только одиночек.

О «благодеяниях» владельцев «Треугольника», захлебываясь, писали русские и особенно германские газеты. Но когда на стол директора однажды положили прокламацию, где описывалась изощренная эксплуатация галошниц, и в общество проникли первые сведения о высокой смертности резинщиков, Фердинанд Краузкопф решил удивить Европу постройкой каменного жилого дома для рабочих. Это должен был быть не простой дом, а дворец!

В том году было объявлено несколько всероссийских конкурсов на сооружение великолепных зданий — Русского музея в Москве, Кронштадтского собора, Киевского театра и жилого дома для рабочих-резинщиков. Самые крупные премии за проекты назначила дирекция «Треугольника». На конкурс поступило шестнадцать проектов знаменитых архитекторов — больше, чем подано было на сооружение Русского музея в Москве.

Дирекция выдала три назначенных премии и купила еще три проекта дополнительно,— Фердинанд Краузкопф-младший заботился о рекламе. Обещанного дворца не построили. Проекты отложили в сторону и воздвигли на Нарвском проспекте простую каменную казарму в пять этажей, украсив ее мемориальной надписью:

Да принесет сей дом ожидаемую пользу всем живущим в нем из поколения в поколение и да будет он рассадником чувств привязанности рабочих к фабрике, питающей их.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Давно умерли основатели «Треугольника», фабрика перешла в руки их потомков. Преемственность отцов и сыновей была закреплена даже именами: Фердинанд Фердинандович Краузкопф, Генрих Генрихович Кирштейн, Генрих Генрихович Утеман... Только Людвиг Гейзе назвал своего сына Густавом. Второе поколение владельцев вело дело в духе отцовских традиций.

Наиболее предприимчивым из молодых владельцев был кривой, со вставным стеклянным глазом Густав Людвигович Гейзе. Фердинанд Краузкопф, нажив миллионы, переселился в Германию, купил звание потом-

ственного барона и раз в год приезжал в Петербург на собрания пайщиков. Душой «Треугольника» был теперь Густав Гейзе. Он успешно вел дела огромного предприятия, но в особо важных вопросах всегда советовался с бароном Краузкопфом.

Вот и теперь, когда на фабрике начались крупные неприятности с массовым отравлением галошниц и забастовкой, он послал телеграмму в Висбаден, приглашая барона срочно приехать на день-два в русскую столицу. Он вызвал также и других владельцев, отлично понимая важность обстановки. В знак протеста против отравлений на «Треугольнике» в Питере бастовали сто двадцать предприятий!

Густав Людвигович никогда не беспокоил зря своих компаньонов. Почувствовав неладное, они приехали и собрались в кабинете главного директора, где на видном месте висел огромный портрет основателя «Треугольника» — Фердинанда Краузкопфа-старшего. Художник старательно нарисовал его лицо, мясистое, на первый взгляд, добродушное, с жирными складками на шее. Но острый взгляд хищных глаз, верно схваченный живописцем, выдавал натуру Краузкопфа.

— Господа, что произошло на нашей фабрике, всем известно из газет,— сказал Густав Гейзе.— Вопрос сводится к тому, как потушить эти неприятности, которые влекут за собой огромные убытки.

— Я все-таки хотел бы знать подлинную причину отравлений,— отозвался барон Краузкопф.

Густав Гейзе остановил на бароне единственный глаз:

— Раньше мы применяли бензин фирмы «Нобель». Удельный вес по ареометру от 718 до 725. В целях удешевления производства заключили контракт с грозненской фирмой Рагозина. Удельный вес от 700 до 712. Новая галошная мазь вызывает головокружение у работниц, но качество изделий от грозненского бензина не страдает, даже напротив, оно лучше.

— Надо вернуться к нобелевскому бензину.

— Это невозможно. Придется платить колоссальную неустойку. И куда девать огромные запасы уже приобретенного бензина?

— Хорошо. Если мы пойдем навстречу рабочим и переменим бензин, какой может быть убыток?

— Около полумиллиона!

— Это невозможно!

— На «Проводнике» употребляется точно такая же

галошная мазь, на том же рагозинском бензине.

— А какие результаты?

— Там тоже бывают отравления.

— Может быть, они купят у нас рагозинский бензин?

— Они свой не знают куда девать!

Владельцы «Треугольника» сидели в глубоких кожаных креслах, вытянув ноги, и сосали сигары. Барон Краузкопф смотрел на портрет отца и думал: «Густаву Гейзе далеко до отца. Тот бы нашел выход».

— Господин Шуберт, вы хотите что-то сказать?

Младший зять Утемана ответил:

— Мне кажется, дело вовсе не в галошной мази. Несмотря на низкое качество рагозинского бензина, к нему можно привыкнуть. И галошницы стали привыкать. Массовые отравления работниц лично для меня представляются в высшей степени загадочными. И я объясню почему. За несколько дней до отравления я получил предупреждение о неизбежности на нашем предприятии стачки. К этому предупреждению я отнесся с известным недоверием, зная прекрасно, что работающие у нас люди на забастовку не пойдут. С этим, очевидно, считались и те, кому было интересно провести забастовку, и для осуществления своих планов, они, вероятно, нуждались в исключительных мерах. Такими мерами явились массовые отравления. Уже вчера наша фабрика остановилась. Я не утверждаю, конечно, что отравления инсценированы устроителями забастовки: для утверждения нужны факты, в моем распоряжении их пока нет. Я только отмечаю странное совпадение: заблаговременное извещение о предстоящей забастовке и затем — массовое отравление работниц.

Барон Краузкопф, внимательно выслушав Шуберта, сказал:

— То, что вы сейчас сообщили, наводит на интересные мысли. Мне хочется знать, сколько галошниц отравилось в первый час работы?

— Небольшая группа.

— Они переписаны?

— Да, конечно. В приемном пункте.

— Надо тщательно проверить, что это за люди.

Краузкопф заговорил о значении прессы и упрекнул Густава Гейзе в скупости. Надо шире рекламировать товары «Треугольника», больше давать объявлений в газеты.

Из приемного пункта принесли список отравившихся галошниц. Первой в нем стояла фамилия Касаткиной Аграфены, девицы девятнадцати лет, поступившей на фабрику всего полгода назад.

В тот памятный день двенадцатого марта Граня действительно отравилась одной из первых, как только приступила к работе. Галошная мазь издавала одуряющий запах, от него кружилась голова. Девушка упала на каменный пол, сильно стукнувшись лбом о край стола. Ее отнесли на носилках в приемный покой и вместе с другими пострадавшими отправили в больницу.

Главный инженер, немедленно явившийся на место происшествия, думал, что несколькими несчастными случаями и закончатся неприятности, вызванные новой галошной мазью. Но не успел он дойти до выходных дверей, как без сознания упали еще десятки работниц. Инженер видел искаженные, посиневшие лица женщин, судорожно скрюченные пальцы, у многих из носа шла кровь, некоторых тошнило. В галошной мастерской не было никакой вентиляции, окна постоянно были закрыты наглухо и занавешены, чтобы солнечный свет и движение воздуха не снижали качества и прочности лака на галошах. В мастерской всегда было душно, неистребимый запах мази и резины устойчиво держался в помещении. Инженер приказал открыть окна. В «Сахалин» ворвался холодный свежий воздух, но работницы падали одна за другой. Медовый запах, источаемый галошной мазью, сделал свое дело.

Слышались истерические крики, женский плач.

«Не притворяются ли?»— подумал инженер, но вдруг сам почувствовал головокружение и легкую тошноту. Не сказав ни слова, он поспешил покинуть мастерскую и у самых дверей услышал истошный женский крик:

— Бабоньки! Это чума!

В «Сахалине» началось столпотворение. Галошницы спешили выбраться из зараженного помещения.

В то время как полиция стреляла в воздух, разгоняя митинг, главный инженер рассказывал Густаву Гейзе о своем посещении «Сахалина» и отравлениях работниц.

— Ваше мнение, почему это происходит?

— Новая галошная мазь ядовита и опасна для здоровья.

— Что делать?

— Немедленно прекратить ею пользоваться.

— От мази отказываться не будем. Надо принять ме-

ры, чтобы было меньше шума из-за этой неприятной истории.

Дирекция «Российско-Американской мануфактуры» боялась и не хотела огласки, а редакция «Правды» сделала все, чтобы о событиях на Обводном канале узнала не только столица, но и вся Россия.

На следующий день отравления на «Треугольнике» продолжались. И снова рабочие высыпали на набережную и открыли митинг. И снова полиция нагайками разогнала десятитысячную толпу.

Так было на третий день и на четвертый.

Даже черносотенные газеты, печатавшие постоянно за щедрую плату объявления «Треугольника», не прошли мимо событий на Обводном канале. Надо было объяснить причины массовых отравлений галошниц. Ядовитые испарения, конечно, налицо, отрицать не приходится. Но ведь они были и раньше! Кто превратил галошную мазь в отраву, подсыпав в нее яд? Посторонних людей на фабрику не пускают. Отравителей надо искать среди рабочих, а их преступных вдохновителей — среди революционных вожаков. Галошницы «Треугольника» всегда отрицательно относились к социал-демократической пропаганде, никакими средствами нельзя было их заставить бастовать. И вот наконец возмутители добились своего: «Треугольник» забастовал. Во всем виноват тайный комитет отравителей, созданный революционерами.

Об этом комитете Граня, лежавшая в больнице, узнала от сиделки.

— Ишь ты, вас, дурочек, нарочно травили!— заглянув в палату, сказала та.— На забастовку толкали. Сегодня в газетах написано. Яд подсыпали в галошную мазь. Что только творится, господи, на этом свете!

— Кто подсыпал?

— Отравители. Цельный комитет пымали! Вот душегубы! Давить бы таких!

Граня слушала пораженная. Зря в газетах писать не будут. Но что это за отравители? Откуда они взялись?

От сиделок скоро вся больница узнала, как травили галошниц на «Треугольнике». К Гране подходили больные из соседних палат, заговаривали с нею, жалели. Особенно понравилась ей молодая женщина с добрыми ясными глазами, затеявшая душевный разговор,— Пронечка. Она сумела сразу расположить к себе Граню, и девушка рассказала ей всю свою тяжелую жизнь. Толь-

ко про Михаила умолчала, решив про себя, что и о нем потом расскажет, только не сразу.

— Ты молоденькая!— сказала Пронечка.— И душа у тебя чистая, ангельская. Все хорошо будет. Только сердце надо беречь от соблазнов. А сестру свою не осуждай! Самый большой грех — если ближних начнешь судить!

— Я ее не сужу,— ответила Граня.— А то, что есть, чего же скрывать?

— И отца с матерью надо понять. Жизнь у них была — не мед.

— У многих не мед, да не все пьянствуют.

— Значит, добрых людей они не встречали, никто их хорошему научить не мог. Запомни, Гранечка: на верный путь человека можно направить только лаской!

Граня смотрела на Пронечку с сожалением:

— Пожила бы ты с ним хоть неделю, за тыщу верст убежала бы!

— Я бы не убежала!— ясные глаза Пронечки смотрели просто и твердо.

— Нет, я никогда к ним больше не вернусь. Лучше с голоду помру.

— Грех, грех!— замотала головой Пронечка.— Не говори так. Самое святое слово — мать! Никогда этого не забывай.

— Тебе бы такую!— глаза Грани сверкнули злобой.— Другое бы запела.

Пронечка была ласковой, доброй, и Граня опечалилась, когда на другой день она зашла к ней в палату проститься:

— Выписывают сегодня. Я даже не ожидала. Койка, видно, требуется. Больных сейчас много стало.

Гране не удалось рассказать про Михаила, про свою любовь. Неожиданно ее перевели в отдельную палату. После обеда к Гране явились два доктора в белых халатах. У одного из них блестел во рту золотой зуб. Осматривать больную они не стали, а, плотно притворив дверь, попросили подробно рассказать, при каких обстоятельствах произошло отравление.

— Вы говорили следователю, что вошли в мастерскую первой, когда там еще никого не было,— сказал доктор с золотым зубом.— Сколько времени вы находились в мастерской одна?

— Минуту.

— Припомните. Может быть, две? Три?

— Нет. Сразу и другие стали приходить.

— Помещение мастерской, в которой вы работаете, очень большое. Правда?

— Да.

— Может там человек спрятаться так, что вы его не увидите, когда войдете в мастерскую?

— Конечно, может. Залезет под стол — и не увидишь.

— При вас никто из мастерской не убегал? Украдкой?

— Не-ет. Не видела.

— А вы припомните хорошенько.

— Не помню.

— Есть основание полагать, что в чан с галошной мазью утром был подсыпан яд. Так говорят химики, которые делали анализ. Теперь вы подумайте, что получается. Сам по себе яд не мог попасть в мазь. Значит, кто-то его положил. Или вы или тот человек, который не успел уйти до вашего прихода и спрятался под столом, как вы нам сказали. Вы, конечно, не могли этого сделать. Значит, подсыпал кто-то другой, кто был в мастерской до вас или незаметно при вас. Это очень важно, чтобы вы вспомнили. У нас есть данные, что там прятался человек. Необходимо, чтобы вы это подтвердили.

Граня напрягала память, стараясь припомнить все подробности того ужасного утра. Может быть, кто-то и прятался, но она не видела.

Человек с золотым зубом все пытался добиться от Грани подтверждения, что кто-то был в галошной мастерской и убежал при ее появлении, что она видела поспешно метнувшуюся тень. Но Граня упорно стояла на своем: никого не видела. Оба посетителя остались ею недовольны. Они переглянулись и встали.

— Вот что, барышня, подумайте хорошенько и вспомните. Мы еще к вам зайдем.

На другой день к Гране в приемные для посетителей часы пришла Лиза и принесла в крохотном узелке гостинцы: четыре раковых шейки и маленькую плитку шоколада «Жорж Борман».

Лиза рассказала больной сестре последние новости: отца выпустили из психиатрической, помощи там ему никакой не оказали, а врач посоветовал съездить в Обухово к «братцу» Ивану Чурикову, испытанному «спасителю» алкоголиков. Сапожник послушался, поехал к «братцу», великому исцелителю от зеленого змия, но на обратном пути завернул в обуховский трактир и попытался стащить

у буфетчика сороковку. Его посадили в полицейский участок, а где он сейчас, неизвестно. Мать пьет по-прежнему и, кажется, забыла о существовании Грани.

Лиза посидела у сестры и поехала к себе на Лиговку. В тот же вечер ее остановил на улице городовой и отвел в участок. Лизу задерживали иногда и водили в полицию. Приводы эти кончались благополучно. Она отдавала последние деньги, какие у нее были, и выходила на свободу. На этот раз все получилось иначе. Дежурный околоточный провел ее в кабинет пристава. Здесь за письменным столом сидел господин с аккуратным пробором темных волос. Когда он заговорил, Лиза заметила у него во рту золотой зуб. Она удивилась, когда ей предложили сесть и заговорили, как с настоящей дамой, на «вы». Она не привыкла к такому обращению в полиции. Лиза почувствовала что-то неладное.

— У вас есть сестра. Она на «Треугольнике» работает?

— Да,— нерешительно ответила Лиза и подумала: «Сыщик!».

Она насторожилась.

— Ваша сестра лежит в больнице. Она пострадала во время отравлений. Вы слышали об этом?

— Я сегодня к ней ходила.

— Она вам не рассказывала, как все это произошло?

— Говорила, что ядовитым воздухом отравилась от галошной мази.

— И больше ничего!

— Ничего!

Господин заговорил, пристально глядя на Лизу и поблескивая золотым зубом:

— Слушайте внимательно, что я вам скажу. Вашу сестру отравили негодяи. Они подсыпали в галошную мазь яд... От него пострадали ни в чем не повинные работницы, как и ваша сестра. Мы уже напали на след этих людей. Но ваша сестра должна нам помочь. Она девочка глупая, многого не понимает. Ей надо подсказать. Вот я и хочу выяснить: будете ли вы нам помогать?

— Никак не пойму, чего вы от меня хотите,— искренне призналась Лиза.

— Найти гнусного отравителя, который подсыпал яд в галошную мазь, очень трудно. Нам известно, что он сделал это до начала работы. Никого, кроме вашей сест-

ры, в мастерской не было. Значит, можно думать, что это ее подговорили насыпать яд.

— Что вы говорите? — ужаснулась Лиза.

— Если не она, то в мастерской был кто-то другой. Вот этого другого она, говорит, не видела. Я понимаю, почему она так говорит. Она боится...

— А чего ей бояться? Кого?

— Тех негодяев, что простой народ травят. Они ведь среди рабочих находятся, не с неба упали. Могут отомстить. Надо ее убедить, ободрить. Вас она послушает. От нее потребуется только одно: подтвердить, что из мастерской убежал при ее появлении неизвестный человек. Больше ничего. Сходите завтра к ней в больницу, поговорите по душам. Ваши труды даром не пропадут.

Шикарный господин с золотым зубом вынул из портфеля обандероленную пачку денег, положил на стол и сказал тоном, не допускающим возражения:

— Здесь сто рублей. Это задаток. Получите еще триста. Мы понимаем, вашей сестре на «Треугольнике» больше работать не придется. Поможем устроиться, и нуждаться она не будет.

Лиза ничего не могла понять. Дает такие огромные деньги и сулит дать еще больше? Она смотрела на пачку пятирублевок с испугом. Одно ей было ясно и хорошо понятно: сыщик даром сто рублей никогда не даст. За этими деньгами обязательно кроется нечто грязное и опасное. Лиза не могла догадаться, что именно, но чутье ей подсказывало: пока она денег не взяла, шикарный господин с ней сделать ничего не сможет.

— Берите! Теперь они ваши.

— Нет-нет! — она даже подняла ладони, словно защищаясь.— Не надо мне их. Я ваших делов не знаю.

— Чего вы боитесь? Наш разговор останется для всех тайной.

...Лиза держалась стойко. Она не испугалась даже угрожающих намеков. Господин тиранил ее до ночи, но ничего не добился. Он убрал деньги в портфель и сказал:

— К сожалению, мы с вами не договорились. О нашем разговоре не должна знать ни одна душа на свете. Дадите расписку в неразглашении тайны. Если скажете кому-нибудь хоть слово, в Сибирь упеку. С вами разговаривал представитель охранного отделения. Понятно?

Он написал на листке бумаги несколько строк. Напуганная Лиза, не читая, поставила свою подпись.

— Можете идти!

Она вышла из участка на улицу и вздохнула полной грудью. Про охранку она кое-что слышала. Там служат такие сыщики, что могут запутать и погубить любого человека. Их боятся даже старшие дворники.

Лиза бежала по Лиговке, торопясь скорее добраться до дому. Встречный парень попытался ее остановить:

— Пойдем, красотка!

Лиза оттолкнула его и обругала.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Отравления рабочих случались часто и на табачной фабрике Богданова. Теперь, в связи с событиями на «Треугольнике», вспоминали и о них.

Бадаев приехал на место происшествия и увидел страшное зрелище. Полумертвых работниц выносили на носилках во двор фабрики и клали в тени кирпичной стены прямо на землю. Депутат Государственной Думы разыскал директора, крупного широкоплечего мужчину с румянцем на щеках.

— Почему происходят отравления на вашей фабрике?

— Очень просто. Сейчас великий пост. Работницы постятся, едят тухлую треску. Вот и вся причина.

С новой силой поползли грязные слухи о таинственном «комитете отравителей». Правая газета «Земщина», смакуя сенсацию, писала:

> «В течение последних дней в целом ряде фабрично-заводских предприятий столицы наблюдаются странные явления массовых заболеваний женщин-работниц. Женщины буквально десятками падали в мастерских на пол, корчились в судорогах и страдали от рвоты.
>
> Путем полицейского расследования установлено, что среди подпольных вожаков в последнее время организовался «Комитет отравителей», поставивший себе задачей с помощью действия химических веществ вызывать волнения среди рабочих.
>
> О существовании в столице «Комитета отравителей» сделан доклад высшим властям, после чего полиции отдан приказ найти «Комитет» и арестовать всех участников этой шайки злодеев.
>
> Розыск «Комитета отравителей» продолжает-

ся. Полиция уже напала на след преступников, произвела ряд обысков и добыла важные указания для разоблачения шайки гнусных «отравителей».

Событиями на «Треугольнике», «Проводнике», на фабриках Богданова, Лаферм и других вынуждена была заняться и Государственная Дума, когда с запросом о массовых отравлениях рабочих выступил большевистский депутат Бадаев.

В один из дней в Государственной Думе творилось нечто невообразимое. Стенографистки так записали бурное заседание с момента, когда Алексей Егорович поднялся на трибуну.

Бадаев. Господа члены Государственной Думы! То, что произошло в Петербурге на Обводном канале и на табачных фабриках Богданова и Лаферм,— не случайность! Для того, чтобы капитал приносил прибыль, он должен пожирать время, труд, здоровье и жизнь рабочих.

Правительство России смотрит на рабочих не как на людей, а как на бессловесный скот, который нужно держать в ежовых рукавицах при помощи охранных отделений, полиции, войска.

Председатель. Член Государственной Думы Бадаев, постарайтесь держаться поближе к вопросу.

Бадаев. Но, господа, рабочие прекрасно понимают, кто их враги. Когда работницы на фабрике «Треугольник», напугавшись отравления, выбежали за ворота, их встретили нагайками и погнали обратно. Всем слишком понятна тесная связь полиции с капиталом! Работниц сотнями травят, а они не имеют возможности написать об этих происшествиях в свою рабочую газету. Господа, уверяю вас, что рабочие вам этих отравлений не простят, они с вами посчитаются. *(Шум справа).*

Председатель. Покорнейше просил бы прекратить шум, а вас, член Государственной Думы Бадаев, покорнейше просил бы не произносить угроз в адрес господ членов Государственной Думы.

Бадаев. Что же вы думаете, господа, долго рабочие

будут терпеть такое положение? Нет, они не будут терпеть. Не допустят, чтобы вы травили рабочих, как безгласный скот. Прошли те времена, когда можно было полсотни казаков поставить на завод...

Председатель. О казаках нет надобности говорить: их не было.

Бадаев. Рабочий класс хорошо понимает, как против него все связались круговой порукой... Теперь рабочим нетрудно понять, что зло нужно рубить под корень, а веточками его не общиплешь.

Председатель. Член Государственной Думы Бадаев, прошу вас говорить по вопросу.

Бадаев. Вы, господа, часто нам здесь говорите и сейчас говорили, что мы вам угрожаем. А я вам скажу: зачем вы питаетесь рабочей кровью и потом?

Председатель. Член Государственной Думы Бадаев, я призываю вас к порядку.

Бадаев. Рабочий класс не крепостной, он не позволит, чтобы вы над ним издевались...

Председатель. Член Государственной Думы Бадаев, никто не издевается в Государственной Думе над рабочим классом. Я призываю вас вторично к порядку. Прошу вас подобных выражений не употреблять, иначе я буду вынужден прибегнуть к суровой мере.

Бадаев. ...он не позволит, чтобы его товарищей сотнями отравляли. Он хорошо знает, что до тех пор это будет продолжаться, пока господа дворяне и наемные опричники казаки...

Председатель. Член Государственной Думы Бадаев, я вас лишаю слова!

Председатель Родзянко предоставил слово Маркову-второму.

Марков-второй. Господа члены Государственной Думы! Вот мы здесь беседуем, слушаем Бадаева, а за стенами Думы около ста тысяч рабочих...

Голос слева. Сто двадцать тысяч!

Марков-второй. ...взволнованные и поднятые неведомыми людьми, бастуют. Они вышли на улицу и прекратили работы, потому что происходят загадочные отравления рабочих. Кто их

травит, неизвестно, но, во всяком случае, этот вопрос очень темный.

Голос слева. Темный, как и вы!

Марков-второй. Но отравителям мало этого, мало этих отрав работниц, желающих работать а не бастовать. Им надо новой отравы, психической, надо, чтобы рабочие окончательно возмутились и натворили тех дел, которым их подучивают. Я не верю лицемерным заявлениям социалистов, что им жаль отравленных. Им не жаль, они готовы отравить снова невинных рабочих, лишь бы достичь своих успехов, лишь бы взбунтовать Россию, лишь бы добиться революции. Все, что произошло, печально, но это вполне понятно и ясно. Кто виноват? Виновата жидовская компания, эксплуатировавшая на «Треугольнике» русских рабочих. Виновато наше министерство торговли и промышленности, которое позволяло эту эксплуатацию безнаказанно проводить.

После Маркова-второго Родзянко предоставил слово Пуришкевичу.

Пуришкевич. Господа члены Государственной Думы! Фабрики «Лаферм», «Треугольник» и «Проводник» считались, так сказать, черносотенными. Никакими средствами нельзя было заставить забастовать эти фабрики и заводы, тогда прибегли к преступным мерам отравители, друзья здесь сидящих...

Голос слева. Пошел вон! Уберите его с трибуны!

Пуришкевич. Так как это преступление не имеет себе названия и так как это преступление колеблет основы государственного порядка, спокойное течение общественной и государственной жизни, то этих господ (он показал на Бадаева) надо судить по законам военного времени и повесить!

Голос слева. Вон его! Вон! Шут гороховый! (Смех).

Пуришкевич. Господа! Я позволю себе охарактеризовать ваш смех:

Друзья, скажу без лишних слов:
Мне к вам, ей-ей, не примениться —
Вы стадо шумное ослов,
А на ослов нельзя сердиться!

Голос слева. Сам глупее осла! Вон! Хулиган! Гоните его! *(Шум)*.

Глава «Союза Русского Народа» депутат Пуришкевич часто позволял себе в парламенте хулиганские выходки, но такого балагана, который разыгрался в Таврическом дворце во время выступления Бадаева, еще не было.

* * *

Министр торговли и промышленности, присутствовавший на этом заседании Государственной Думы, вынужден был создать комиссию для выяснения причин отравлений на «Треугольнике» и пригласить для участия в ней выдающегося русского психиатра и невролога, известного всему миру ученого Владимира Михайловича Бехтерева.

Граня крепко спала, когда ее неожиданно разбудила дежурная сестра.

— Вставайте, больная!

Девушка с радостью подумала о Михаиле, он обязательно ее разыщет.

— Наденьте халат. И волосы причешите. Идите со мной.

...Чувствуя слабость в ногах, Граня шла по длинному коридору. Нянечка вела ее под руку, сестра шагала рядом.

— Теперь посидите здесь!

Сестра тихонько постучала в дверь и скрылась за нею.

Сама не понимая почему, Граня вдруг ощутила робость и, словно ища защиты, прижалась к нянечке. Прошло не больше минуты, дверь распахнулась.

— Заходите!

Граня неуверенно переступила порог. В комнате после темноватого коридора было ослепительно светло. Через огромные окна падали солнечные лучи, все вокруг сверкало белизной, и люди, сидевшие за большим столом в белоснежных халатах, вначале показались Гране ряжеными. Потом она поняла: это врачи. Но почему их так много?

— Сядьте здесь!

Господин с красивой черной бородой, без халата, в вицмундире с золотыми пуговицами, повернулся к своему соседу, лохматому старику с густо нависшими бровями, и сказал:

— Мне передали записку. Член Государственной Думы Бадаев просит разрешения присутствовать на комиссии, поскольку вопрос имеет, как он выражается, огромное политическое значение.

— Он врач?

— Нет, рабочий. Говорят, слесарь!

— Не к чему, господа! Всюду политика, политика, политика! И на фабрике и в газетах... Мы в больнице! Здесь медицинская комиссия!

— В таком случае, профессор, разрешите начать?

— Да, конечно!— кивнул лохматый старик.

Стул, на котором сидела Граня, пододвинули к столу. Она совсем оробела, почувствовав на себе множество внимательных глаз.

Чернобородый господин, просматривая историю болезни, заговорил вкрадчиво:

— Ну, что же, барышня... Мы знаем, вас зовут Аграфеной, фамилия Касаткина. Вам скоро будет девятнадцать лет. Работали галошницей на «Треугольнике». Сколько зарабатывали?

— Шестьдесят копеек.

— Всегда?

— У нас работа сдельная. Если на вечер останешься, то и восемьдесят копеек.

— С семьей жили?

— Нет, одна.

Чернобородого господина интересовало все: почему Граня прибежала первой в мастерскую, какой воздух был в помещении, когда она приступила к работе, далеко ли от ее рабочего места стоял чан с галошной мазью. Граня отвечала правдиво, но не понимала, куда клонит господин без халата. Вопросы его казались ей иногда странными, но все врачи слушали ответы внимательно, а один даже записывал.

Потом девушку стал расспрашивать доктор с худощавым лицом, в пенсне без оправы. Он допытывался, сколько раз в день Граня ела, ежедневно ли была горячая пища или питалась всухомятку, когда ложилась спать и когда просыпалась, сколько часов гуляла после работы и ездила ли по воскресеньям за город.

— Скажите, больная, кто ваш отец?

— Сапожник.

— Сапожник... Не злоупотреблял ли ваш отец напитками?

— Он алкоголик,— ответила Граня.

— И давно?

— По-моему, всегда.

— Так-так-так! Очень хорошо!— довольный врач даже снял свои стеклышки с носа.

А Граня подумала: «Чего же тут хорошего, если отец — горький пьяница?»— и, проникаясь неприязнью к доктору, нарочно прибавила.

— У меня и мать алкоголичка! Еще хуже отца!

— А в роду у вас никто не страдал эпилепсией?

Граня не знала, что такое эпилепсия.

— Про это ничего сказать не могу! Корью болела, и скарлатина была.

Девушке еще задавали вопросы, она нехотя отвечала и уже почувствовала усталость. Лохматый старик все время сидел молча и не сводил с Грани изучающих глаз. К нему обратился чернобородый господин:

— Пожалуйста, профессор!

Старик поднялся и ласково сказал:

— Теперь встаньте, барышня. Подойдите сюда. Снимите халат.

Граня зарделась. Сестра сдернула с нее халат. Девушка осталась в длинной больничной рубахе.

— Стойте ровнее. Закройте глаза. Протяните вперед руки. Не шевелитесь. Хорошо. Откройте глаза. Смотрите сюда, направо, на мой палец. Налево. Наверх. Хорошо! Теперь опять закройте глаза. Указательным пальцем дотроньтесь до кончика своего носа. Вначале правой рукой, потом левой. Хорошо. Глаза откройте. Сядьте и положите ногу на ногу.

Лохматый старик взял никелированный молоточек и стукнул Граню по голой худой коленке. Девушка вздрогнула.

— Ничего, ничего!— профессор погладил ее по голове.

Почти целый час осматривали врачи Граню, задавали ей непонятные и, как казалось девушке, ненужные вопросы. Наконец доктор в пенсне сказал:

— Недаром французы называют истерию гранд симулятри. Она действительно может симулировать всевозможные психиатрические и соматические заболевания!

— Лабораторные анализы галошной мази не подтвердили примеси яда.

— Яд один: неочищенный бензин!

— И тяжелые условия труда!— добавил профессор.

Господин с черной красивой бородой распорядился:

— Можете увести больную!

В коридоре сестра сказала с гордостью:

— Тебя смотрел сам профессор Бехтерев!

Кто такой Бехтерев, Граня не знала. Она улыбнулась, вспомнив, как профессор велел ей с закрытыми глазами пощупать пальцами кончик носа.

— А этот, с черной бородой? Тоже профессор?

— Нет. Генерал из Министерства торговли и промышленности. Он самый главный. Председатель комиссии... Литвинов-Фалинский.

— Противный какой!

После Грани смотрели других женщин. Им задавали точно такие же вопросы, и знаменитый профессор Бехтерев стучал по голым коленкам молоточком, велел косить глаза влево и вправо и, зажмурившись, найти свой нос.

Через день к Гране пришла ее мать. Они вышли в коридор и сели на скамейку. Граня удивилась: мать была трезвая, в глазах ее застыл испуг.

— Доченька моя!— зашептала она.— Что же это ты наделала? Да тебя засудят в Сибирь.

— За что?

— Говорят, ты людей травила. Яд в галошную мазь насыпала.

— Кто тебе это сказал?— ужаснулась Граня.

Мать заморгала, на глазах ее показались слезы.

— Не спрашивай. Все одно не скажу. Сама Сибири боюсь. Подпиши им, иродам, чего они хотят. И только ни слова никому. Молчи, христа ради!

Граня сидела, крепко сжав губы. Она ничего не могла понять. По морщинистым щекам матери катились прозрачные слезинки.

— Ну, я пойду, доченька!— сказала она и, согнувшись, поплелась к выходу.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Утром Михаил пришел на завод и увидел возле ворот толпу рабочих. Он удивился: ведь забастовка-протест была объявлена только на один день.

— Что такое?— спросил он, здороваясь с Костей.

— Вегман закрыл завод! Присоединился к локауту, устроенному фабрикантами и заводчиками. Похоже, начинается настоящая заваруха. Мы — всеобщий протест,—

он произнес это слово с ударением на первом слоге,— они — всеобщий локаут. В общем борьба классов. Кто кого осилит.

Костя весело скалил зубы. Но рабочие были настроены далеко не радостно. Локаут лишал их заработка и куска хлеба. Толпа недовольно гудела.

Рабочие не расходились. Кто-то выдвинул предложение послать делегацию в социал-демократическую фракцию Государственной Думы с протестом против локаута и требовать от правительства прекратить его.

— Проснулся, дядя!— насмешливо крикнул Костя.— Единой фракции давно нет! Есть фракция большевиков —«шестерка» и меньшевиков —«семерка»! Вношу предложение послать делегацию в «шестерку».

— А ну вас к чертям собачьим!— обозлился заросший бородой литейщик.— Людям жрать завтра будет нечего, а вы только грызть друг друга умеете. Пропадите вы пропадом, горлопаны! Большевики, меньшевики, ликвидаторы, правдисты, лучисты... Плевать мне на всех. У меня дома своя шестерка зубами щелкает. Я работать на них должен, кормить их!

— Правильно-о-о! Верно!

— Неправильно!

Толпа гудела у закрытых ворот и не расходилась.

То же творилось на многих заводах и фабриках Петербурга. Это был первый большой локаут в столице — он неожиданно и тяжело ударил рабочих по карману. Большинство угрюмо молчало, слушая речи ораторов, призывавших стойко держаться в начавшейся борьбе. Но многосемейные рабочие ворчали и ругались.

Михаил отправился домой. Анна Петровна, увидев сына, удивилась.

— Что так рано? Неужели опять забастовка?

— Локаут.

— Это что же такое?

— Заводчики забастовали. Проучить нас хотят.

— Доиграетесь вы, ребята! Опять будет, как в девятьсот пятом. Сколько народу погибло, а ведь все зря! Только хуже стало.

Михаил считал мать «несознательной» и не спорил с ней. И сейчас он не стал продолжать разговор, а сел дочанчивать начатое вчера стихотворение «На Обводном канале». Работа подвигалась туго. Не хватало нужных слов, он мучился в поисках хорошей рифмы. Стихотворе-

ние разрасталось, а он не знал, чем его закончить, где поставить точку.

Конечно, если посидеть подольше, можно найти рифмы и получше, но... надо торопиться к Гране. Он посмотрел на ходики. Как быстро летит время!

— Ты куда?— Анна Петровна выжидающе смотрела на сына.

— Надо, мама.

— Все надо, надо. Что-то от меня скрываешь, Мишка!

— Ничего не скрываю!

Михаил поехал на Петербургскую сторону, в больницу, где лежала Граня. Он был здесь два раза, но его не пускали. Сейчас хотел сделать третью попытку. Но и она кончилась неудачей, хотя Михаил проторчал в канцелярии больше двух часов. Кто-то тщательно следил, чтобы к Гране не пропускали посетителей, исключение сделали только для сестры и матери. Даже журналисты не могли узнать, в какой палате лежит галошница с «Треугольника», имя которой попало на страницы газет.

Получив в больнице категорический отказ, Михаил поехал на Ивановскую улицу, в редакцию «Правды». В кармане у него лежало стихотворение «На Обводном канале», написанное ночью. Он обрадовался, когда увидел Ерошина. Поэт пришел без обычного зеленого сундучка за спиной.

— Я теперь продаю «Правду»,— сообщил он последнюю новость.— Работа в сто раз интереснее, чем крыс травить. Вот сейчас принес стихотворение, имеет отношение к «Треугольнику». Называется «Сирота». Мать на фабрике отравили насмерть.

— Я тоже принес и на такую же тему. Пожалуй, два не возьмут.

— Возьмут! Сейчас это бьет в самую точку. Рабочих травят!

Михаил сказал заискивающе:

— Ты посмотри, как я сочинил.

— Ну, что же, давай!

Они уединились в соседней комнате, где на столе лежали газеты. Ерошин читал стихи и морщился, будто у него внезапно заболели зубы.

— Стишки плохие! Раешник!— сказал он недовольно.— Не пиши ты, друг, стихов! Рассказы у тебя лучше получаются.

Михаил обиделся и хотел разорвать стихотворение, но Ерошин остановил:

— Погоди. Покажи дяде Косте. Могут напечатать. Сейчас это на злобу дня, то, что требуется газете.

Еремеев, не выпуская трубки изо рта, пробежал стихотворение и одобрил:

— Пойдет! Конечно, пойдет!

Михаил обрадовался, ему очень хотелось, чтобы «Правда» поместила именно это стихотворение. Граня прочитает, когда выйдет из больницы.

А в редакцию густым потоком шли рабочие корреспонденты. Они приносили заметки о закрытии предприятий. Локаут принимал грозные размеры. Заведующий отделом рабочей хроники подсчитывал, сколько человек внезапно остались без заработка.

Непрестанно звонил телефон. На окраинах столицы шли демонстрации, там гремели революционные песни и, как сообщали корреспонденты, полиция разгоняла рабочих не только нагайками.

Еремеев, умевший одновременно разговаривать по телефону, курить свою неизменную трубку и писать статью, вдруг закричал:

— Что? Что? Повтори! Убит рабочий завода «Вулкан» Андреев? Обязательно дадим в номер. Сейчас сам напишу!

Он положил телефонную трубку и обратился к присутствующим:

— Первая кровь, товарищи!

В редакцию вошел Демьян Бедный с тяжелой суковатой палкой в руке.

— Какая кровь? Кого убили?

— Во время демонстрации рабочего Андреева. Нес красный флаг. Три пули попали в грудь.

Дядя Костя спешно писал заметку. Демьян присел к его столу и, как всегда, принялся просматривать ворох корреспонденций. Одна привлекла его внимание. На свинцово-белильной фабрике, как и на «Треугольнике», произошло массовое отравление рабочих.

— Есть!— сказал баснописец и, взяв чистый лист бумаги, стал писать фельетон.

Михаил смотрел, как он быстро набросал восемь строк, потом еще быстрее перечеркнул их накрест, скомкал бумагу и выбросил в корзину.

К Демьяну Бедному в редакции привыкли. Маленькие фельетоны рождались здесь часто, и поэтому никто из постоянных сотрудников газеты не обращал внимания на автора. Михаил не сводил глаз с нового листа, где

вместо восьми строк получилось шесть. Но и они, видимо, не удовлетворили взыскательного поэта. Шесть строчек постигла участь прежних — они полетели в корзину.

И снова Демьян рвал бумагу и бросал ее под стол.

— Ну, теперь, как будто, получилось!— наконец сказал довольный поэт.— Эпиграфом надо поставить два факта. Первый: «Химический анализ мази показал, что она не содержит никаких ядовитых веществ за исключением свинца». Второй: «Рабочий завода «Вулкан» застрелен городовым во время демонстрации». Фельетон называется «И там и тут». Всего четыре строчки!

И Демьян прочитал густым басом:

На фабрике — отрава,
На улице — расправа,
И там свинец, и тут свинец...
Один конец!

— Крепко!— одобрил дядя Костя.

А Ерошин шепнул Михаилу:

— Вот, учись, как писать надо. Всего четыре строчки, а человек все ухватил в кулак. Ни одного лишнего слова здесь нет.

Михаил из редакции хотел поехать домой, но Ерошин остановил его:

— Ты куда-нибудь торопишься?

— Завод стоит, торопиться некуда.

— Сходим к Самобытнику. Он вчера приходил, разыскивал меня.

— Пойдем!

По дороге они говорили о Демьяне Бедном. Михаил допытывался, почему стихотворение в четыре строчки оказалось лучше первого, в восемь строк. Демьян — талантливый поэт, не мог же он написать первое стихотворение плохо.

Ерошин посмотрел на Михаила с жалостью:

— Вот когда ты прочитаешь всего Пушкина, всего Лермонтова, всего Тютчева, тогда поймешь.

В душе Ерошин ругал дядю Костю: зачем тот пообещал Михаилу напечатать в завтрашнем номере его безграмотный раешник?

Молодые люди вышли на Тамбовскую улицу и удивились, увидев огромную толпу детворы около «Народного дома» графини Паниной. Когда после закрытия фабрики «Треугольник» рабочие остались без работы, Софья Владимировна приказала бесплатно кормить де-

тей галошниц, а узнав о локауте, широко распахнула двери своей столовой для всех детей рабочих.

Ерошин повел Михаила за кулисы театра, где он рассчитывал найти Самобытника. По пути они заглянули в столовую. Там гудел гигантский рой. Официантки носились между столами с подносами, раздавая малышам металлические чашки, наполненные макаронами.

— Вот это штука!— застыл на месте Ерошин.— Смотри, сама графиня!

Софья Владимировна в переднике и наколке, как все официантки, помогала обслуживать детей.

...За кулисами Самобытник говорил неуверенно, в голосе его звучала растерянность:

— Не разберешь, что она за человек. Миллионерка, денег девать некуда. Если подходить с точки зрения политэкономии, она должна быть на стороне капиталистов. А она сегодня детей безработных кормит, официанткам помогает. Штрейкбрехер! Не понимает своих классовых интересов.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Дирекция «Треугольника» объявила фабрику закрытой на неопределенное время. Общество фабрикантов и заводчиков в ответ на забастовку резинщиков и рабочих крупных заводов, проводивших стачку-протест против отравления галошниц, без всяких предупреждений объявило локаут, чтобы внести смятение в ряды питерских пролетариев.

Профессор Бехтерев, осмотревший Граню и еще шестнадцать галошниц, решительно отверг легенду о «Комитете отравителей».

— Отравление бензином,— заявил он в комиссии,— всегда вызывает явления острой истерии, часто в сильной форме, вплоть до глубокого обморочного состояния.

Однако нашлись и продажные ученые, вроде профессора психоневрологического института, действительного статского советника П. Розенбаха, заявившего, что источник отравления — не бензин, а яд, «принесенный извне» и подсыпанный в галошную мазь.

Владельцы «Треугольника» не жалели денег. Фабричные врачи и инспекция, химики и психиатры, правительство и чиновники, печать и полиция ополчились против несчастных галошниц.

И только «Правда» встала на их защиту.

> «Комитет отравителей», несомненно, существовал и существует, только искать его надо не среди рабочих. Его надо искать среди тех: 1) кто рабочим дал неочищенный бензин, 2) кто заставляет их работать в удушливой атмосфере, 3) кто непосильной работой, длинным рабочим днем и низкой заработной платой истощил организм галошниц».

Локаут принес голод в рабочие семьи, но фабриканты и заводчики тоже не успевали подсчитывать убытки на остановленных предприятиях. Морское и военное ведомства требовали выполнения заказов в срок — на горизонте собирались зловещие тучи. И общество фабрикантов и заводчиков решило прекратить локаут.

Почти через месяц дирекция «Треугольника» объявила набор новых рабочих на фабрику. При приеме отсеяли свыше двух тысяч человек. В это число попала и Граня, только что вышедшая из больницы.

Модная тема о «Комитете отравителей» быстро исчезла со страниц газет, как только прекратился локаут. Рагозинский бензин заменили нобелевским. Вновь задымили высокие фабричные трубы на Обводном канале, а выброшенные за ворота люди кинулись искать работу.

Граня попробовала устроиться на ниточную фабрику, где набирали работниц. Ее записали и велели прийти на другой день. Она пришла, но неожиданно получила отказ:

— Больше не требуется!

Девушка пошла на ткацкую фабрику. Опять ее записали и снова не приняли.

— Теперь тебя на большую фабрику не возьмут. Попала твоя фамилия в «черный список»,— сказала ей одна работница.

— Какой «черный список»?

— Опасных людей. Хозяева не любят непокорных.

— Что же мне, с голоду помирать? Или на улицу идти?

— Кусок хлеба везде можно заработать. Ты молодая, тебя и в горничные и в официантки возьмут. В мастерскую устроишься. А что на завод или фабрику — и думать нечего!

Граня встречалась с Михаилом, рассказывала ему, что ищет работу. Мрачное название «черный список» на-

веяло на нее непонятный страх. Неужели она всю жизнь останется безработной? Сама не зная почему, она умолчала о «черном списке», который ей казался таким же зловещим, как и таинственный «Комитет отравителей».

— Может, тебе деньги нужны?— спросил Михаил.

— Нет-нет!— поспешно отказалась Граня.— У меня еще есть.

Девушка говорила неправду, ее выручала подружка, с которой она спала на одной койке, утеряв право на собственную. Больничная касса «Треугольника» выдала ей пособие, а председатель кассы, большевик, видимо, пожалев девушку, дал ей добрый совет:

— Ты сходи в «Народный дом» Паниной, подай Софье Владимировне прошение, и, пока работы не найдешь, она тебя на бесплатные обеды зачислит. Скажи, я тебя послал.

Когда Граня истратила последний пятачок, она, хотя и плохо верила председателю больничной кассы, пошла в «Народный дом». Здесь, в вестибюле, она увидела небольшую стайку девушек, ожидавших приема. Через минуту Граня поняла: все они пришли с такой же просьбой, как и она.

Софья Владимировна принимала просительниц поодиночке. С некоторыми она разговаривала долго, других отпускала быстро.

«Словно милостыню просим!» — краснея, подумала Граня, нерешительно берясь за ручку двери.

У нее мелькнула мысль повернуться и уйти. Но кто-то сердито сказал сзади:

— Чего стала, иди!

И Граня вошла в небольшой кабинет, где за столом сидела Софья Владимировна, как всегда, одетая в черное платье с закрытым воротом.

— Садитесь,— предложила она.— Я слушаю вас.

— Ничего. Я постоять могу.

— Есть же стул.

Голос звучал ласково. Панина — красивая, с добрыми глазами дама лет тридцати с лишним. Но в душе безработной Грани неведомо почему поднималась злоба к богатой женщине, сидевшей против нее в мягком дорогом кресле.

— Вы нуждаетесь в бесплатных обедах?

— Нуждаюсь.

— Почему не работаете?

— На «Треугольнике» работала. После забастовки выгнали, а снова не взяли.

— Вам сколько лет?

— Девятнадцать.

— Отец есть?

— Есть.

— Почему он вам не поможет?

— Он в тюрьме сидит.

— За что?

— Водку украл. И скандалил.

— Мать есть?

— Есть. Пьяница.

— Братья? Сестры?

— Сестра есть.

— Почему она вам не помогает?

— Она проститутка!— вызывающе сказала Граня, глядя с ненавистью в глаза графини Паниной.— Таким путем и я могла бы себе на хлеб заработать.

— Хорошо, вы будете получать бесплатные обеды в течение месяца. За это время вам необходимо найти работу. Я понимаю, сейчас большая безработица. Конечно, подыскать сразу хорошее место очень трудно. Ко мне обращаются девушки, которым наш Дом оказывает помощь. Они часто жалуются, что никак не могут устроиться — месяца им мало! Я обычно предупреждаю, что у меня такой порядок: не больше тридцати дней! Не надо отказываться ни от какой работы. Каждый человек обязан трудиться. Кто не работает, тот не ест! Надеюсь, вы меня поняли? Один месяц, не больше!

— Только... только,— девушка задыхалась от волнения,— я вам заплачу за обеды... До копейки! Все! Когда только буду...

Граня не могла сдержать слез.

— ...работать!

ГЛАВА СОРОКОВАЯ

Михаил уже давно заметил хорошее, дружеское отношение к себе Егора Николаевича. Как-то незаметно получилось, что он стал иногда заходить после работы к лесновскому пропагандисту. Вот и сегодня вечером он заглянул к нему на квартиру, увидев в открытое окно слесаря, склонившегося над столом.

Одну минуту Михаил колебался, стоит ли тревожить

занятого человека, но Егор Николаевич уже заметил его и крикнул:

— Заходи, Миша!

Михаил прошел в комнату.

— Да я только на минутку.

Он по опыту знал: эта минутка зачастую превращалась в добрый час, когда начинался интересный разговор о литературе.

— А это что у тебя такое?

— Книжку одну купил... Конфискованную. Дорого отдал. Растрепанная, правда, и трех страниц не хватает. Я бы в переплет отдал, да боязно.

Егор Николаевич взглянул на обложку и брезгливо усмехнулся:

— Чудак человек! Да ее же за порнографию конфисковали. «Санин» Арцыбашева... И правильно сделали.

— А я ничего не понял!— сознался Михаил.

— Чего же тут понимать! Сплошная грязь! Все сводится к одной постели. Любовь, брат,— это высокое чувство. Пачкать его ни к чему. А у Арцыбашева — сплошная зоология. Бывает, правда, что человек попадает в такие проклятые условия, когда о настоящей любви он может только мечтать. Невеста, жена — не для него. Но люди идут на это сознательно, во имя высших идеалов; приносят личное счастье в жертву революции. Возможно, я не особенно понятно рассказываю. Лучше я тебе дам один рассказ почитать. Он лет десять назад вышел. Об этом.

Егор Николаевич взял с книжной полочки тоненькую брошюрку и протянул своему гостю.

— Только не потеряй, смотри!

Михаил прочитал на плотной зеленой обложке имя автора: А. Одинокий — и название рассказа: «Проклятый вопрос». Книжка была издана в Женеве в 1904 году.

— А «Санина» выбрось к черту. Мерзкое словоблудие!

— Я за нее дорого заплатил!

— И дурак!

Михаилу было жаль загубленных денег, да и книжка не казалась ему плохой. Егор Николаевич достал с полки объемистый том и сказал:

— Давай сделаем так. «Санина» мы сейчас уничтожим, а я тебе взамен подарю Рубакина «Среди книг». Если хочешь серьезно заниматься самообразованием и читать хорошую художественную литературу, без Руба-

кина не обойдешься. Для нашего брата рабочего это — золотая книга. Дорожи ею.

И Гастев на глазах Михаила разорвал зачитанный до дыр роман Арцыбашева.

— Послезавтра внеочередное занятие кружка!— напомнил Егор Николаевич, прощаясь с Михаилом.— Очень важный вопрос, о «Правде».

— Знаю. У нас на заводе Гордеич уже выступал. Насчет увеличения подписки.

— Тут дело не только в подписке, хотя и она необходима. Событие большого политического значения!

Во всех пропагандистских кружках руководители-большевики готовились отпраздновать двухлетний юбилей «Правды». Первый номер газеты вышел 22 апреля тысяча девятьсот двенадцатого года, и это знаменательное число партия решила ежегодно отмечать как День Рабочей Печати.

Егор Николаевич, постоянный корреспондент «Правды», на собрании кружка рассказал, как редакция намеревается провести юбилей. На фабриках и заводах надо найти новых подписчиков, все сознательные рабочие России должны отчислить однодневный заработок в «Железный фонд» газеты. В День Рабочей Печати сотрудники выпустят праздничный номер на восьми полосах и значительно большим тиражом, чем обычно.

Костя, добровольный распространитель «Правды», прикинул: ноша с юбилейными газетами будет вдвое тяжелее, придется взять помощника.

Когда молодежь стала расходиться, Егор Николаевич остановил Михаила:

— Погоди, дело есть!

Костя, дожидавшийся приятеля в дверях, кивнул:

— На углу постою!

— Иди-иди! Сейчас придет. Я его только на одну минуту задержу.

Последним ушел Гордеич, а Егор Николаевич, по привычке пощипывая бородку, сказал:

— Хочу дать один совет. В юбилейном номере «Правды» напечататься — большая честь. Если напишешь коротенький рассказ, связанный с юбилеем газеты, редакция обязательно опубликует. Подумай, Миша!

— Хорошо, Егор Николаевич.

— Только смотри, не опоздай, четыре дня осталось!

Прощаясь с Михаилом, пропагандист поинтересовался:

— Ну как, Рубакина смотрел?
— Конечно!
— Полезная вещь?
— Полезная.

Михаил соглашался, хотя еще не успел оценить как следует подарок пропагандиста. Он вышел из накуренной комнаты на улицу и глубоко вдохнул чистый воздух.

Апрель стоял теплый, легкий, ветерок нес смолистые запахи соснового леса, хорошо знакомые с детства. Они будили в юноше не только какие-то смутные воспоминания, но наполняли грудь сладостным ощущением бытия.

Костя на углу курил папиросу.

— Ну, идем!

Они шли по шоссе мимо темного соснового бора. Костя пробовал завести разговор, но Михаил отвечал рассеянно и невпопад. Он думал о рассказе для юбилейного номера «Правды». Тему подсказал Егор Николаевич, теперь нужно было найти сюжет.

Придя домой, Михаил долго прикидывал, кого сделать героем своего произведения. Конечно, это должен быть рабочий, постоянный читатель «Правды». А может быть, работница, вроде Грани? Лесновский пропагандист постоянно повторял: для «Правды» важно создать «Железный фонд», газета существует на рабочие гроши. Значит, нужно, чтобы Граня пожертвовала деньги в «Железный фонд» газеты. Но если так написать, получится не интересно.

Сколько Михаил ни ломал голову над завязкой, ничего не выходило. Он уже решил отказаться от всяких поисков, но вдруг ему на глаза попались стоптанные прюнелевые туфли матери, стоявшие под кроватью. Бережливая Анна Петровна хотела отдать их старьевщику за гривенник, но тот предлагал только пятак.

И Михаил вспомнил: когда-то, в дни его детства, мать продала вот такие старенькие туфли, а на вырученный гривенник купила ему жестяную коробочку леденцов.

Две мысли неожиданно завязались в один узелок, и он стал фантазировать.

Вот работает на папиросной фабрике девушка, постоянная читательница «Правды». Она ходит в стоптанных туфлях. Надо купить новые, но девушка зарабатывает гроши. Она откладывает деньги. Приближается День Рабочей Печати. На фабрике проводится сбор в «Железный фонд», и девушка жертвует накопленные по пятаку деньги. Осталась без туфель, а рубль отдала. Ко-

нечно, не сразу, долго колебалась, жалко было, но... Она была сознательной работницей, вроде Нюрки.

Могла быть такая история? Могла! Хотя Нюрка дала на «Правду» всего двугривенный.

Михаил сел за стол и стал быстро писать, а когда кончил — удивился, что так легко ему дался этот рассказ. Вначале он хотел назвать работницу Граней, но подумал и дал ей имя Ольга. Волнуясь, Михаил повез рукопись в редакцию. Он надеялся, что рассказ возьмут, и беспокоился об одном: не опоздал ли?

Дядя Костя, не вынимая трубки изо рта, кивнул Михаилу в знак приветствия и громко сказал:

— Принес что-нибудь? Давай сюда, Миша!

— Рассказ.

— Почитаем! Садись!

Михаил подумал, все сотрудники придут в восторг от его произведения и в один голос воскликнут: «Вот это как раз для юбилейного номера!»

Но дядя Костя не дочитал первую страничку рукописи. Он посмотрел конец — равнодушно пробежал крупно написанные строчки, сползавшие на концах книзу. Сердце Михаила похолодело в ожидании сурового приговора. И рассказ, который ему самому так нравился, показался вдруг удивительно бездарным и скучным. Смущенно краснея, он мял в руках кепку.

Дядя Костя вынул трубку и сказал, глядя в сторону:

— Что же, оставь. Пусть еще товарищи посмотрят.

Рассказ Еремееву не понравился, это ясно, иначе он сразу сказал бы, как обычно: «Напечатаем».

Михаил хотел встать и уйти, но из соседней комнаты вышел человек в поношенном пиджаке. По железным очкам и небольшой бородке Михаил узнал айвазовского токаря, того самого, что был однажды у Егора Николаевича на занятии кружка. Это он ругал Костю за дикую выходку с мастером, которого вегмановские ребята вывезли на тачке! Токарь сел на стул рядом с Михаилом и положил перед Еремеевым небольшую статейку:

— Вот тут написал, как сумел, а вы поправьте.

— Обязательно!

Дядя Костя синим карандашом принялся беспощадно вычеркивать фразу за фразой.

— Крепко откусываешь!

— Места нет, товарищ Калинин.

— Ладно-ладно! Я не обижаюсь!

Михаил заметил, дядя Костя сократил рукопись почти наполовину. Токарь протянул руку на прощанье, но Еремеев задержал его:

— Не очень торопишься, Михаил Иванович?

— Нет. А что?

— Вот тут у меня рассказик небольшой лежит. Погляди, пожалуйста.

Дядя Костя протянул рукопись. Калинин читал медленно, слегка наморщив лоб. Еремеев, попыхивая трубкой правил уже вторую статью. Михаил смотрел на токаря и удивлялся: почему с ним советуется сотрудник «Правды»?

— Прочитал,— Калинин вернул рукопись.

— Ну как? Что читатель скажет?

— Правильно написано. По-моему, неплохо.

— Для юбилейного номера нам нужен рассказ,— сказал Еремеев.— Два года «Правда» существует, и писатели у нас появились свои. Хороший рассказ хотелось бы.

— Насколько хорош он, Константин Степанович, тебе виднее. Я не критик, я простой читатель.

— Знаем, какой ты простой!— дядя Костя кивнул на Михаила.— Вот автор! Три рассказа его напечатали, а этот слабоват, хотя по теме очень нужный.

Калинин пристально поглядел на Михаила.

— Постой-постой! Да мы с тобой, кажется, встречались! Только не припомню, где.

— Я в Удельной живу. У Вегмана работаю.

— Так-так! Вспомнил. У слесаря Васильева вместе были.

— Да. У Егора Николаевича.

Пока Калинин разговаривал с Михаилом, дядя Костя еще раз посмотрел рассказ.

— Ладно,— пообещал он.— Если появится что-нибудь лучше, тогда твой не пойдет. А если ничего не будет, тебя напечатаем. Только название больно плохое: «Железный фонд». Не годится. Ну, ничего, придумаем сами! Еремеев протянул ему руку:

— Заглядывай!

Михаил хотел проститься и с Калининым, но тот спросил:

— В Удельную сейчас?

— Да.

— Поедем вместе.

Они вышли из редакции и повернули в сторону Загородного проспекта.

— Тебя как звать-то?

— Михаилом.

— Выходит, тезка! Значит, это у вас мастера на тачке вывезли за ворота?

— Нет, только во двор.

— Сейчас работает?

— Ушел.

Калинин задавал Михаилу вопросы, желая узнать, что за человек — его случайный спутник.

Они дошли до Загородного проспекта и вскочили на переполненную площадку трамвая. Михаил, прижатый пассажирами к стенке, потерял Калинина из виду. На углу Бассейной трамвай неожиданно остановился: впереди тянулась длинная цепочка вагонов. Люди стали выходить, вышел и Михаил. Тут он снова увидел айвазовского токаря.

— А я тебя смотрю,— сказал Калинин.— Видать, это история долгая, пойдем-ка лучше пешком, прогуляемся. За клиникой на двадцать первый сядем.

Разговаривая, они зашагали по Литейному проспекту. Возле книжного магазина токарь остановился и стал разглядывать выставленные на витрине книги. Внизу лежала перевязанная пачками букинистическая литература.

— Посмотри, за четыре целковых можно всего Лескова приобрести!— воскликнул Калинин.— Умную штуку придумал издатель Маркс — стал приложениями классиков давать. Это хорошо! А вот что он Шеллера-Михайлова напечатал всего, это, по-моему, совсем зря. Плохой писатель! Я все его сочинения перечитал, а в голове ничего не осталось.

Токарь говорил о книгах с видом знатока. Михаил подумал: не зря очки носит, видно, читал много и зрение испортил.

— Ты любишь книги?

— Конечно.

— Если сам рассказы сочиняешь, должен любить,— согласился Калинин, внимательно разглядывая выставленные новинки.— Книга, брат,— наипервейший друг и советчик, особенно для того, кому дорожка в школу была заказана. Меня поначалу старик солдат церковно-славянской грамоте обучил, чтобы я псалтырь над покойником прочитать мог. Да и в начальной школе все больше

жития святых под руку попадались. На мое счастье, у нашего помещика хорошая библиотека была... Образованный господин, ничего не скажешь, только фамилия некрасивая: Мордухай-Болтовский! Я мальчонкой был, когда он меня в лакеи к себе взял. Должность, конечно, холуйская, но у этого Мордухая сыновья были моего возраста, гимназисты. Не жадные, книжки мне давали. У них я «Жизнь животных» Брэма прочитал и даже Герцена... Слышал про такого писателя?

— Нет.

— Жизнь у меня — не мед была,— продолжал токарь.— Прежде чем на завод попасть, я кухонным мужиком у баронессы Будберг служил...

Калинин вдруг оживился и про баронессу забыл:

— Погляди, «Мать» Горького!.. Книжка конфискованная, а нет-нет и продается! Читал?

— Читал.

— Хвалю. Молодец.

Когда они отошли от магазина, Михаил сказал:

— А я Максима Горького видел!

— Где же это?

— На его квартире. На Кронверкском. Он собирал рабочих писателей.

— Слышал. Рассказывали. Удивительный писатель. Я его «Буревестника» сразу наизусть выучил. Можно сказать, гимн Революции! Трудно ему жить в России, правительство покоя не дает. У нас писательством заниматься — дело опасное. Если человек прямой, тюрьмы и ссылки не миновать. Это ты себе на ус мотай, раз писателем стать хочешь.

— Хочу,— сознался Михаил.

— Одного хотения мало,— в раздумье продолжал токарь.— Писатель — это художник. А для художника прежде всего талант нужен, искра божия в сердце должна гореть.

Михаил вздохнул. Он до сих пор не знал, горит ли у него в сердце какая-нибудь искра.

А Калинин говорил:

— Я почти все произведения писателя Потапенки прочитал, а на душе холодно. А вот один рассказ Чехова, на мой взгляд, стоит в тысячу раз больше, чем все Потапенки, Михайловы-Шеллеры и Эртели. А почему? Да потому, что Чехов — художник великий, творец, его рядом с ремесленником не поставишь. Но и для таланта умственное развитие требуется, учиться надо, без ученья

какой же может быть писатель, особенно пролетарский? Я знаю одного водопроводчика, даже стишки сочиняет малограмотные, а родного русского языка не знает. И не читал ничего. Я вот — простой читатель, а беру книжку и сразу чувствую, художник ее писал или ремесленник. Помню, в тюрьму однажды попал после забастовки. Кроме журнала «Нива», ничего там не было. До того мне эта «Нива» осточертела, прямо деваться некуда. И вдруг попалась книга Гончарова «Фрегат «Паллада». Какой она мне показалась роскошью! На воле я бы ее прочитал со скукой. А тут стал смотреть, каким ярким языком написана, и понял: Гончаров, как Тургенев или Чехов, большой художник. Вот у кого русскому языку учиться надо!

Словоохотливый токарь мог говорить о литературе без конца, он любил книги и много читал, но беседе помешал высокий господин, шагавший навстречу с портфелем под мышкой. Он узнал Калинина и преградил ему дорогу:

— Аркадий Александрович!— удивился токарь.— А я слышал, вы в Любани с супругой.

— Я везде — и там, и тут... Рад вас встретить, Михаил Иванович!

Калинин посмотрел на своего молодого попутчика и сказал:

— Ну, тезка, иди дальше один. Я задержусь, пожалуй.

Юноша поклонился, стараясь вспомнить, где он видел этого высокого господина, но так и не вспомнил.

...Через два дня Михаил развернул номер «Правды», посвященный Дню Рабочей Печати. На первой странице он увидел портреты Карла Маркса, Фридриха Энгельса, фотографии первых номеров «Звезды» и «Правды». Михаил посмотрел семь страниц и на восьмой нашел свою фамилию под рассказом, которому дядя Костя придумал название — «Лепта». Он жадно пробежал его и убедился: редакция напечатала рассказ без сокращений. А сразу под рассказом шел список ста девяноста семи жертвователей в «Железный фонд» «Правды». Он занимал две колонки, набранных скупым петитом.

Михаил обратил внимание — рабочие завода Вегмана внесли 26 р. 85 к. (он и Костя дали по полтиннику), стрелочник Путиловской ветки пожертвовал 45 коп., муж

и жена, скрывшие свою фамилию,—3 р. 33 к., церковный сторож и неизвестный генерал дали по рублю.

Михаил прочитал на первой и второй страницах приветствия, полученные газетой из-за границы от зарубежных социалистических партий и от английского писателя Бернарда Шоу, о котором он ничего не знал. Целую полосу занимал очерк «Как делается «Правда». И только одну скромную заметку, набранную петитом на пятой странице, где были помещены приветствия «Пути Правды», Михаил проглядел.

От сотрудников

Уваж. тов.! Горячо приветствуя «Путь Правды» в день юбилея и желая дальнейших успехов рабочей печати, прилагаю при сем 6 руб. 68 коп. как отчисление дневного заработка двух правдистов и 2 руб. как особый взнос правдиста Ганецкого сверх отчисления дневного заработка.

С тов. приветом *В. Ильин.*

Но если бы Михаил даже и прочитал эту заметку, то вряд ли бы догадался, как и тысячи других читателей, что она была написана Лениным.

ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ

Костя прочитал в «Трудовой Правде» на первой странице объявление о выходе в свет сборника пролетарских писателей. На второй полосе в заметке «Первая ласточка» перечислены были имена поэтов и прозаиков, принявших участие в нем.

— Смотри!— сказал он, подойдя к Михаилу.— Твоя фамилия тоже есть.

Михаил вспыхнул от радости.

На другой день он отпросился у мастера и в обеденный перерыв поехал в город на Измайловский проспект, где помещался склад издательства «Прибой», и приобрел пять экземпляров только что вышедшей книги. С нетерпением наблюдал Михаил, как их заворачивали в оберточную бумагу. Выйдя на улицу, он достал из пакета одну книжку и принялся ее перелистывать. Пальцы его дрожали. Вместо нового рассказа «Галошница» он увидел старый — «Смерть Агаши», перепечатанный из

«Правды». Сюрприз был одновременно приятен и огорчителен: Михаил не мог понять, почему забраковали его новый рассказ, над которым он так упорно работал с тайной надеждой, что Граня, прочитав его, узнает себя в героине произведения, молодой галошнице. Ну, что же, хорошо, что напечатали хоть старый рассказ. И за это спасибо!

Желание похвастать успехом было так велико, что Михаил решил немедленно разыскать Граню. Он знал, что она иногда ночует у Раи, во всяком случае, там скажут ее адрес. Однако найти девушку оказалось не просто,— она ходила по городу в поисках работы. Михаил попал на Петербургскую сторону и долго ждал у ворот дома, где жила Гранина подруга.

— А я уж думал, что не встречу тебя!— с легким укором сказал он, не заметив усталости на измученном лице девушки.— Пойдем куда нибудь, посидим?

— Пойдем,— согласилась Граня.

Они шли по Большому проспекту. Девушка молчала, а Михаил не хотел по дороге рассказывать, почему приехал в рабочее время из Удельной. Когда они проходили мимо кондитерской, Михаил сказал:

— Погоди минутку!

В кармане у него был лишний двугривенный, и он купил шесть пирожных. Ему положили их в бумажную корзиночку и перевязали ленточкой.

Граня равнодушно взяла пирожные. Михаил предложил зайти в тенистый церковный сад. Они нашли укромную скамейку. Граня стала развязывать пирожные, а Михаил распаковал сверток с книгами.

— Вот!— он с сияющим видом развернул перед Граней книгу.— Смотри. Мой рассказ! Только не тот, который я про тебя писал. Этот из «Правды» перепечатали, «Смерть Агаши». Видишь, моя фамилия. Хочешь, я тебе его прочитаю!

— Читай.

Михаил читал с упоением, а Граня склонила голову вниз, и непонятно было, слушает она или нет. Мрачные мысли приходили ей на ум. Она устала от бессмысленных поисков работы, и, возможно, завтра будет не только безработной, но и бездомной...

Михаил закончил чтение и, задыхаясь от гордости, заговорил:

— Сам Горький написал предисловие! Ты понимаешь, Максим Горький, знаменитый русский писатель! Лучше

его нет в России! Слушай, что он пишет про нас, пролетарских писателей!

> «Товарищи! Когда история расскажет пролетариату всего мира о том, что пережито и сделано вами за восемь лет реакции,— рабочий мир будет изумлен вашей жизнедеятельностью, бодростью вашего духа, вашим героизмом. Может быть, вы сами не сознаете, не замечаете, как много сделано вами, но будущие поколения русских рабочих и весь пролетарский мир нашей планеты, несомненно, почерпнет в примере вашем великие силы для борьбы за новую мировую культуру».

Михаилу, когда он читал, казалось, что он слышит голос великого писателя, обращенный к нему, одному из авторов.

— У тебя все хорошо, Миша!— задумчиво сказала Граня.— Теперь ты настоящий писатель. Сам Горький пишет про тебя так. А вот у меня...

Она замолчала и отвернулась. Михаил ничего не заметил. Он продолжал листать сборник — хотел показать Гране рассказ Егора Николаевича.

А Граня снова заговорила:

— Я уже по газетным объявлениям смотрю, где бы найти работу. Пришла к одной барыне наниматься в прислуги. Стала она меня расспрашивать. А потом говорит: «Раз вы работали на «Треугольнике» и вас уволили, значит, не зря». И смотрит на меня, как на воровку.

— Да ты с ума сошла — в прислуги идти? Надо на фабрику устраиваться.

— На фабрику меня не берут. Меня в черный список записали.

— Что ты говоришь?

— Приду, как будто берут. А на другой день: не надо. Ничего не объясняют, а работы не дают.

Михаил знал о существовании черных списков. Их составляла полиция. Если рабочий попадал в такой список, ему надо было ехать искать работу в другой город.

А Граня рассказала, как она живет. Пособие из больничной кассы кончилось, второй раз просить совестно. Да и не дадут, помогают только семейным.

— Графиня Панина бесплатным обедом кормит. На второй месяц дала разрешение. А на той неделе увидела меня и говорит: «Зайдите ко мне». Хоть она и добрая,

а не люблю я ее. Достает десятку и предлагает: «Возьмите, пожалуйста». Как нищей!

— Нищим десятки не дают,— вступился за Панину Михаил.— Нищим копейки подают.

— У меня ни гроша в кармане не было, а я не взяла. Ненавижу ее!

— За что?

— Сама не знаю.

Граня помолчала, внимательно наблюдая за стаей голубей, с шумом слетевших на чисто выметенную дорожку перед папертью. Старуха в черном, похожая на монашку, крошила им белую булку.

«Лучше бы вместо пирожных простых калачей купил»,— думала Граня.

— Панина — очень хороший человек!— сказал Михаил.

— Не знаю. Про нее мне одна женщина, которая в «Народном доме» работает, рассказывала, почему графиня в черном платье ходит. Она и сейчас красивая, а когда барышней была, первой красавицей считалась. Вышла замуж тоже за красивого. А после свадебной ночи ушла от мужа. Черное платье надела и с тех пор не снимает... Ненормальная! Небось, пришлось бы ей на «Треугольнике» на мужских галошах работать да полупудовые болванки потаскать,— вся красота бы ее слиняла.

Михаилу хотелось говорить о сборнике, о пролетарских писателях. Он ждал, что Граня обрадуется его успеху. Но она не выразила восторга.

— Хочешь, я подарю тебе книгу?

— А куда я ее дену? У меня своего угла нет.

Михаил обиделся. Он молча запаковал сборник и перевязал шпагатом.

— Мне домой пора!

— Пойдем.

Они вместе дошли до трамвайной остановки и впервые сухо расстались. Граня видела, как Михаил, прижимая сверток с книгами к груди, вскочил на подножку вагона. Девушка постояла немного и уныло побрела в сторону Александровского парка. Куда идти?.. Если бы можно было вернуться домой!

Нет, ни за что, лучше с голоду подохнуть!

А счастливый Михаил, сидя в трамвае, снова перечитал свой рассказ. Ему все больше и больше нравилось

собственное произведение, он не замечал в нем никаких недостатков.

Почему же Граня отказалась взять от него на память книжку?

Он вспомнил, как она сказала: «У меня и угла своего нет!» У нее, кажется, задрожал подбородок. Да, да, на один миг. А потом она крепко сжала зубы и отвернулась.

Михаил припоминал весь разговор с Граней. И чем больше он думал о ней, тем стыднее ему становилось за свою радость, которую он не мог и не хотел скрывать. Читая рассказ девушке, он даже не подумал, сыта она или нет. На что же Граня живет? Кто ей помогает? Только сейчас до него дошло: девушка с гордостью прикрывала свою нищету. А он даже не заметил ничего. Угрызения совести мучили Михаила. Сверток с книгами, лежавший на коленях, уже не радовал его. Он думал не о своем рассказе и не о предисловии Максима Горького, которое придавало значительность всему, что было напечатано в сборнике.

* * *

На другой день после работы Михаил поехал в город к Ерошину. Тот крепко сжал ему руку и испуганно зашептал:

— Беда, Миша!

— Какая беда?

— Дмитрия Одинцова арестовали.

— За что?

— За что... Я так думаю, и нас потянут: у Горького были на конспиративном собрании. Скорей всего Дмитрия за это и взяли.

— За стихи?!

— Эх ты! Революционные стихи опаснее бомбы! «Вперед к культуре мировой!» Понимаешь, сам Горький оценил!

Михаил не понимал: сборник напечатали, он открыто продается. За что автора арестовали?

— Может быть, и еще кого-нибудь взяли, не знаю,— говорил Ерошин, встревоженный неожиданным арестом Одинцова.— Не податься ли в деревню на время? Там не найдут...

Михаил все-таки не верил, что за рассказ или стихи человека могут посадить в тюрьму и выслать из Питера. Сейчас его больше волновала Гранина судьба. Он рас-

сказал Ерошину, в каких тяжелых условиях очутилась девушка после локаута.

— Надо, брат, потолковать с Самобытником!— предложил Ерошин.— Он на Панину большое влияние имеет. Она хоть и голубых кровей, графиня, но простых людей жалеет. Как фамилия твоей подружки?

— Касаткина Аграфена.

— Раз обеды бесплатные давала, и теперь не откажет! Вот увидишь!

Самобытник на другой день отправился к Паниной. Как старосту Лиговских курсов она его всегда принимала и редко в чем отказывала.

— Я по личному делу, Софья Владимировна!

И Самобытник рассказал о Гране.

— Я знаю эту девушку,— вспомнила Панина.— Очень нервная, издерганная.

— Дергали много, Софья Владимировна! Будешь нервной!

— Конечно, надо помочь.

— Разрешите, я ее к вам пришлю?

Панина вспомнила свою последнюю встречу с Граней и сказала:

— Не обязательно. Вы передайте ей мою карточку. Пусть она сходит к главному инженеру на завод «Светлана».

Софья Владимировна написала на своей визитной карточке несколько слов, вложила ее в конверт и протянула Самобытнику.

Через день Граня поехала в Лесной. Рядом с «Новым Айвазом» высился недавно выстроенный огромный пятиэтажный корпус с высокими окнами. На «Светлане» изготовляли электрические лампочки, женскому труду здесь отдавалось предпочтение. Ловкие пальцы работницы, умеющей обращаться с волоском тончайшей проволоки, ценились довольно высоко, заработки были неплохие.

Главный инженер, увидев визитную карточку Паниной, даже не взглянул на Граню. Он вырвал листок из блокнота, что-то написал и сказал:

— Пройдешь в отдел найма рабочей силы и отдашь...

Граню приняли. В тот же день после обеденного перерыва ее и еще четырех новеньких стал обучать инструктор — немолодая стриженая работница в очках.

ГЛАВА СОРОК ВТОРАЯ

За три рубля в месяц Граня нашла «угол» в Лесном на Песочной улице. Теперь Михаил встречался с ней каждый день. После ужина надевал новый костюм и спешил в Лесной. Костя несколько раз заходил к товарищу и все не заставал его. Анна Петровна забеспокоилась: нашел девчонку и, видимо, непутевую, раз скрывает от матери.

Когда поздно вечером Михаил возвращался домой, стараясь не шуметь, Анна Петровна ворчала:

— Опять Костька приходил. И где ты только шатаешься?! Даже товарища забыл!

Михаил отмалчивался. Он давал себе слово провести завтра вечер с Костей, но... будто магнитом, его тянуло на Песочную улицу, где во флигеле жила Граня. Он ждал ее за ближайшим углом ровно в восемь часов, и девушка появлялась вовремя.

Обычно молодежь Лесного проводила летние вечера в институтском парке, заполняя главную аллею, протянувшуюся на целую версту. Здесь до поздней ночи гуляли парочки: студенты, не уехавшие на каникулы, местные барышни, модистки. Рабочая молодежь предпочитала бродить по Второму Муринскому проспекту, густо обсаженному плакучими березами.

Юноше хотелось быть с Граней наедине, и он предложил для прогулок Удельнинский парк — огромный, тенистый и по вечерам малолюдный. Они нашли там тихую узкую аллею и облюбовали укромную скамейку.

Михаилу особенно приятно было сознавать, что любимая девушка гордится им как «писателем». «Смерть Агаши» он читал ей уже много раз. И Граня слушала его с удовольствием.

Часто Михаил вспоминал и рассказывал про тот необыкновенный вечер, когда ему выпало счастье видеть Горького в домашней обстановке, пить чай с ним за одним столом и сидеть рядом с известной актрисой Андреевой.

При каждой новой встрече он делился с Граней своими творческими замыслами, фантазировал, придумывал для будущих героев своих произведений самые замысловатые приключения. Граня пробовала помочь ему, но выдумки у нее не было никакой. Сознавая свою беспомощность и проникаясь еще большим уважением к писа-

тельскому «таланту» Михаила, она молча гладила его руку.

Она любила его давно, с первых встреч, но держалась целомудренно-строго. Михаилу иногда казалось излишней Гранина неприступность, однако в глубине души он уважал девушку за нее. Она же чувствовала, что если они перешагнут опасную границу отношений, все может пойти по-другому и кончиться плохо для обоих.

Но молодость брала свое, нельзя же было все время говорить о стихах и рассказах!

Часто они сидели молча, тесно прижавшись друг к другу. Михаил держал в ладонях Гранину руку и по очереди целовал каждый пальчик. Голова девушки клонилась к его плечу. Она закрывала глаза и сама протягивала ему губы. После таких вечеров по ночам юношу посещали сладкие и одновременно мучительные сновидения,— о них было стыдно рассказывать даже верному другу Косте.

....Сегодня Михаил пришел с завода рано: Выборгская сторона бастовала. «Правда» писала о трагических событиях в Баку, где войска зверски расправлялись со стачечниками. В воздухе чувствовалось приближение грозы.

— Опять бастуете?— спросила мать, увидев на пороге сына.

— Да. Стачка-протест!

— Что делается!— Анна Петровна покачала головой.— Айвазовских нагайками лупили. Говорят, городовые прямо осатанели — лошадьми давить людей стали. Варвариного Петьку изувечили, в больницу взяли. А Варвара ревет, боится, как бы оттуда в тюрьму не увезли.

«Светлана» тоже бастует,— думал Михаил, пропуская мимо ушей слова матери.— Значит, с Граней можно встретиться хоть сейчас».

Он взял книжку Егора Николаевича «Проклятый вопрос», решив после свидания с девушкой занести ее пропагандисту.

Граня была дома. Она догадывалась, что Михаил придет, и ждала его на крылечке.

— Миша!— обрадовалась она, увидев юношу через забор.

Он не стал заходить во двор и подождал ее у калитки.

— Я знал, что ты дома. Куда же мы пойдем?

— На нашу любимую скамейку!— лукаво улыбнулась она, вспомнив вчерашнюю встречу.— А это что у тебя?

— Знакомому надо отнести.

И вот снова они одни в тенистой аллее. Любимая скамейка стоит в стороне от дорожки. Кругом разрослись кусты малины. Сюда редко кто заглядывает.

Время за разговорами,— а как все влюбленные, они говорят о пустяках,— бежит незаметно. Книжка Егора Николаевича, завернутая в газету, лежит на скамейке. Михаил ее перевязал суровой ниткой. Он считает, Гране читать рассказ не следует.

Но девушка, словно нарочно, спрашивает, беря сверток:

— Это что тут?

— Книжка.

— Интересная?

— Ничего.

— Как называется?

— «Проклятый вопрос».

— Это про что?

— Так, пустяки!

Михаил слегка краснеет, от Грани не ускользает его смущение.

— Я посмотрю?

— Не стоит. Ерунда!

Он густо покраснел:

— Тоже выдумала!

— Что тебе, жалко?

— Не жалко, а просто не надо.

— Она что, запрещенная? Про политику?

Если ответить на этот вопрос утвердительно, Граня обязательно захочет посмотреть.

— Не запрещенная, но тебе читать не стоит.

— Почему?

— Да это не для девушек!

Граня острыми зубками перекусывает нитку. Михаил неодобрительно смотрит на нее и молчит. Девушка перелистывает страницы тоненькой книжечки. Она читает быстро, пропуская скучные места.

Михаил не подозревает, что рассказ писал сам Егор Николаевич, что герой его — революционер Василий — это автор произведения. По существу, это даже не рассказ, а исповедь человека, вынужденного жить одиноко, без любви. А природа требует своего, и Василий, после

долгих мучительных колебаний, идет к продажной девушке.

Этот эпизод читает Граня. Михаил видит, как шевелятся ее губы. Он сидит рядом и, скосив глаза, пробегает страницу, где описывается «падение» Василия.

Граня отшвырнула книжку. Глаза ее сухо блестели.

— Таких бы сволочей живьем давить надо!— сказала она с ненавистью.

— Но Василий все-таки сознает и понимает...

— Чего он понимает? Такой же скот, как и все.

Михаил взял книжку и снова завернул в газету.

— Я же тебя предупреждал, чтобы ты не читала.

Он заметил, как испортилось настроение девушки, и приписал это тому, что она вспомнила сестру Лизу.

— Давай пройдемся.

— Пойдем.

Они шли молча, избегая разговора о книжке. В рассказе не было ничего, что могло бы обидеть Граню. Все написано правильно. Надо же понимать и Василия. Автор дал верное название своему произведению — «Проклятый вопрос»: что делать человеку, если он любит, а жениться не может?

— Ты тоже, поди, к гулящим ходил?— Граня испытующе смотрела на Михаила.

— Как это все противно, Миша! Я люблю читать книжки про красивую любовь. А здесь одна гадость.

Михаил вспомнил Шувалово. Тогда на берегу озера он впервые почувствовал, какая Граня чистая и неиспорченная, совсем не похожая на разбитных фабричных девчонок, о которых обычно нехорошо говорил Костя.

Он крепче прижал к себе острый локоток девушки.

— Я люблю тебя, а ты на меня сердишься!— упрекнул он ее.

— Нет, Миша, ты ничего не понял! Я не на тебя. Ты хороший...

Она быстро оглянулась,— кругом никого не было,— и поцеловала Михаила.

...Михаил обнимает девушку и видит ее глаза, большие, потемневшие. Кажется, сердце его сейчас разорвется. Руки Грани отталкивают Михаила и одновременно удерживают. В ушах стоит странный, непонятный звон.

— Миша!

Он ничего не слышит. В его объятиях расслабленное,

податливое тело девушки. И Граня, закрыв глаза, уже не отталкивает его. Оба они думают об одном: зачем сейчас светит солнце, а не луна?..

Девушка открывает глаза. По щекам ее текут слезы.

— Миша!

— Ты что?

— Миша!— Граня с трудом переводит дыхание.— Я ведь не девушка, Миша!

Михаил не понимает, о чем она говорит. До него не сразу доходит смысл ее слов. Невеста! Жена! И вдруг какое-то чувство брезгливости, презрения и жгучей ревности охватывает его душу.

Он отстраняется. Они сидят молча. Слышно, как в траве стрекочут кузнечики.

Граня встает и тихо идет по аллее. Он догоняет ее, и они молча идут вместе. На душе у него горько. Он впервые думает: настоящее счастье вовсе не в том, чтобы тебя напечатали в газете или в книге.

Михаилу хотелось остаться в одиночестве и ни о чем не думать. А Граня шла рядом. Он видел ее бледное лицо, осыпанное золотистыми веснушками, впалые щеки, синие глаза, белокурые волосы, тупой взгляд. Она протянула ему руку, прощаясь на Выборгском шоссе, и виновато улыбнулась. Эта страдальческая улыбка ужаснула его. Не оглядываясь, Михаил побежал, во рту у него пересохло.

ГЛАВА СОРОК ТРЕТЬЯ

«Правда» вместо передовой статьи напечатала сообщения с заводов о расстреле рабочих за Нарвской заставой. «По предварительным данным,— писала газета,— двое убитых и пятьдесят раненых товарищей».

Весть о первой крови, пролитой во время мирного митинга, быстро разнеслась по рабочим окраинам. В Лесном рано утром стало известно, что на Выборгской стороне, возле завода «Новый Лесснер» назначена демонстрация протеста против расстрела. По Выборгскому шоссе и Сампсониевскому проспекту потянулись группы рабочих с «Нового Айваза» и завода Вегмана, где была объявлена двухдневная забастовка.

Костя прибежал за Михаилом и потащил его на демонстрацию.

Возле Новосильцевской церкви, на Объездной улице, стоял усиленный патруль полиции во главе с Дубиковым. Околоточный был перепоясан ремнями, вооружен шашкой и револьвером. Узнав Костю и Михаила, он проводил их недобрым взглядом.

На Первом Муринском возле конфетной фабрики Ландрина стоял второй патруль, еще более многочисленный. Командовал им полицейский офицер.

По Сампсониевскому проспекту в сторону города большими разрозненными группами шли рабочие. И чем ближе они подходили к заводу «Новый Лесснер», тем теснее становилось на тротуарах. Люди переходили на мостовую и двигались нескончаемым потоком посередине проспекта.

— Слышишь, никак, поют?— Костя, словно не веря своим ушам, посмотрел на товарища.

— Поют!— подтвердил Михаил.

Где-то вдалеке гремела марсельеза, временами затихая и затем вспыхивая с новой силой. Рабочие, уже слившиеся в одну громадную толпу, заторопились и прибавили шагу. И вдруг впереди ярким маком расцвел красный флаг. В голове колонны запели:

Смело, товарищи, в ногу...

Сзади затянули марсельезу. Вторая песня пересилила первую. Костя надрывался:

На врагов, на собак, на богатых
И на злого вампира-царя!

Михаил шагал рядом и подтягивал:

Бей, губи их, злодеев проклятых,
Засветись, новой жизни заря!

Сампсониевский проспект походил на шумную, бурливую реку во время весеннего ледохода. То в одном месте, то в другом возникал неожиданный затор, люди останавливались, над толпой поднимался оратор. Он становился на чьи-нибудь крепкие плечи, яростно кричал, размахивая кулаком, затем исчезал, и толпа двигалась дальше. Там, где пламенели алые флаги, революционная песня лилась громче и звучнее.

Полиция, занявшая прилегающие переулки, сознавала свое бессилие и молча наблюдала за грозным зрелищем. Она следила лишь за тем, чтобы половодье не

затопило соседние улицы, не разлилось слишком широко по всей Выборгской стороне.

Вместе с демонстрантами Михаил и Костя прошли весь Сампсониевский проспект. Возле клиники Виллие они увидели казачий отряд, охранявший подступы к Литейному и Сампсониевскому мостам.

Толпа остановилась в замешательстве. Малодушные повернули назад, смельчаки продолжали петь марсельезу. Есаул подал команду. Тронув поводья, казаки двинули лошадей на толпу. Смельчаки запели громче, но, остерегаясь нагаек, повернули назад. Казаки ехали по пятам. Михаил, чувствуя спиной холод, ускорил шаг. Костя шел рядом и все время оглядывался, ожидая с минуты на минуту нападения.

Отряд неожиданно остановился, проехав не более ста шагов. Казаки вели себя мирно, очевидно, не имея еще приказа действовать.

Теперь демонстрация двигалась в сторону Лесного.

Что произошло возле завода «Новый Лесснер», Михаил и Костя, приблизившись к нему, сообразили не сразу. То ли демонстранты решили свернуть с проспекта в боковую улицу, то ли к полицейским подоспело большое подкрепление с Петербургской стороны, понять было невозможно, но именно здесь произошла первая стычка рабочих с городовыми. Начали ее озорные подростки, заводские ученики, неуемные участники всех уличных демонстраций. Приметив кучу булыжников, заготовленных для ремонта мостовой, они мигом вооружились, а наиболее пылкий из ребят, отличавшийся метким глазом, пустил камень в городового. В ответ раздался одинокий выстрел. В городовых полетели камни. Полиция дала залп в воздух.

Стрельба послужила сигналом для наступления конных городовых. Большой их отряд, находившийся в укрытии, внезапно появился на проспекте и пустил в ход нагайки. Где-то рядом снова прогремели ружейные залпы. Проспект быстро обезлюдел. Рабочие, перелезая через заборы, отходили пустырями и огородами в сторону Лесного. Михаил и Костя вместе с другими прыгали по грядкам.

Михаил непрочь был отправиться домой, считая, что демонстрация закончилась и делать теперь нечего. Но Костя протестовал: уходить рано, что-нибудь еще будет обязательно.

Они добрались до Бабурина переулка. Здесь, на углу,

высились стены недостроенного двухэтажного деревянного дома с зияющими проемами окон. Крыши еще не было, плотники присоединились к забастовке и, должно быть, совсем недавно ушли со стройки. Курчавые золотистые стружки на земле еще хранили острый запах сосновой смолы. Возле сруба лежали бревна, валялись доски, щепки, стояли бочки с известью, какие-то ящики, лежали кирпичи, глина, крупный песок.

Выходя с проспекта в Бабурин переулок, рабочие группировались для новой демонстрации. Михаил увидел удельнинских знакомых с «Нового Айваза» и среди них — Егора Николаевича и Гордеича.

Пропагандист пожал ему руку:

— Ты один?

— Костя здесь. Вон на бревнах.

— Очень хорошо. Будем держаться вместе.

Со всех сторон подходили новые группы рабочих. Толпа быстро разрасталась. Егор Николаевич вынул из внутреннего кармана красный платок и сказал Косте, передавая ему свою трость:

— Как я кончу, привяжи и поднимай.

Костя понимающе кивнул.

Егор Николаевич взобрался на сложенные возле дома кирпичи и оглядел молодые лица заводских парней. Костя привязывал платок к тросточке. Оратор был немногословен. Он закончил речь и соскочил на землю.

— Запевай, товарищи! Пошли!

Костя тотчас поднял тросточку с кумачом. Но тут все заметили отряд всадников, двигавшийся по Сампсониевскому проспекту.

— Насчет того, чтобы запевать, ты подожди!— с тревогой в голосе сказал Гордеич.— Видишь, фараоны скачут. Умней будет баррикаду соорудить, пока время есть. Материалу уйма, и обороняться есть чем.

Старик указал глазами на бревна, доски и кирпичи.

Рабочие соорудили баррикаду за несколько минут. Молодежь собирала обломки кирпича и складывала их в кучи, готовясь к обороне.

Михаил смотрел на Костю. Тот, забавляясь, перекидывал с ладони на ладонь тяжелый кирпичный обломок и щурился.

«Не боится!»— с завистью подумал Михаил.

Отряд полиции, вооруженный винтовками, двигался медленно, а возможно, это только так казалось Михаи-

лу. Безусая молодежь с камнями в руках ждала под прикрытием жидкой баррикады приближения городовых.

— Не высовываться, товарищи!— предупредил Егор Николаевич.— Самое главное — хладнокровие и выдержка.

Отряд остановился. Городовые спешились и, оставив коноводов, построились в две шеренги.

— Неужели стрелять станут?

— Нет, целовать тебя будут!

— Мне бы ружьишко! Я бы тоже их поцеловал!

— Товарищи, марсельезу!

Полицейский офицер с погонами капитана подскакал к баррикаде и, играя витой плеткой, закричал:

— Предлагаю немедленно разойтись по домам! Через пять минут открою огонь!

Он стоял напротив Кости на близком расстоянии, хорошо было видно смуглое, как у цыгана, лицо капитана с крупной родинкой возле уха.

— Опричник!— скривил губы Костя и, меряя глазом расстояние, бросил обломок кирпича. Он метил в голову, а попал в плечо. Полицейский офицер повернул лошадь. Вдогонку ему градом полетели кирпичи.

— Съел?— злорадно крикнул Костя.— Жаль, в башку не попал.

Михаил, лежа за бочкой, не сводил глаз с капитана. Что будет дальше? И вдруг в тишине четко прозвучала команда:

— Первая шеренга, с колена!.. Вторая — стоя! По баррикаде!

Было слышно, как щелкнули взводимые курки.

— Пли!

Михаил уткнулся лицом в землю. Он замер от ужаса, но слышал, как оглушительно гремели выстрелы. Казалось, пули пролетают над самым ухом. Убьют!

Полицейские дали пять залпов, после чего наступила тревожная тишина. Пахло пороховым дымом.

Костя потянул Михаила за штаны:

— Мишка, надо тикать! Наши все убежали. Ползи за мной.

Михаил поднял голову, но тут же вновь приник к земле. Снова началась стрельба. От страха он боялся пошевельнуться. Когда выстрелы затихли, осторожно оглянулся. Кости не было, все разбежались. Он лежал за баррикадой один. Городовые по-прежнему стояли с винтовками, готовые возобновить стрельбу. Они не подо-

зревали, что за бочкой лежит только один перепуганный насмерть человек.

Забыв всякую осторожность, Михаил заполз по смолистым стружкам под сруб недостроенного дома и вылез на пустырь, густо заросший бурьяном и крапивой. Обжигая руки и лицо и совершенно не замечая боли, он спешил отползти подальше от баррикады. Долго лежал на огороде в картофельной ботве, прислушиваясь к подозрительной тишине.

По голубому небу плыли облака, светило яркое июльское солнце. Божья коровка, светло-коричневая, с черными пятнышками, ползла по картофельному листу. Он внимательно следил за ней, а на душе было горько и обидно от неожиданного одиночества. Он вспомнил Граню. Сейчас она была ему нужнее всех на свете!

Поразмыслив, Михаил решил выбираться в Лесной окольной дорогой, через Черную Речку. Он зашагал глухими переулками подальше от Сампсониевского проспекта.

ГЛАВА СОРОК ЧЕТВЕРТАЯ

Михаил пришел на Песочную улицу и несколько раз прогулялся мимо дома, надеясь, что Граня случайно увидит его в окно. Никто из флигеля не вышел. Возможно, ее не было дома? В такой день, когда бурлит весь Лесной, молодежь, конечно, на улице. Вероятно, и Граня со своей подружкой не сидит дома. Но надо проверить!

Михаил приоткрыл калитку и по узкой дорожке, вымощенной кирпичом, прошел до дверей флигеля. Он постучал два раза — никто не ответил. Дверь была заперта.

— Кто там?

— Это я, Граня!

Михаил вошел в кухню. Граня стирала. Она стояла над корытом, босоногая, полуодетая, с мокрыми волосами. Неожиданный приход Михаила застал ее врасплох. Она растерялась и боялась только одного: как бы он не ушел.

— Я одна,— сказала Граня смущенно, сбрасывая с рук мыльную пену.— Дома никого нет, решила постирушкой заняться. Никто не мешает.

— Я пришел, Граня!— повторил Михаил, не слыша

ее слов.— Нам надо поговорить.

— Я сейчас...

Он опустился на табуретку возле окна и стал смотреть, как во дворе дрались, наскакивая друг на друга, два петуха. Граня гремела железным ведром, выливая воду, вытирала пол, возилась около рукомойника.

— Ну, вот и все!

Граня стояла перед ним в свежем платье, похорошевшая. Они молча вышли на крыльцо. Граня закрыла дверь на ключ и сунула его под половик.

Вышли на Выборгское шоссе. Никогда еще Михаил не видел такого скопления народа в Лесном. У Новосильцевской церкви, там, где кончалось шоссе и начинался Сампсониевский проспект, рабочие укрепляли новую баррикаду, построенную против казаков, уже проникших на Выборгскую сторону.

Если бы не было с ним Грани, Михаил остался бы здесь, но она сказала:

— Народу много. Я посидеть хочу. Пошли лучше в Латкин парк.

Граня смотрела на него необычайно серьезно. Такого взгляда он никогда не видел. Лицо ее было спокойно. Михаил смутился. Он не знал, с чего начать, и нужно ли вообще о чем-нибудь разговаривать. Вспоминая что-то, сказал:

— Помнишь, когда мы сидели с тобой на Неве, против Летнего сада, и ты мне велела поцеловать тебе руку.

— Ну?

— Я тогда спросил, много ли тебя целовали до меня?

Михаил замолчал. Граня кусала жесткую травинку.

— Я первый раз в жизни руку целовал. Потому что я тебя люблю первую.

— Люблю!— горько усмехнулась она.— А ты понимаешь, что такое любовь? Руки когда целуют, это глупости, не любовь. В романах так пишут и в кинематографе показывают. Есть страшнее любовь. Когда мне двенадцать лет было, меня мать без попа замуж выдала... Всего на одну ночь. Вот у меня какая первая любовь была!

У Михаила тоскливо сжалось сердце. А Граня продолжала:

— Любовь разная бывает, Миша. У нас в цехе одна девушка парня полюбила, а он ее бросил. Она взяла да от стыда и повесилась. Вот тебе любовь. И ведь под-

руги какие были! Я много думала и решила: не надо нам с тобой встречаться. Замучаешь ты меня своей ревностью, водку пить начнешь Уходи лучше, Миша!

— Никуда от тебя не уйду!

— Неправда.

В синих глазах Грани Михаил прочитал недоверие.

— Ну, хватит об этом!— сказал он сурово.— И поминать никогда не будем. Пойдем.

Граня внимательно посмотрела в лицо Михаила, поднялась и послушно взяла его под руку.

— К Косте пойдем!— предложил он.

— Зачем?

— Надо его найти. Может, его подстрелили.

— Я тебя провожу, а к Косте иди ты один.

— Вместе бы сходили.

Сколько Михаил ни убеждал девушку, она настояла на своем.

— Вы — парни, вам все это интересно. У нас пятилетние мальчишки в войну играют во дворе. А что я, девчонка, буду с вами ходить? Завтра приходи утром, Миша!

— Обязательно!

Они попрощались, и Михаил направился к товарищу.

Кости дома не оказалось. Мать его, тихая, болезненная женщина, проворчала сердито:

— Один раз продырявили пулей насквозь, теперь добивается, чтоб насмерть застрелили. И достукается. Как ушел с утра, так носу не показал.

— Передайте ему, я дома буду его ждать.

— Ладно.

Анна Петровна встретила сына упреками:

— И где только тебя черт носит, непутевого, в такое время! Неужто ты не видишь, что происходит?

— Костя приходил?

— Два раза. Все тебя искал. Сказал, чтобы ты к Сашке зашел. Да куда ты сорвался? Обожди. Голодный, поди, как волк? Садись, поешь... Сейчас на керосинку поставлю.

Пока Михаил ел, пришел Костя и очень обрадовался, увидев товарища.

— А я тебя ищу, Мишка!

Он не стал при Анне Петровне допытываться, как выбрался Михаил с баррикады. Об этом они заговорили на улице.

— Куда же ты пропал?

— Как куда? Полез под сруб и выбрался вначале на пустырь, а потом на огород.

— Вот дурной! Проще было по переулку доползти до соседнего дома, а там в ворота, проходным двором. Все таким манером ушли. Я тебя караулил-караулил, все глаза проглядел. Словно сквозь землю провалился.

Они шли посередине шоссе в сторону «Нового Айваза». Извозчики, легковые, и ломовые, исчезли неведомо куда. Пешеходы перешли с тротуаров на булыжную мостовую. На улицах было оживленно, как в праздничный день. Старухи бойко торговали семечками, а непоседливые мальчуганы уже играли в забастовщиков и казаков.

— С голыми руками против винтовок не устоишь,— говорил Костя.— А будь у меня револьвер, я бы дал им пить. Как Андрей Кожухов. Все дело в оружии. Баррикаду есть расчет строить, если ты ее защитить сумеешь. А иначе — пустое дело. Что у нас получилось? Как городовые стали стрелять, мы во все стороны стреканули, будто зайцы.

Они шагали по Выборгскому шоссе. Пожилой рабочий помогал сынишке взобраться на телеграфный столб. Мальчуган держал в зубах тонкую бечевку с привязанной гайкой. Держась одной рукой за изолятор, он другой старался перекинуть бечевку через телеграфный провод. Крепкая проволока сразу не рвалась. Мальчуган пыхтел и лез снова.

До полуночи толпился народ в Лесном и на Черной Речке. Передавали самые «достоверные» слухи. Рабочие Сестрорецкого оружейного завода запаслись винтовками, захватили поезда и едут в столицу. Царь для охраны Питера вызвал с Кубани десять казачьих полков. Французский президент Пуанкаре, узнав о начавшемся в Петербурге восстании, повернул свой пароход обратно. На Охтенском пороховом заводе произошел взрыв. В Москве объявлена всеобщая забастовка. На Путиловском заводе снова расстреливали рабочих...

Все эти разговоры Костя и Михаил принимали за чистую монету. Они готовы были идти пешком на Приморский вокзал встречать сестрорецких рабочих. И пошли бы, но на счастье повстречали Егора Николаевича. Лесновский пропагандист разговаривал с Калининым.

— Я и говорю, если бы все держались так стойко, как металлисты, правительству пришлось бы очень со-

лоно!— говорил Калинин.— Сейчас самое главное — чтобы «Правда» без перебоев доходила до рабочих. А вот сегодняшний номер, судя по всему, конфискован. Я газеты не видел. Это, конечно, очень досадно! Боевой дух надо все время подогревать в массах, чтобы движение настоящие масштабы приняло.

Айвазовский токарь вынул из жилетного кармана серебряные часы и заспешил:

— Ну, всего! Значит, договорились обо всем!

Он пожал руку своему собеседнику и легкой походкой направился в сторону Черной речки.

Михаил и Костя подошли к Егору Николаевичу и рассказали ему «последние новости» о поезде, захваченном сестрорецкими рабочими, и о своем намерении идти на Приморский вокзал.

— Не к чему!— запретил пропагандист.— Дальше Выборгской стороны нам сейчас уходить не надо. А кроме того я только что узнал: трамвайные рабочие не хотят присоединиться к всеобщей забастовке. Мой совет — идите по домам, а завтра утром надо быть начеку. Будет и у вас полезное дело.

— Трамваи останавливать?— догадался Костя.

— Разумеется!— ответил Егор Николаевич.

ГЛАВА СОРОК ПЯТАЯ

Утром Костя подобрал четверку крепких парней, друзей детства. Был среди них и Федька Грач, тот самый парнишка, что у лавочника Крюкова в сочельник утащил злополучные часы. Сейчас он работал токарем на «Новом Айвазе». Михаил вошел в группу шестым. Все молчаливо признали Костю своим вожаком. В чем другом, а в храбрости ему отказать было нельзя.

Костя повел товарищей на Лесной проспект, где трамвайная линия, делая крутой изгиб, проходила под железнодорожным мостом Финляндской дороги. Выбранная позиция показалась Косте очень удобной. В случае опасности можно было перебраться через высокую насыпь и легко уйти от конных городовых или казаков.

Костя спрятал парней за глухим забором. Он тянулся вдоль проспекта, отгораживая железнодорожный путь от мостовой. Ребята оторвали в заборе две доски, сделав

узкий проход, вооружились булыжниками и стали ждать появления первого трамвая.

Присев к забору, Костя нервно курил папиросу и оглядывал улицу. Редкие прохожие его не смущали, опасаться некого. Шпиков сейчас здесь нет, они боятся показывать нос на Выборгскую сторону.

Из Лесного шел первый трамвай. Вот заскрежетали колеса на повороте. Еще несколько секунд — и покажется передний вагон.

Костя свистнул и, держа по увесистому булыжнику в руках, стал на трамвайный путь. Вагоновожатый отчаянно зазвонил, но не остановился, только сбавил ход, увидев, как из щели в заборе один за другим выскочили парни, вооруженные камнями.

— Стой!— Костя угрожающе поднял булыжник и кинулся к передней площадке.

Трамвай остановился.

— Нас расстреливают!— закричал Костя.— А вы тут всяких чинодралов возите! Сволочи! Выходи из вагона!

Он схватил медную ручку управления и выскочил на мостовую. Парни стояли, держа наготове камни. Торопить перепуганных пассажиров не приходилось. Служащие, ехавшие на работу, поспешно покидали вагоны и, не оглядываясь, продолжали прерванный путь пешком.

Возле трамвая остались два кондуктора и вагоновожатый. Они растерянно смотрели на парней.

— Вы что же, подлецы, делаете?— глаза Кости метали молнии.— Предаете рабочий класс? Штрейкбрехеры! И не стыдно вам? А еще называетесь пролетариями! Сознательность нужно иметь!.. «Правду» читать...

Он замахнулся медной ручкой.

— Если еще раз встретим — худо будет! А теперь валите к чертям! Чтоб духу не было!

Трамвайщики переглянулись и поспешили следом за пассажирами. Костя швырнул тяжелую ручку в крапиву, буйно разросшуюся на железнодорожной насыпи.

Следующий трамвай из Лесного остановился поневоле: путь был занят. Седой вагоновожатый не захотел добровольно отдать ручку, ее отняли силой. Костя вознамерился стукнуть упрямца по шее, но Михаил схватил его за локоть:

— Брось! Старик.

— Стариков тоже надо учить уму-разуму!— огрызнулся Костя.

Вторая медная ручка полетела туда же, куда упала первая.

А к остановленным трамваям уже подходили зеваки и с любопытством ждали, что же будет дальше. Когда собралась большая толпа, Костя обратился к людям за подмогой. Дружными усилиями зевак вагоны удалось опрокинуть на рельсы.

Трамвайное сообщение между Лесным и городом было прервано. Парни сильно устали и проголодались. Ближайшая булочная оказалась закрытой: пекари бастовали.

— А жрать, ребята, хочется!— сознался Костя.— Хорошо бы перекусить сейчас. Я утром ушел голодный.

Сашка предложил пойти в греческую столовую, но и она была на замке. Посоветовавшись, направились обедать по домам, а Костя и Михаил решили пойти в пивную к Никанорычу. У рабочих она пользовалась большим успехом. Хозяин постоянным клиентам не отказывал в кредите, а к пиву подавал добрую закуску: свежих раков, крутозапеченные яйца, моченый горох и соленые сухарики.

По случаю всеобщей забастовки в пивной было людно, как в праздничный день. Не найдя отдельного столика, ребята подсели на свободные стулья к двум рабочим. Они услышали разговор об опрокинутых на Лесном проспекте трамваях. Кто-то принес в пивную «последнюю новость»: завтра в столицу приезжает французский президент Пуанкаре.

Сидевший рядом с Михаилом рабочий сказал:

— Пусть посмотрит, как нашего брата нагайками избивают, и расскажет своим французам.

— А там не разгоняют?

— Чудак! Там республика, свобода, равенство и братство. Во главе стоит не царь, а выбранный президент. Рабочий там — такой же полноправный человек, как и все прочие люди.

— Говорят, прежний президент, Феликс Фор, из кузнецов. Металлист был!

— Брось заливать!

— Хоть убей, не поверю, что кузнеца могут выбрать президентом!

— Ого! Если полная свобода, очень даже могут. Царя нет. Кто помешает! Республика! У них марсельезу открыто поют, а у нас за нее нагайками хлещут. Понял, какая разница?

Официант поставил перед Михаилом и Костей две запотевших бутылки пива и шесть яиц. Слушая спор о президентах, они с наслаждением пили холодное пиво и чистили печеные яйца.

Неожиданно в пивную ввалилась шумная ватага женщин. Одна из них, немолодая толстуха в кофточке с короткими рукавами, обнажавшими могучие локти, вдруг заорала:

— Пиво хлещете? Водку! Наших мужьев расстреливают, а вы пьянствуете! Закрывай пивную, хозяин! Стекла выбьем! Уходите вон! Алкоголики проклятые!

Возбужденные женщины с остервенением сбрасывали на пол бутылки и стаканы. Звенело разбитое стекло. Кто-то грубо ругался, кто-то вопил умоляюще:

— Дай допью! Подожди! Холера тебе в бок!

Никанорыч в синем переднике ловил клиентов за руки и причитал:

— Рассчитаться надо! Господа! Не уходите так! Совесть иметь надо!

— В пивной прячешься! Нашел место! Сосунок!

Костя покраснел:

— Чего, теща, ругаешься! Легче на поворотах!

— Я тебе такую тещу дам! Брось бутылку!

— Я с утра не ел.

— Пивом не наешься! Брось бутылку сейчас же! Тебе говорю!

— Ну ее... Отдай!— сказал Михаил.— Пойдем. Видишь, все уходят.

Костя сунул недоеденные яйца в карман.

Пивная опустела. Никанорыч, загораживая женщинам дорогу к выходу, кричал:

— Свинство! Что вы наделали? Кто платить будет?

— Николай Второй! Иди в полицию, там получишь! С процентами! А сейчас закрывай пивную! Смотри, если хоть одного человека пустишь, окна вышибем. Паук! Мужей наших спаиваешь!

И женщины, чувствуя полную безнаказанность, очень довольные, гурьбой вышли на улицу.

— Закусили!— со смешком сказал Костя.— Вот это бабка! Такую бы тебе тещу! Как у христа за пазухой жил бы со своей Грунькой.

Михаил промолчал. Ему не нравилось, когда Костя называл Граню запросто Грунькой. Он подумал: хорошо, что не затеял с другом под горячую руку откровенного разговора о Гране.

А Костя, не заметив нанесенной товарищу обиды, заговорил о завтрашнем дне. Хорошо бы встретить президента Пуанкаре. Не может быть, чтобы партия не устроила к его приезду демонстрации на набережной, когда он будет сходить с корабля.

— Конечно, казаки разгонят нагайками,— рассуждал Костя.— Но зато президент увидит, какие в России порядки. Его не удастся провести!

Михаил слушал и соглашался. Он, как и большинство рабочих, верил во французскую республику, где люди живут, как в раю, добившись свободы, равенства, братства.

ГЛАВА СОРОК ШЕСТАЯ

На другое утро Михаил вышел из дому и изумился: на Выборгском шоссе лежали спиленные телеграфные столбы. Они преграждали путь казакам и конным городовым. Кто это делал — было неизвестно.

Друзья собрались в город.

По самым «достоверным слухам», возле Николаевского моста была назначена демонстрация. Здесь русский император должен был встречать французского президента Пуанкаре.

Кто пустил эти слухи среди лесновских рабочих, никто не знал, но говорили, будто так решил Петербургский Комитет. Однако Гордеич говорил Косте, удивленно пожимая плечами:

— Ничего не знаю! Решительно ничего! В первый раз слышу.

Самую точную справку мог бы дать Егор Николаевич, но он куда-то исчез; посоветоваться было не с кем.

На всякий случай молодежь с завода Вегмана и «Нового Айваза» устремилась в город, решив всеми правдами и неправдами пробиться к Николаевскому мосту. Шли пешком. Трамваи не ходили.

Полиция, очевидно, уже пронюхала о намерении рабочих устроить демонстрацию перед глазами французского президента. Она усилила патрули на подступах ко всем мостам через Неву и Большую Невку, стремясь не допустить наплыва людей в центр города. Густая цепь полицейских стояла и в Лесном и на Сампсониевском

проспекте. В закрытых дворах предусмотрительно были спрятаны конные городовые.

Костя, заметив, как тщательно просеивают прохожих, идущих с окраин в центр города, сказал Михаилу:

— Поодиночке пойдем. Ты иди первым, а мы смотреть будем. Если пройдешь, жди у Финляндского вокзала полчаса. Больше не надо.

Михаил уверенно пошел следом за двумя молодыми, хорошо одетыми женщинами. Он знал, его остановят, и приготовился отвечать. Поравнявшись с женщинами, он зашагал с ними рядом, рассчитывая, что такой маневр поможет ему незаметно проскользнуть мимо патрульных. Но околоточный, пропустив женщин, поднял руку:

— Стой! Куда идешь?

— На спевку. Пою в церковном хоре. Певчий Преображенского собора. На Литейном.

— Проходи.

Михаил пошел на Финляндский вокзал и просидел в зале третьего класса полчаса, безуспешно поджидая Костю. Он решил один проникнуть к Николаевскому мосту, но скоро понял, что это невозможно. Бесконечные патрули закрыли путь к Неве. По набережной гарцевали казачьи части. Возвращаться в Лесной, откуда он выбрался с таким трудом, не хотелось. И Михаил решил поехать в редакцию «Правды», где давно лежал его ненапечатанный рассказ. Он вскочил в трамвай и поехал по знакомому маршруту на Ивановскую улицу.

В центре города царило спокойствие. На Литейном проспекте рябило в глазах от обилия французских и русских флагов. Бесчисленные полицейские щеголяли в ослепительно белых кителях, сверкая начищенными медными пуговицами. Возле всех домов дежурили дворники в новых передниках.

«Боятся, как бы рабочие не встретили президента»,— подумал Михаил.

Перед Невским проспектом трамвай остановился и долго ждал, пока пройдет воинская часть с музыкой в сторону Зимнего дворца.

За Владимирским проспектом Михаил увидел полицейский патруль, а у Пяти Углов — конных городовых.

На Ивановской улице было тихо, как обычно. Недалеко от редакции Михаил заметил Артамонова. Он прибавил шагу и нагнал его у самого подъезда.

— Что творится!— воскликнул тот здороваясь.— За

Нарвской заставой баррикады. Вчера стреляли и сегодня утром. На Забалканском демонстрацию разогнали нагайками. Никогда не видел такого! А как в Лесном?

— То же самое... Бастуем. И баррикады есть.

Разговаривая о последних событиях, они поднялись по лестнице на четвертый этаж. На своем месте сидел Еремеев с неизменной трубкой во рту. На его столе лежала груда корреспонденций. Сотни заводов бастовали, и с каждого предприятия рабочий корреспондент уже доставил в редакцию коротенькую заметку. Найти им всем место на газетной полосе было невозможно. Дядя Костя решил дать в номер список бастующих заводов и фабрик с указанием числа стачечников. Журналист сидел, попыхивая трубкой, и с бухгалтерской тщательностью записывал трех- и четырехзначные числа, которые диктовал ему Малышев.

Авторы, пришедшие в редакцию, рассказывали друг другу о событиях дня. Картина везде одинаковая: в рабочих районах столицы строили баррикады, опрокидывали трамваи, а в Полюстрове и Лесном даже спилили телеграфные столбы. Конные городовые разгоняли демонстрантов нагайками. Рабочие оборонялись камнями.

Михаил справился о судьбе своей рукописи и остался слушать рассказ путиловского рабочего, видевшего, как казаки стреляли по демонстрантам. Очевидец рассказывал интересные подробности.

Никто не заметил, как в редакцию вошли два жандармских ротмистра, а следом за ними полицейские.

— Из помещения никому не выходить!— отчеканивая каждое слово, громко приказал ротмистр и пробежал в соседнюю комнату. Полицейские заняли все выходы и даже расселись на подоконниках.

Студент Володя Васильевский, заменивший Самойлову, поспешно снял телефонную трубку. Михаил слышал, как он вполголоса сказал:

— В редакции полиция. Срочно Бадаева!..

— Не разговаривать по телефону!— завопил другой ротмистр, худой и длинный.

Еремеев незаметно скомкал несколько листков и выбросил в корзину.

— Кто здесь находится?

— Сотрудники редакции, посетители,— сказал вышедший из соседней комнаты Скрыпник.— Ответственного редактора нет, я его заменяю.

— А мне он и не требуется. Знаем мы ваших... редак-

торов! В Спасской части их четверо сидит. Приступить к обыску!

— В таком случае разрешите ордер.

У ротмистра затряслась челюсть.

— Ваша газета подзуживает рабочих забрасывать полицию камнями. Какие могут быть разговоры об ордерах? Попрошу всех стать в ту сторону. Никаких бумаг не трогать. Не прикасаться к ним.

Он сделал знак городовым, и те оттеснили всех правдистов в один угол.

— Мы протестуем против произвола полиции!— крикнул Малышев.

— Хорошо! Хорошо! Протестуйте!

Ротмистр дернул ящик стола.

— Гордиенко! Сломать замок!

Полицейский попробовал открыть ящик лезвием сабли, но не сумел. Из соседней комнаты вышел сыщик в штатском со связкой отмычек и открыл стол. Обыск начался. Пачки рукописей полетели на пол.

— Я попрошу поосторожнее!— крикнул Еремеев.— В этом ящике хранятся рукописи наших крупных писателей — Леонида Андреева, Горького, Чирикова...

— Мы знаем, что у вас печатаются корифеи русской литературы, ваши покровители. Для нас это интереса не представляет никакого. Где переписка с заграничными авторами? Кто ее ведет?

— Не знаю. Я с ними не переписываюсь!— спокойно ответил Скрыпник.

— А кто переписывается?

— Очевидно, ответственный редактор.

Через настежь открытую дверь Михаил видел, как жандармские ротмистры рылись в редакционных столах и шкафах. Они бегло просматривали бумаги и швыряли их на пол. Невозможно было понять, что они хотели найти.

Михаил заметил грязный след каблука на белоснежном листке со стихотворными строчками. Он остро переживал разгром «Правды». Где же теперь ему печатать свои произведения? У него лежит почти законченный рассказ, нужно лишь немного исправить и переписать набело.

В самый разгар обыска в редакцию приехал Бадаев. Он с трудом протолкался через полицейских, заполнивших лестницу.

— Гордиенко!— закричал ротмистр.— Почему пропустили постороннего?

— Силой ворвался, ваше благородие!

— Я не посторонний!— повысил голос Алексей Егорович.— Я здесь хозяин! Газета «Правда» является органом Российской социал-демократической рабочей фракции в Государственной Думе. Я — председатель фракции! Моя фамилия Бадаев,— он повернулся к сотрудникам.— Что случилось, товарищи?

— Видите, обыск,— сказал Скрыпник.— Без предъявления ордера. Понятия не имеем, по какой причине.

— Господин ротмистр!— голос Бадаева гремел на высоких нотах.— Во-первых, прошу предъявить ордер на право обыска, и если такого нет, немедленно прекратить беззаконие!

Бадаев вытащил из кармана брошюрку — сборник законов о печати — и стал перелистывать страницы. Он отыскал параграф, который доказывал незаконность вторжения полиции в редакцию. В прежние налеты на «Правду» это оказывало свое действие. С членом Государственной Думы полиции приходилось считаться, особенно если он мог ткнуть в нос соответствующую статью закона. Сегодня и она не произвела никакого впечатления.

— Попрошу вас, господин Бадаев, не вмешиваться не в свое дело!— отрезал жандармский ротмистр.

— Нет, как раз это дело рабочего депутата! Я обязан защищать рабочую газету! Я протестую против незаконного обыска и ареста сотрудников легальной газеты! Предупреждаю, что подниму дело о ваших действиях в Государственной Думе, и вам не поздоровится, господин офицер, за произвол, который вы здесь допускаете!

Жандармские ротмистры несколько поутихли. Один из них, длинный и тонкий, направился к телефону. Разговор был коротким. Лицо ротмистра просветлело. Он положил трубку и сказал тоном, не допускающим возражения.

— Господин Бадаев, в этом помещении вы — посторонний человек. Вступать с вами в разговоры я не имею права. Потрудитесь немедленно удалиться.

Бадаев побледнел:

— Я протестую против незаконного обыска и ареста сотрудников легальной газеты!

— Еще раз прошу вас немедленно удалиться! Гордиенко!

Городовые, стараясь не дотронуться до Бадаева руками (член Государственной Думы — лицо неприкосновенное!), вытеснили его в коридор, а оттуда — на лестницу.

— Не впускать сюда ни одного человека! Кто бы он ни был!— крикнул ротмистр и взял услужливо поданный сыщиком конверт.— Австрийский штемпель! Мы знаем, кто в Кракове живет! Письма нет. Это не выбрасывать, отложить в сторону.

Михаил стоял рядом с Малышевым и видел, как выталкивали депутата Государственной Думы из редакции.

— Что теперь будет?— спросил он шепотом.

— С кем? С Бадаевым? Ничего не будет. Он депутат.

— А с нами?

— С нами будет хуже. Похоже, в тюрьму посадят...

Малышев говорил спокойно. Связав свою судьбу с «Правдой», он предвидел, что его ждет.

Обыск кончился, и жандармы стали переписывать задержанных. Они хорошо знали, кто работает в редакции, и безошибочно отделили сотрудников от посетителей.

Сероглазый студент в тужурке отвечал на вопросы ротмистра, глядя на него с неприкрытым презрением.

— На чьи средства живете?

— Отца.

— Кто отец?

— Генерал-лейтенант Павлов.

Ротмистр притворно удивился и покачал головой. Он не хотел показать вида, что ему отлично известно, кто перед ним.

— Вот как?! У такого высокоуважаемого генерала, занимающего видный пост, сын приходит в «Правду»?.. Можно только пожалеть отца и вас, молодой человек...

— А вы не жалейте!— студент взмахом головы откинул пышные волосы со лба.— Ваша жалость оскорбительна как для меня, так и для моего отца.

— Следующий!

Михаила тоже записали. Жандармы сложили все рукописи и бумаги в шкафы и наложили сургучные печати. Задержанных вывели на улицу под сильным конвоем городовых. Процессия тронулась по Ивановской в сторону Загородного проспекта.

— Видимо, на Садовую ведут,— прикинул дядя Костя, закуривая трубку,— в Спасский арестный дом. Я там

уже два раза побывал. Снова придется клопов кормить!

— Бог троицу любит!— сказал Васильевский.

— И еще говорят: без четырех углов изба не строится.

Михаил слушал, как острили журналисты. Дядя Костя шел с трубкой в зубах. Как всегда, лицо его было невозмутимо, но в глазах застыла грусть.

Толпа арестованных привлекла внимание прохожих. Она двигалась по мостовой; а по тротуару, перешептываясь, шли любопытные. Никто не знал, кого ведут под таким усиленным конвоем. Михаил видел сочувственные взгляды прохожих. Горбатенькая старушка долго крестилась, когда они проходили мимо нее.

На Фонтанке, при повороте к Чернышеву мосту, Михаил увидел демонстрантов, распевающих марсельезу. Встреча с ними была неожиданной и для арестованных, и для полиции, и для рабочих и работниц типографии, вышедших на улицу с красным флагом.

— Привет от работников «Правды»!— изо всех сил крикнул дядя Костя.

«Правда»!

Это слово обожгло толпу. Работницы, разорвав цепь полицейских, кинулись в ряды арестованных. Началась суматоха и свалка. Кого-то били, кто-то кричал. Студент Павлов неожиданно ударил городового в грудь, кто-то подставил ногу — конвоир упал.

— Беги!— Павлов вытолкал Михаила из толпы.— Скорей!..

Михаил следом за Артамоновым одним прыжком вырвался из рядов арестованных и попал к демонстрантам.

Свобода!

Стиснув зубы, он продирался через невообразимую толчею, спеша поскорее уйти от опасного места. В этот момент конные городовые налетели на толпу — она бросилась врассыпную. Вместе со всеми бежал и Михаил.

Через полчаса он ехал трамваем в сторону Технологического института. Сердце его радостно билось. Он все еще не верил своему спасению и с благодарностью вспоминал студента Павлова.

ГЛАВА СОРОК СЕДЬМАЯ

На пересечениях улиц Выборгской стороны по-прежнему громоздились баррикады. Михаил видел их на Сампсониевском проспекте, на Муринском, на Сердобольской улице, возле Башенного, Флюгова и Языкова переулков. Перевернутые ломовые телеги, оторванные от заборов доски, бочки, ящики, телеграфные и фонарные столбы рабочие хитроумно оплетали проволокой. Под таким прикрытием заводская молодежь готова была драться с полицией булыжниками, но городовые старались избегать столкновений. Шел упорный слух, будто в столицу стягиваются казачьи части.

Градоначальник заботился, как бы в центр города не проникали с окраин рабочие демонстрации. Полиция разгоняла стачечников нагайками, холостыми залпами, но в больницы привозили раненых, были и убитые.

В рабочих кварталах уже намечался перелом в настроении. Семейные рабочие подсчитывали, во что обойдутся стачечные дни: за них никто не заплатит ни копейки. Жены их потихоньку ворчали, лишних денег, прикопленных на черный день, не было. А самое главное — забастовка перестала быть всеобщей. На некоторых заводах задымили трубы.

Во время обеда прибежал возбужденный Костя. Михаил, увидев его, удивился: они расстались всего полчаса назад.

— Мишка! Ешь скорей и пойдем.

Анна Петровна метнула недовольный взгляд:

— Куда еще тащишь его? С утра дома ни минуты не был.

Костя сделал вид, что не слышит. Михаил торопливо глотал подогретые щи. Он бросил ложку и сорвал кепку с гвоздя.

— Спасибо, мама! Я пошел. Скоро приду.

Мать не ответила. Она знала: удержать сына сейчас невозможно.

На улице Костя сказал:

— В Сосновке нелегальное собрание назначено! Очень важное. Гордеич велел нам с тобой на стреме стоять — в патруль назначил.

Знал старый слесарь, кому можно доверить такое ответственное дело! В молодости он сам охотился в Соснов-

ке, когда вблизи ее доживали свой век помещичьи усадьбы Осипова, Искакова, Решетова. Глухим лесом был тогда прекрасный сосновый бор, неведомо кем охраняемый от пилы и топора дровосека. На глазах старика развалились помещичьи дома, на северной окраине леса тибетский врач Бадмаев воздвиг малый размером, но затейливой архитектуры дворец, обнесенный высоким глухим забором, а на южной, в Лесном,— граф Витте, проявляя заботу о развитии промышленного капитала в России, построил корпуса Политехнического института, рассадника будущих инженеров и экономистов.

Гордеич помнил первые сходки в сосновом лесу. Там и началась его партийная жизнь. Много воды утекло с тех пор, а Сосновка как была, так и осталась излюбленным местом тайных собраний и митингов. Здесь проводились маевки, сюда открыто приходила «на прогулку» рабочая молодежь. Она горланила «Стеньку Разина», «Коробушку», «Варяга», «Дубинушку», а вполголоса пела запрещенные революционные песни. Во время демонстраций они гремели на улицах Питера.

Вот и сегодня Михаил и Костя шагали в милую, по воспоминаниям детства, Сосновку. Здесь они мальчишками строили из сучьев шалаши, разжигали недозволенные костры, ловили птиц, собирали грибы. Им знакома здесь каждая тропинка. Они шли, по указанию Гордеича, в самую глубь Сосновки, куда даже заядлые грибники редко заглядывали.

За сосновым бором тянулось труднопроходимое большое болото, но узкий длинный перешеек снова выводил путников на сухую лесную поляну, где устраивались нелегальные собрания. В минуты опасности люди спасались в болоте, заросшем густым можжевельником — для конной полиции сюда не было дороги, а от пеших городовых уйти не составляло большого труда.

Сегодня патрульные, разбросанные по лесу на подступах к укромной поляне, должны вовремя поднять тревогу, если кто-либо непосвященный направит свои шаги на сухой перешеек.

Тихо в лесу. Сосны, прямые, как свечи, шумят кронами. Солнце уже садилось, его закатные лучи ярко просвечивали сквозь ветви. Михаил и Костя сидели, прислонившись к дереву. Патрули разместились в четырех местах. Рабочие приходили в одиночку, редко парами.

— Где здесь грибное место?

— Иди прямо! Вон на ту обгорелую сосну!

— Спасибо, товарищ!

Человек двадцать, вероятно, прошли мимо них. Судя по времени, собрание уже началось. Кого позвали — те здесь. Теперь надо смотреть в оба, как бы не явились незваные.

Пустынно в лесу. Скучно. Костя закуривает.

— Ну, как у тебя с Грунькой-то дела?

— Ее зовут Граня,— поправляет Михаил.

— Такого имени нет. По-русски сказать — Аграфена... Значит, Груня, Грунька. Чего ты в пузырь лезешь?

— Я ее люблю, и мне не нравится, когда ты ее так грубо называешь.

— Ну ладно! Граня... Черт с ней!

Михаил надулся. Он вспомнил последнюю встречу с девушкой. После его благополучного возвращения из Питера они до позднего вечера бродили по тихим улицам Удельной. Он рассказывал о разгроме редакции «Правды», об удачном побеге во время встречи с демонстрантами. Граня искренне переживала вчерашнюю опасность, грозившую ему тюрьмой. Расстались они в полночь.

Костя ходит по лесу. Ноги его скользят по мягкому хвойному ковру. Огромный мухомор хрустнул под ногой. Тихо в пустынном лесу, никого. Однако осторожность прежде всего. Костя охотничьим взглядом осматривается по сторонам — не пробирается ли кто-нибудь, прячась за стволами деревьев? Он настороженно прислушивается. Подходит соседний патрульный.

— Ты что?

— Папиросы кончились.

Костя щедро высыпает из коробки несколько штук.

— Насчет чего идет там разговор?

— Кончится — узнаем.

— Говорят, Бадаев здесь.

— А ты слышал, война будет? В газетах пишут.

— Какая война?

— Кто их знает! Австрия собирается воевать. В «Копейке» пишут, австрийского наследника ухлопали.

— Кто ухлопал?

— Какой-то серб.

— Молодец!— восхищается Костя.

Патрульный уходит неслышными шагами, тихо ступая по земле, густо устланной сосновыми иголками.

Костя заводит с Михаилом разговор о революции. Это его любимая тема: забастовки, политические стачки,

митинги, демонстрации, локаут, баррикады, стрельба боевыми патронами. Все идет к тому, что завтра начнется настоящая революция, как в девятьсот пятом году.

— «Правду» разгромили! Это им не пройдет! Теперь рабочий класс поднимается по-настоящему.

Михаил еще вчера успел рассказать товарищу о событиях на Ивановской улице и о том, как ему удалось удрать от городовых. На Костю рассказ Михаила не произвел большого впечатления. В такой суматохе, когда демонстранты напали на полицию, можно было легко всем разбежаться.

А вот сейчас Костя вспоминает студента Павлова.

— Мишка, ты не врешь, что он сын генерала?

— Своими ушами слышал. Так и сказал жандармам!

— Чудно́!

— Студенты разные бывают!— говорит Михаил.— Есть хорошие, а есть сволочь.

Костя долго думает.

— И все-таки я им не верю. Пока они студенты — они с рабочими заодно. И бастуют, и казаки их нагайками лупят. Но кончат учиться, станут инженерами — будут капиталистам помогать кровь из нашего брата пить. Я так смотрю: нам они не пара. У них своя дорога, у рабочих своя. Все заводчики и директора — кто?— инженеры!

Михаил защищает инженеров. Без них обойтись нельзя — остановятся заводы и фабрики. Куда денутся рабочие? Спорят они долго.

— Стой!— говорит Костя.— Кажется, кончилось.

Участники собрания расходятся в разные стороны, теряясь между стволами деревьев.

Михаил и Костя ждут Гордеича. Они узнают Егора Николаевича, с ним идет незнакомый человек с тросточкой. Промелькнули и скрылись. Гордеич появляется неожиданно.

— Ну, вот и я, ребята! Поскучали? Пошли, там никого не осталось.

Втроем они идут по лесу.

— Говорят, Бадаев был?

— Был. Сейчас прошел, с тросточкой, в кепке! Не видели?

— Что же ты нам раньше не сказал?

— Не знал, ребята!

Старик говорит явно неправду.

— На пушку взял?

— Ну ладно, ладно! Дело серьезное, какая там пушка! Петербургский Комитет решил всеобщую забастовку завтра кончить.

— Как кончить? Почему?!

— А я думал, революция начинается!— разочарованно произносит Костя.— Как же баррикады?

— Баррикады — это еще не революция. Партия знает, когда настоящую революцию надо начинать!— убежденно говорит Гордеич.— Мать честная!— вдруг восклицает он.— Никак, гриб раздавил. Боровик! Да какой огромный!

ГЛАВА СОРОК ВОСЬМАЯ

Убедившись, что за ним никто не следит, человек в потертой кепке и поношенной темно-серой тройке вышел на перрон Николаевского вокзала, откуда отправлялись пригородные поезда. Билет до Любани ему незаметно передала девочка-подросток, заблаговременно постоявшая перед кассой в очереди. Человек в поношенной тройке смешался с толпой бегущих пассажиров — до отхода поезда оставалась одна минута.

Запаздывающий пассажир вскочил в ближайший вагон и сел к окну. Он развернул газету и, прикрывшись ею, погрузился в чтение. На первой странице опубликован высочайший указ о мобилизации. Поезд тронулся. Старушки, сидевшие напротив, стали креститься.

Мобилизация!

Человек в кепке сидел с закрытыми глазами. Он вспомнил баррикады на окраинах города, красные флаги, сто двадцать тысяч бастующих рабочих на улицах, где открыто гремела марсельеза и раздавались винтовочные залпы. Как тогда дохнуло свежим ветром Революции! А потом, потом... Задымили трубы фабрик и заводов на окраинах, а в самом центре столицы начались патриотические манифестации. Тысячные толпы студентов, гимназистов, молодых людей в котелках и панамах с пением царского гимна несли трехцветные флаги и плакаты «Долой Австрию!», «Да здравствует Сербия!»

Одна такая манифестация появилась даже на Вы-

боргской стороне, но успеха не имела. Кто-то вырвал трехцветный флаг, отодрал синюю и белую полосы, и над толпой вдруг взвился красный флаг. И заглушая царский гимн, в задних рядах грянула марсельеза. Передние ряды разбежались, невесть откуда налетели с нагайками конные городовые.

И вот — мобилизация!

Пассажиры говорили о неизбежности войны. Кто-то густым басом пытался доказать, что Вильгельм струсит и все кончится благополучно. Чиновник с острой бородкой клинышком, судя по форменной фуражке — учитель, доказывал соседу, что Россия обязана защищать братьев-славян, это ее святая историческая миссия; должно быть, рабочий ругал немецких мастеров:

— Они у нашего брата вот где сидят! Сами жрут в три горла и все своих из Германии тянут Русскому рабочему подняться не дают. Чьи у нас заводы и фабрики? Немцев! Симменс и Шукерт, Симменс и Гальске, Гесслер, Лангензипен, Циндель, Мильк, Лесснер, Вегман, Гартман, Розенкранц — всех не перечтешь!

А за перегородкой слышались бабьи слезы:

— А если война? Господи, с тремя остаюсь!

— Говорят, помогать будут.

— Помогут! Знаем мы эту помощь!

— Будь они прокляты, кто придумал войну!

— Эта война — недели на три, не больше,— успокаивал вежливый тенорок.

— Через две недели наши казачки в Берлине немок будут обнимать.

— Шапками всю Германию закидают!

«Японцев не закидали»,— подумал человек в потертой кепке, жадно прислушиваясь к разговорам пассажиров. Он насторожился и скосил глаза, когда по вагону заковылял нищий, вымаливая подаяние. Попрошайка остановился с протянутым картузом и настойчиво заскулил:

— Ради христа, господин хороший! Не откажите калеке, пострадавшему в японскую войну на защите Порт-Артура.

«Господин хороший» сунул медную монету.

— Спаси христос!— сказал нищий и, опираясь на костыль, двинулся дальше.

«Нет, не шпик!»

На станциях входили и выходили люди. Пассажир смотрел в окно. Ему казалось, поезд идет слишком мед-

ленно. Но поезд шел точно по расписанию и в назначенное время привез его на станцию Любань.

Он знал этот маленький заштатный городишко, бывал в нем. Всегда тихая Любань на этот раз поразила его необычным шумом. Возле вокзала гудела огромная толпа: провожали мобилизованных. На запасном пути стояли открытые красные теплушки, эшелон был готов к отправке. Надрывно пиликали гармошки, кто-то плясал, два парня, силясь перекричать друг друга, орали песни, истерически рыдала женщина с грудным младенцем на руках, плакали старухи, ревели дети.

Приезжий не стал задерживаться, он вышел на главную улицу и пошел быстрым шагом, отсчитывая дома. На стене семнадцатого дома, возле крыльца, белела скромная вывеска. «Зубной врач».

Он оглянулся. За спиной никого. Приезжий поднялся на крыльцо и дернул ручку звонка. Ждать пришлось недолго.

— Кто там?

— К зубному врачу. Пациент.

Дверь открылась. Он переступил порог.

— Товарищ Бадаев?!

— Здравствуйте, товарищ Вера!

Слуцкая поспешно закрыла дверь. Она провела нежданного гостя в приемную. Дверь отсюда вела в зубоврачебный кабинет. Бадаев опустился на стул возле круглого стола и огляделся. На стенах висели портреты Некрасова, Чернышевского, Белинского, Добролюбова. В застекленном шкафу стояли книги русских, английских и немецких писателей.

— Ваш адрес мне дали, а где живут Самойловы, я не знаю,— сказал Бадаев.

— Я могу вас проводить к ним.

— А не очень заметно будет?

— Нет. Они живут почти рядом.

— Тогда не будем откладывать. Я тороплюсь.

Вера Клементьевна надела шляпу, взглянула на небо, взяла зонтик, и они вышли на улицу.

— Как вы здесь устроились?— поинтересовался Бадаев.

— Открыла зубоврачебный кабинет. Пациентов, конечно, не так много, но есть. Концы с концами свожу. Для ссыльной этого достаточно.

— Не беспокоят вас?

— В Любани только один жандарм на станции. А по-

лиция привыкла к ссыльным. Мы знаем, что находимся под негласным надзором. Но я уже четыре раза ездила в Питер. Сошло благополучно.

— А как Самойловы?

— Конкордия просидела в тюрьме два с лишним месяца. Придраться было не к чему. Ей дали высылку. Она выбрала Любань. Хотя и близко от столицы, но считается Новгородская губерния. Вначале приехал Аркадий. Я помогла ему найти квартиру. А потом и она водворилась на жительство, на целых три года.

Бадаев слушал Веру Клементьевну, а сам оглядывался по сторонам. Ему все казалось, что за ним следят. Но переулок был безлюден. В прохладной тени возле ворот лежала огромная свинья и кормила добрый десяток маленьких розовых поросят. Гуськом, переваливаясь с боку на бок, ковыляли за селезнем жирные утки. Где-то рядом мальчуганы играли в рюхи: слышались веселые голоса и стук деревянных палок. Маленький городок жил обычной тихой жизнью.

Слуцкая подвела Бадаева к двухэтажному дому с мезонином, обнесенному невысоким забором. В глубине двора за кустами акации виднелся флигелек.

— Вот мы и пришли!— сказала она, открывая калитку.— Они живут в том домике.

Должно быть, гостей увидели в окно. Из флигеля вышел Самойлов в косоворотке и сандалиях на босу ногу.

— Алексей Егорович!

Самойловы встретили столичного гостя с большим радушием. Заметив на нем чересчур скромный костюм, они поняли: Бадаев приехал в Любань по важному делу и нелегально. Усы, обычно закрученные лихими стрелками, теперь свисали к подбородку.

— Война, Алексей Егорович!— сказал Самойлов.

— Похоже, война! Видел, как запасных отправляли из Питера. И у вас сейчас возле вокзала. Быстро проходит мобилизация, не то, что в японскую.

— Как на заводах и фабриках?

— Звонили мне утром по телефону. Кое-где были забастовки. Но ликвидаторы ведут себя сейчас подло!

— А когда они вели себя не подло?— воскликнула Вера Клементьевна.— Возьмите дело Малиновского!

— Да, в травле Малиновского они превзошли самих себя!— сказала Конкордия Николаевна.— Заподозрить члена Цека, председателя думской фракции в провока-

торстве! Это ли не подлость! Главное, абсолютно без всяких оснований!

— Конечно, негодяи!— согласился Бадаев.— Но Роман сам виноват. Он не имел права самовольно слагать с себя свои полномочия без решения партии. Ушел из Государственной Думы и не поставил в известность товарищей по фракции! Дал повод к разным слухам!

— Что делает Петербургский Комитет?

— Сегодня рабочие прочитают прокламацию с призывом «Долой войну!»,— ответил Бадаев.

— Война, конечно, безумие!— заговорила Вера Клементьевна.— Прольются реки крови. Царизм будет разбит. Я жила в Германии и присмотрелась к немцам. Честно сознаюсь, не люблю их, но если немецкие пушки помогут нам приблизить революцию, я буду благословлять их.

— У Веры всегда крайности!— поморщилась Конкордия Николаевна.— Возможно, война и приблизит революцию, но это слишком дорогая цена.

Слуцкая пересела на подоконник открытого окна и заломила тонкие, как у девочки, руки за голову.

— Баррикады на улицах!— воскликнула она, наблюдая, как в небе облака собирались в огромную тучу.— Если бы не угроза войны, может быть, началась бы настоящая революция!

Аркадий Александрович отрицательно покачал головой.

— Нет, Вера, это не был девятый вал. Но он приближается. По всему видать, предстоит не простая война, она охватит всю Европу. Царская корона слетит с головы Николая.

Самойлов повернулся к жене:

— Помнишь, Наташа, когда Романовы праздновали свое трехсотлетие? Мы с тобой переходили Невский, и ты сказала, что юбилей похож на пышные похороны. Это было хорошо сказано.

— Помню,— ответила Конкордия Николаевна и принялась накрывать на стол.— Будем пить чай, товарищи. Алексей Егорович, садитесь сюда.

Слуцкая поднялась.

— Спасибо. Я пойду. Должен прийти пациент.

Аркадий Александрович проводил ее до калитки. Возвращаясь во флигель, он прикидывал, зачем приехал Бадаев. В такое время депутату Думы не до прогулок.

— Наташа, налей мне чаю,— попросил Самойлов, усаживаясь на диван.

Бадаев посмотрел на часы.

— До поезда осталось пятьдесят минут. Как вы догадываетесь, приехал я вовсе не для того, чтобы поговорить о войне и рассказать о питерских событиях. Через десять дней я должен покинуть столицу. Предстоит поездка в Баку и по России. Цека не отменил Всероссийского партийного совещания. Мне очень важно незаметно уехать из Питера. За каждым моим шагом следят, и я могу потащить за собой целый хвост шпиков. До Любани сумею добраться, а здесь для меня нужно приготовить билет на поезд дальнего следования. Это единственный способ ускользнуть из-под носа охранки. Сможете вы мне помочь?

— Сделаем!— пообещала Конкордия Николаевна.

Бадаев вынул деньги и передал Аркадию Александровичу.

— Скажите, где мы с вами встретимся? Надо неподалеку от вокзала, но в укромном местечке.

— Найдем подходящее. Я покажу вам.

Аркадий Александрович пошел провожать Бадаева. Он вел его глухими пыльными переулками, мимо огородов.

— А ведь будет гроза,— сказал Самойлов.— Смотрите, какие тучи ползут.

Они шли, любуясь небом. Еще светило солнце в одной стороне, но другая была покрыта густой черной завесой. Внезапно небо раскололось, секунду продержалась ослепительная трещина, затем ударил первый гром.

— Вот видите, роща!— показал Аркадий Александрович, останавливаясь.— Здесь мы и будем вас ждать с билетом. Конкордия пойдет с корзинкой грибы собирать. Она и передаст билет. А сейчас идите дальше один. Вон станцию видать.

Они попрощались и разошлись в разные стороны.

Бадаев успел вовремя дойти до вокзала. Ливень хлынул как из ведра. Сверкали молнии, грохотал гром. В мутное окно было видно, как площадь перед вокзалом превращалась в озеро.

Бадаев сидел в углу на скамейке, с нетерпением ожидая поезда, и вспомнил недавний разговор о Малиновском. Отдавая должное уму и организаторскому таланту Романа, он не прощал ему его чрезмерного честолюбия.

Не нравилось Бадаеву и беспробудное пьянство Романа. Он не мог забыть, как Малиновский ежедневно напивался в Поронино. Но все это было не главное. Уже давно ему сверлила мозг неотвязная мысль о зимней шапке, которую Роман чуть не силой натянул на голову Свердлова в ту памятную ночь, когда они спасали редактора «Правды» от шпиков. Товарищ Андрей не хотел ее брать, было не очень холодно... Неужели, неужели? Нет, это слишком чудовищно!

Неожиданно перед ним выросла грязная, вымокшая до нитки цыганка с ребенком на руках.

— Красавец! Дай ручку, погадаю. Всю правду скажу. На войну поедешь, героем будешь, от царя крест получишь!

Бадаев отвернулся.

— Ой, какой сердитый! Красавец, посеребри ручку, будешь знать, что тебя ожидает, кто тебя любит, кто ненавидит.

Алексей Егорович вынул гривенник и сказал недовольно:

— Уходи прочь!

— Ой, какой скупой! Ну, дай погадаю. Прибавь еще гривенник, всю правду будешь знать. Не жалей, дорогой. Не будь жадным!

Цыганка не уходила. Подошел жандарм и остановился.

— Красавчик мой! Не сердись! Добра желаю. Лицо у тебя доброе, душа добрая, счастья не имеешь, одну думу думаешь, сердце твое сохнет, она тоже тебя любит, тоже счастья нет. Хочешь, научу, как будет счастье?..

Жандарм подошел.

— Пошла ты к черту! — скрипнул зубами Бадаев и, услышав приближение поезда, кинулся вслед за пассажирами к двери.

ГЛАВА СОРОК ДЕВЯТАЯ

Восемнадцатого июля был объявлен царский манифест о войне с Германией. В это утро, придя на завод, айвазовский токарь Михаил Иванович Калинин вытащил со дна ящика припасенные на всякий случай кусок кумача и баночку с белилами. Крупными буквами он старательно написал два слова: «Долой войну!»

Раздался тревожный гудок, и молодой парень, пробежав по цеху, заорал во все горло:

— Забастовка-а-а!

Калинин, высоко держа над головой красный флаг, торопился вывести рабочих с завода на улицу. У ворот не было городовых. Люди молча вышли на шоссе и направились на Выборгскую сторону.

К «Новому Айвазу» немедленно присоединилась «Светлана». Через полчаса вышли на улицу рабочие Вегмана. После вчерашней мобилизации все понимали: война неизбежна. Гордеич заранее договорился с Костей, чтобы именно он выступил на митинге и сказал, что партия большевиков будет продолжать борьбу с самодержавием под лозунгом «Долой войну!»

Но митинг не состоялся. Рабочие хмуро выходили из ворот, торопясь поскорее домой.

— Мишка!— остановил Костя товарища.— Ровно в час демонстрация на Невском. Вместе пойдем?

— Я должен к Гране зайти.

— Опять к Гране! Прилип к бабьей юбке.

— Да я не отказываюсь. Пойдем вместе. Только я ведь обещал.

— А ну тебя! Я один приеду! Там встретимся. Возле Думы.

Костя пошел своей дорогой. Еще вчера Граня упросила Михаила поехать с ней вместе в город после работы. Она получила письмо от Раи, написанное по просьбе Лизы. Гранина мать лежала в больнице и хотела видеть младшую дочь.

Зная, что на «Светлане» тоже прекратили работы, Михаил спешил попасть на Песочную улицу. Он понимал, Гране не к чему ехать в город вечером, когда можно попасть туда утром. Она его ждала, прослышав о забастовке на заводе Вегмана. Михаил увидел девушку на скамейке возле дома.

— Миша, война объявлена! У нас на «Светлане» бабы ревут — смотреть страшно. Горе-то какое у людей!

— Ладно, потом поговорим. Когда в город поедем?

— Да хоть сейчас.

— А мне переодеться надо. Я мигом. Пошли.

Граня осталась ждать его у трамвайной остановки. Михаил прибежал домой.

Анна Петровна встретила сына тревожным взглядом.

— Мишенька! Война! Ведь тебя могут взять?

— Не знаю, мама, не знаю! Сейчас мне некогда.

Михаил быстро переоделся и выбежал на улицу. Он спешил к Гране.

— Ты смотри, афиши расклеивают,— сказала она.— Я прочитала. Чудно́, глазам не поверишь.

Подходил трамвай, но Михаил задержался прочитать объявление. Военное ведомство приглашало на работу со своим инструментом плотников и чернорабочих с лопатами. Поденная плата плотникам была шесть рублей, чернорабочим — четыре рубля.

— В Парголово окопы рыть!— пояснил стоявший рядом человек.— Вчера уже начали, а людей не хватает.

— У нас на «Треугольнике» чернорабочий всего шесть гривен получал!— изумилась Граня.

А Михаил подумал: «От Удельной до Парголова всего девять верст! Зачем же здесь окопы?»

В переполненном трамвае люди говорили о войне, ругали Вильгельма Второго, кто-то передавал слух о вчерашнем погроме немецкого посольства, рассказывал, как на фабрике Циммермана выбрасывали со второго этажа на мостовую рояли и пианино.

— Вандализм!— пожевал губами старик в золотых очках.— Постыдились бы об этом рассказывать.

Он демонстративно отвернулся, но тут кто-то закричал:

— Что вы его слушаете? Да он сам немец!

— Немец! Немец!

— Стой! Останови вагон! Кондуктор!

Несколько человек услужливо задергали веревку, давая сигнал вожатому остановиться.

— Господа, я русский... Пианист.

— Тогда дай ему по очкам — и пусть катится. Защитник нашелся!

Трамвай остановился, пианиста выставили из вагона. Михаил увидел в окно его возмущенное лицо.

— Еще рожи корчит, сукин сын!

В вагоне ни один человек не заступился за старика. Граня, поработавшая на «Треугольнике», ненавидела немцев — все они были большими или маленькими начальниками. На заводе Вегмана мастерами работали и немцы и русские, но Михаил не задумывался, кто из них хуже. Разница заключалась в одном: русские мастера любили, чтобы их поили водкой, бережливые немцы не брезговали брать с рабочих деньгами.

Пассажиры всю дорогу ругали немцев, обвиняя их во всех грехах. Господин с бакенбардами говорил:

— Забастовки перед войной — это что? Спроста? Баррикады! Это для забавы? По Выборгскому шоссе телеграфные столбы спилили. Тоже шутки ради? Нет, это немецкая рука, не иначе.

«Осел!»— подумал Михаил. Граня дернула его за рукав.

— Нам выходить!

В больнице, той самой, где лежала она после отравления, ей сказали: к матери можно пройти с трех часов до шести.

— Куда же мы пойдем?

— Сходим к Ерошину. У меня еще время есть.

— А куда тебе нужно?

— С Костей встретиться. На Невском.

— Зачем?

— Демонстрация назначена,— тихо сказал Михаил.— В час дня. Ты в больницу поедешь к матери. А потом я приду и в садике тебя подожду.

— Разгонят вас, да и арестовать могут.

— Разогнать — разгонят, а схватить... Это бабушка надвое сказала. Не первый раз!

К Ерошину добраться было не так просто. По Невскому снова проходили патриотические манифестации, трамваи задерживались.

От Публичной библиотеки они пошли по Садовой пешком и хорошо сделали, иначе не застали бы Ерошина дома. Он встретил нечаянных гостей в воротах.

— Ты куда, Ваня?

— К Лушникову. Позавчера дал ему полтинник, договорились — за Пушкина. Вчера ходил, не застал. Иду сейчас. Может, вместе пойдем?

Тут Ерошин глянул на спутницу Михаила.

— А... Груня! Я вас по-простому называю...

— Пожалуйста, как хотите.

— Ну, значит, пошли? Народ взбесился совсем. В немецких магазинах стекла бьют. Орут: «Долой немцев!» А кто из них стихи Гете или Гейне по-настоящему понимает? Красоту их может чувствовать? Для меня, Миша, Гете и Пушкин — одинаковы. Глубина мысли и ясность слова. Конечно, Пушкин дороже и ближе.

— Чудной ты, Ваня!— подивился Михаил.— Война, а ты Пушкина выручать идешь.

— Да ну их с войной! Не признаю. Противно!

Втроем они пошли в сторону Боровой окольными переулками, чтобы избежать встреч с манифестантами.

Возле дома, где жил Лушников, Граня осталась ждать на улице, а Михаил с Ерошиным направились в глубь двора разыскивать Увара Ивановича. Дверь к нему была закрыта.

— Опять нет!— воскликнул Ерошин.— Прячется, не хочет Пушкина отдавать!

— Вы к кому?— раздался в темноте чей-то голос.

— К Увару Ивановичу.

— Его нет и не будет.

— Выехал?

— На тот свет.

Сосед Лушникова вышел из темноты.

— Кошмарное дело! Увар Иванович встал вчера утром, пошел опохмелиться. Денег было много, в карты выиграл восемьдесят семь с полтиной. Неслыханный капитал! В ресторане не подают: по случаю мобилизации запрет. Он в казенку — на дверях замок. Он в другую — та же картина. Он в третью — замок. Катастрофа! Для Увара Ивановича это пострашнее войны! Походил-походил, вернулся мрачный... У меня, как на грех, тоже ничего! Трагедия! Однако две бутылки денатурата он захватить успел. Хотя на бутылке череп и две кости изображены с надписью: «Смертельно. Яд!»,— но Увар Иванович надеялся на крепость своего организма и осушил. А потом получилась такая кошмарная история. Вон там, видите, возле помойки, известка насыпана и пыль чуть не по колена. Упал он лицом вниз, потонул в пыли и задохнулся. Как говорится, жил грешно и умер смешно! Отвезли в морг. Для научного выяснения, от чего погиб Увар Иванович — от денатурату или от известковой пыли. Тонкого ума человек был, писатель, талант, богом данный!

Михаил и Ерошин молча вышли на улицу. Смерть Лушникова потрясла их своей нелепостью.

— Пропал мой Пушкин!— вздохнул Ерошин.

— Тебе жалко Увара Ивановича?

— Конечно, как всякого человека. Он все равно бы от водки сгорел. Чудак был! И рассказывал интересно, заслушаешься! Только я ни одному слову его не верил.

Ерошин еще что-то говорил, но Михаил слушал плохо.

Солнечный день потерял для него свою яркость. Граня, стоявшая у ворот, по его лицу и мрачному виду Ерошина догадалась: визит к Лушникову кончился неудач-

но. Не сговариваясь, они ничего не сказали девушке о смерти Увара Ивановича.

Михаил поглядел на часы. Еще есть время, но все же лучше заблаговременно попасть на Невский. И они пошли переулками к Владимирскому собору. Проходя мимо знакомого дома, Михаил взглянул на ворота — до них он обычно провожал Граню в первые дни знакомства и тут с нею простаивал до последнего трамвая.

По Владимирскому проспекту густой толпой двигались манифестации в сторону Невского.

— Я не пойду!— сказал Ерошин.— Проскочу переулками на Фонтанку — и домой.

Он махнул рукой и скрылся. Граня вцепилась в рукав Михаила, боясь потерять его. С большим трудом они стали пробираться на Невский, и здесь, возле магазина Соловьева, Михаил увидел Артамонова.

По Невскому, в сторону Зимнего дворца, шли бесконечные манифестации с царскими портретами. Встречных офицеров толпа останавливала, качала, подбрасывала в воздух и кричала «ура».

Гремели духовые оркестры. Ярко начищенные медные трубы сверкали на солнце, как золотые. Проходя мимо магазинов, принадлежавших немцам,— а их было немало на Невском,— манифестанты грозили кулаками:

— Долой Германию!

Михаил обратил внимание на молодого длинноволосого человека в берете, с пышно завязанным галстуком, должно быть, художника. Он держал в руке пачку плакатов и кричал, предлагая свой товар:

— Золотые слова для русского патриота! Ручная акварельная работа! «Просят не говорить по-немецки»! Цена тридцать копеек!

— Ого, вижу своих,— сказал Артамонов.

Михаил удивился и обрадовался, увидев Егора Николаевича. Тот разгуливал в компании четырех студентов и Михаила не заметил.

— Миша,— сказала Граня, останавливаясь перед магазином перчаток.— Помнишь, мы с тобой стояли на этой приступочке. Когда иллюминация была в честь трехсотлетия. Тогда мы познакомились. А Костя стоял рядом с тобой. Помнишь? А вон на том здании вензель был огромный. Я все помню.

Она прижала локоть Михаила.

— Верно, на этом месте познакомились.

А по торцовой мостовой бесконечыми рядами шли

манифестации. Дворники в белых передниках с жарко начищенными медными бляхами стояли вдоль тротуаров против Гостиного двора. Их предусмотрительно поставила полиция, опасаясь погрома немецких магазинов.

— Долой Германию! Ур-ра!

— Ур-р-р-ра! Ур-р-р-р-ра! Долой Германию!

И снова гремела музыка, заглушая крики толпы.

Михаил почувствовал, как кто-то дернул его за рукав. Он оглянулся и увидел Костю.

— Вы давно здесь?

— Не особенно.

— А я только сейчас. Боялся опоздать.

И Костя, задыхаясь, сказал шепотом:

— На Выборгской стороне задержался. На Сампсониевском проспекте была демонстрация против войны.

— Неужели?!

— Правда. Против фабрики Эриксона. Запасные шли на сборный пункт, человек сто, не меньше. Околоточный сопровождал и двое городовых. А в это время от Эриксона толпа демонстрантов выходит. Увидали и начали кричать: «Долой войну!» Марсельезу запели. Тут лесснеровцы тоже вышли. Начали лупить полицию. Между прочим, и Калинин там был.

— И чем кончилось?

— Конные городовые прискакали. Разогнали.

Михаил и Граня слушали рассказ Кости и наблюдали, как мимо проходили густыми рядами работницы ниточной фабрики, самозабвенно певшие молитву «Спаси, господи!» Костя с ненавистью смотрел в лица женщин и, не удержавшись, выругался:

— Дуры! Телки!

А Граня подумала: «Может быть, и наши галошницы где-нибудь здесь».

— Шпиков не видать, как будто,— сказал Костя оглядываясь.— В общем, смотри на думские часы. Как большая стрелка станет на двенадцати, так и начнется.

Михаил взглянул на огромный циферблат: оставалось семь минут. Он знал, что сейчас произойдет. Демонстранты начнут незаметно группироваться и в последнюю минуту сольются в толпу. И точно, секунда в секунду по большой стрелке, запоют марсельезу. А потом...

— Граня!— строго сказал Михаил.— Уходи. Иди к Казанскому собору и жди меня в скверике.

— Зачем?

— Разгонять будут, я убегу, а тебя задержат. Уходи!

— Ни за что!

Граня еще крепче вцепилась в рукав Михаила. По ее глазам он понял: девушка не уйдет.

А большая стрелка приближалась к двенадцати. Оставалась одна минута. Михаил видел, как к зданию городской думы сразу хлынули люди, а Егор Николаевич, поднявшись на лестницу, что-то закричал. Никто не слышал ни одного слова, все видели его широко раскрытый рот, шевелящиеся губы. Многие из непосвященных даже не поняли, что это за человек и чего он хочет. Но когда над толпой вдруг взвился красный флаг, на несколько секунд стало тихо. И тут Михаил услышал хриплый голос лесновского пропагандиста, закричавшего во всю силу своих легких:

— Долой войну!

Первыми пришли в себя от неожиданности дворники. Они кинулись на лестницу и сбили с ног Егора Николаевича.

Маленькая кучка людей,— их было человек пятьдесят,— несла красный флажок и пела марсельезу.

И вдруг со всех сторон понеслись яростные вопли:

— Изменники! Предатели!

Толпа, только шагавшая по торцовой мостовой под трехцветными флагами и певшая молитву «Спаси, господи, люди твоя...», с улюлюканьем и криками набросилась на демонстрантов:

— Держи их! Бей!

Высокий толстяк в чесучовом пиджаке с пятнами пота под мышками, в соломенной шляпе, замахнувшись суковатой палкой, хотел ударить Костю по голове. Михаил вовремя оттолкнул товарища. Но в ту же секунду тяжелый удар в переносицу ослепил его, и он зашатался. Кто-то еще раз ударил его по уху, и он упал на панель.

— Скотина!— неистово закричала Граня.— Подлец!

Марсельеза стихла. Толпа, окружив демонстрантов, избивала их кулаками и тросточками. Визгливый женский голос надрывался:

— Убежал! Убежал! Ловите!

Михаил слышал, будто в полусне:

— Она еще кусается! Сволочь!

Мужской хриплый голос вежливо убеждал:

— Господа! Не надо! Убьете. Сейчас всех заберем. Эй, дворник! Скажи своим. Оцепить кругом! Господа,

благодарю! Вы свое дело сделали. Теперь никуда не денутся. Разберемся.

С большим трудом Михаил поднялся на ноги. Граня оправляла на себе изорванное платье.

— Встать по двое! Дворники! Поторопить! Время теряем!

Дворники расставили задержанных парами. В это время подоспели городовые и окружили их плотным кольцом.

Михаил искал глазами Костю, но не нашел. Тот успел скрыться вместе с большинством участников демонстрации.

— Смирно!

Михаил и Граня одновременно посмотрели на витрину магазина и увидели за стеклом огромную женскую руку в золотой перчатке.

— Шагом марш!

Толпа зевак поспешно расступилась, заулюлюкала и закричала вдогонку:

— Шпионы! Изменники!

Михаил шел рядом с Граней, поддерживая ее под руку. Она низко опустила голову.

«Что теперь будет?— думал Михаил.— Посадят в тюрьму? Вышлют из Петербурга? Мать с ума сойдет».

— Миша!— услышал он тихий, жалобный голос Грани.— Что же сделают с нами?

— Не знаю.

По Невскому, по левой стороне проспекта, навстречу шла манифестация с трехцветными флагами и царским портретом. Когда она поравнялась с арестованными, Михаил вздрогнул: в переднем ряду шагал Петр Лукич с серебряным образом. Манифестанты, шедшие на Дворцовую площадь, к царю, пели:

Спаси, господи, люди твоя
И благослови достояние твое.
Победы благоверному императору нашему
Николаю Александровичу на супротивныя даруяй...

«Певчие!»— догадался Михаил, прислушиваясь к согласному пению.

Арестованных вели по Садовой улице. На них смотрели, показывали пальцами. Михаил думал о матери, о Косте, о Ерошине. Он вспомнил и Конкордию Никола-

евну. Она сидит в тюрьме или томится в ссылке. Это она напечатала его первый рассказ.

Арестованных подвели к двухэтажному каменному зданию с железными решетками на окнах. Сторож огромным ключом открыл замок и распахнул ворота.

— Заходи!

И Михаил почувствовал всем существом своим: юность осталась позади.

Начиналась новая жизнь.

1961-1963
Цхалтубо — Алма-Ата

СОДЕРЖАНИЕ

М. Каратаев. Друг казахской литературы 3

ЮНОСТЬ МОЯ *(роман)* 16

Николай Иванович Анов

Трилогия.

ЮНОСТЬ МОЯ.

Книга первая

Редактор *К. Бакбергенов*
Художник *А. Сергеев*
Худож. редактор *Л. Тетенко*
Техн. редактор *С. Лепесова*
Корректор *Е. Шкловская*

ИБ № 1702

Сдано в набор 03.11.80. Подписано в печать 11.03.81. УГ № 18033. Формат $84\times108^{1}/_{32}$. Бумага тип. № 2. Литературная гарнитура. Высокая печать. Печ. л. 8,75. Усл. п. л. 14,7. Уч.-изд. л. 15,8. Тираж 100 000 экз. Заказ № 1389. Цена 1 руб. 10 коп.

Издательство «Жазушы» Государственного комитета Казахской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 480046, г. Алма-Ата, пр. Абая, 143.

Фабрика книги производственного объединения полиграфических предприятий «Кітап» Государственного комитета Казахской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 480046, г. Алма-Ата, пр. Гагарина, 93.

1 р. 10 к.


НИКОЛАЙ
1